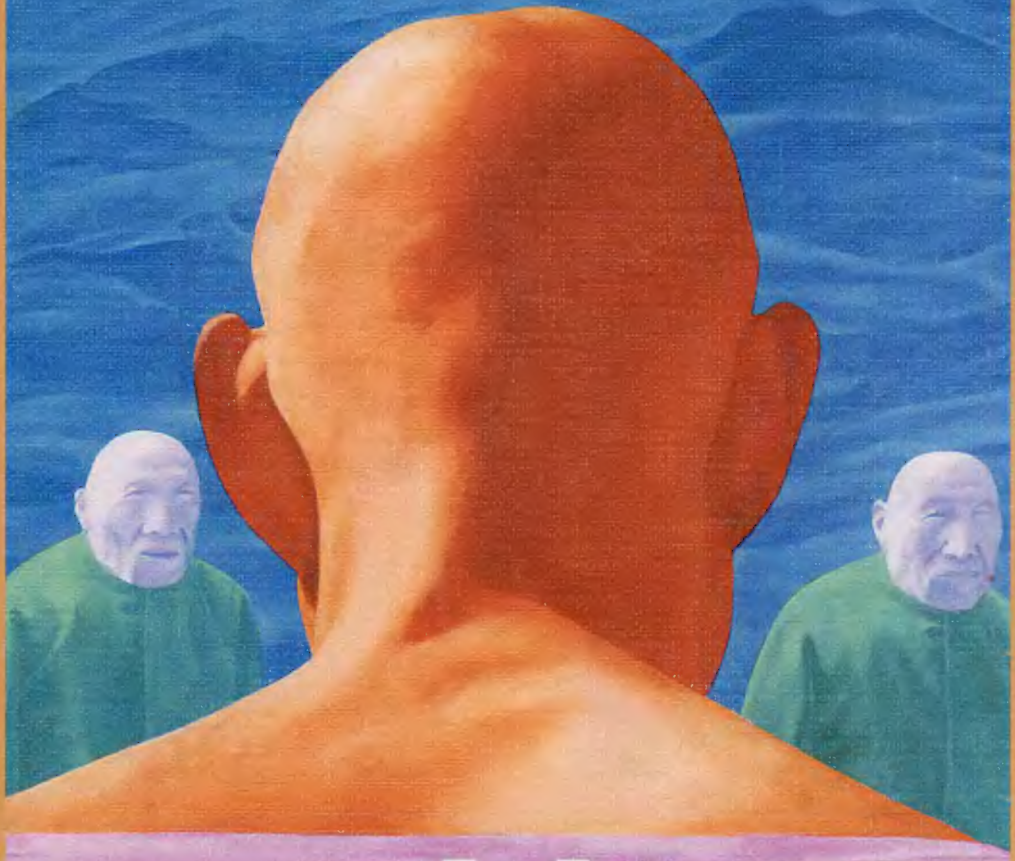
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[9] 2010

РОМАН РАЙНХАРДА ЙИРГЛЯ "В ОТКРЫТОМ МОРЕ"/
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА РОБА ГИФФОРДА
О ПУТЕШЕСТВИИ ПО КИТАЮ/
ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКЕ

Основан в 1955 году

Поздравляем наших
постоянных авторов

Наталью Георгиевну АСТАФЬЕВУ

с получением Почетной грамоты
министра иностранных дел Польши

Асара Исаевича ЭППЕЛЯ
и
Виктора Александровича ХОРЕВА

с получением премии посла Польши в России
"Польский Пегас"

[9]
2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Райнхард Йиргль *В открытом море.* Роман сечений. Фрагменты. Перевод с немецкого и вступление Татьяны Баскаковой

49 Джудит Пэчт *Стихи из книги "Сокол".* Перевод с английского О. Сульчинской

Документальная проза

58 Роб Гиффорд *Дороги Китая: Путешествие в одиночку вглубь страны.* Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление Светланы Силаковой

Из будущей книги

143 Исабель Гарсиа Лорка *Память моя, память.* Воспоминания о брате. Главы из книги. Перевод с испанского и вступление Н. Малиновской

Carte blanche

193 Борис Парамонов *Два эссе о Набокове*

Писатель путешествует

201 Александр Мелихов *По святым камням Европы.* Попурри

Наши интервью

217 *Ханс Магнус Энценсбергер: "Моя читательская аудитория – это не обязательно немцы".* Запись беседы и перевод с немецкого Н. Васильевой.
Ханс Магнус Энценсбергер *Стихи из сборников "История облаков" и "Ребус".* Перевод с немецкого Н. Васильевой

254 *"Без Белинского все-таки не было бы Гоголя..."* Георги Борисов о литературном процессе и жизни в Болгарии. Беседовал Петр Ореховский

БиблиофИЛ

269 *Среди книг* с Верой Калмыковой

272 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

275 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

279 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили Ника Бажанова и Евгения Лакеева

Авторы номера

282

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция:

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Е. А. Полякова
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Райнхард Йиргль

В *открытом море*

Роман сечений

Фрагменты

Перевод с немецкого и вступление Татьяны Баскаковой

одна-Родина: Книги
Райнхард Йиргль и выдумываемый им способ письма

> Чем для твоей бабушки было одна-Родина: Комотау, тем для тебя стало одна-Родина: Книги.
>
> Райнхард Йиргль
> *Незавершенные*

Райнхард Йиргль (р. 1953) — один из известнейших прозаиков современной Германии, лауреат многих престижных премий, его творчеству посвящен сборник статей американских, немецких, нидерландских критиков[1], и все же у части читательской аудитории он вызывает резкое неприятие: не только у любителей "легкого чтива", но и у некоторых немецких интеллектуалов, недовольных тем, что им приходится с трудом продираться сквозь написанный на их родном языке текст, и обвиняющих автора в "маньеризме".

© 1991 by Luchterhand Literaturverlag GmbH, Hamburg und Zürich
© Татьяна Баскакова. Перевод, 2010

1. Райнхард Йиргль – перспективы, способы прочтения, контексты. – Амстердам–Нью-Йорк, 2007.

Роман "В открытом море", фрагменты которого мы публикуем, стал очень важной вехой в творческой судьбе Йиргля. Первые два романа Йиргля — дипломированного инженера из ГДР, затем осветителя в театре "Берлинер фольксбюне", около двадцати лет писавшего "в стол" — вышли в очень непростом для Германии 1990 году, и их публикация прошла незамеченной.

В 1991 году гамбургское издательство "Лухтерханд" выпустило "В открытом море", поместив на суперобложке книги высказывание знаменитого гэдээровского драматурга Райнера Мюллера: "Страх — от самого предмета, а не от смотрящего на этот предмет глаза. Йиргль выдерживает взгляд обнаженной Правды, не предлагающей никакого утешения". Этот роман привлек благожелательное внимание критики, был удостоен литературной премии имени Анны Зегерс (1991), и все же настоящий успех пришел к Йирглю лишь в 1993 году, когда за рукопись романа "Прощание с врагами" ему была присуждена премия им. Альфреда Дёблина.

Все последующие романы Йиргля публиковались в авторитетном мюнхенском издательстве "Ханзер". О восприятии этих "ханзеровских" произведений рассказывает (в рецензии на последний роман Йиргля) Гюнтер Никель:

Много лет подряд каждый новый роман Райнхарда Йиргля жестко раскалывал литературную критику на два враждебных и совершенно непримиримых лагеря. Одна партия упорно отстаивала ту точку зрения, что автор этот всего лишь смешивает давно устаревшие модернистские ингредиенты из романной кухни Джойса, Селина, Арно Шмидта, Томаса Бернхарда и иже с ними, чтобы приготовить свой в высшей степени неудобоваримый "словесный супчик"; другая же партия, напротив, раз за разом угадывала — и в выборе материала для очередной книги, и в обращении с ним — руку подлинного мастера. Лишь в 2003 году, когда увидел свет роман Йиргля "Незавершенные", даже самые ожесточенные противники его маний вынуждены были, по крайней мере, смягчить свой приговор. Ибо никогда прежде в немецкой литературе не было так убедительно, так волнующе и вместе с тем без малейшего следа реваншизма показано, сколько человеческих страданий и бедствий повлекли за собой изгнание и бегство — после Второй мировой войны — тех, кто жил на бывших восточных окраинах Германии. Правда, в опубликованной годом ранее новелле "Траектория краба" Гюнтер Грасс уже обращался к этой теме, однако в сравнении с Йирглем нобелевского лауреата 1999 года — в данном случае — можно рассматривать как литературную *quantité négligeable*[1].

Одна из постоянных тем Йиргля — те очень трудно поддающиеся излечению травмы, которые оставляет в человеческом сознании История (и недавняя, времен ГДР, и гораздо более отдаленная — история последней войны, история Веймарской, даже кайзеровской Германии; к этим периодам Йиргль обращается в своем последнем романе "Тишина").

1. Величина, которой можно пренебречь (*франц.*).

Йиргль, начиная с первых своих произведений, пытался совместить взгляд художника и взгляд трезво оценивающего факты социолога, и в романе "В открытом море" форма такого совмещения особенно интересна. В этом романе вообще нет сюжетной линии, он на первый взгляд представляет собой совокупность разрозненных и разнохарактерных фрагментов — описания кошмарных снов, маленькие драматические этюды, уличные зарисовки, о которых порой даже трудно сказать, относятся ли они ко времени *до* или *после* падения Стены. И все же фрагменты складываются в связное целое: они объединены введением и особенно последней главой — своеобразным мифом, показывающим самые опасные моменты в жизни современного человечества и перспективы на будущее. Объединены фрагменты и обобщающими "социологическими врезками", одну из которых — "Омнибус" — мы публикуем. И вообще, при внимательном прочтении романа обнаруживаются разного рода "линии натяжения" между его частями. Так, фантастическая притча "Зоомагазин" явно просвечивает и сквозь совершенно повседневную историю, рассказанную во фрагменте "Мариенбургерштрассе". Неслучайно и то, что эпиграфы к главам взяты из других глав этого же романа.

Всех персонажей Йиргля можно разделить на две отчетливые группы: "человек толпы", который живет чуть ли не механически и довольствуется теми скудными эрзацами культуры, которые предлагают ему СМИ, и человек мыслящий, чувствующий, обладающий памятью — самостоятельный индивид. Граница между ними не исчезла и после падения Стены, почему в романе и трудно порой определить, о (еще) разделенной или (уже) единой Германии идет речь в том или ином отрывке. Йиргль ведь рассказывает не столько о реальных событиях, сколько о том, что происходит в человеческом сознании. Один из фрагментов романа, "Круги тления", начинается такой фразой: *В эту ночь 9 ноября 1991 года, через 2 года после падения Берлинской стены, Стена была снова здесь — ...*

В радиоэссе об Альфреде Дёблине, писателе очень ему близком и повлиявшем на его манеру письма, Йиргль в качестве главной заслуги этого автора выделил следующее: "Многие годы Дёблин занимался поисками прочного фундамента для духовной жизни, в любых ее проявлениях"[1]. Ту же задачу пытается решить и сам Йиргль. С точки зрения Йиргля, таким общим фундаментом духовности могут быть только язык и книги, которые на нем пишутся. Йиргль использует свой язык как оружие против массовой культуры. Это обстоятельство подчеркивает, например, критик Томас Ротшильд в рецензии на роман Йиргля "Отщепенец":

Господствующая сейчас идеология потребительства и развлечений требует — в сфере искусств вообще и литературы в частности, — чтобы читателю, зрителю не пришлось ни в малейшей степени себя напрягать... В немецкой литературе после 1945 года Арно Шмидт первым стал писать именно *вопреки* все-

1. Райнхард Йиргль. О разрушении бронированной культуры. К 50-й годовщине смерти Альфреда Дёблина. Copyright © FR-online.de 2007.

общей эйфории от книг, которые можно потреблять, не затрачивая умственных усилий. Райнхард Йиргль стал одним из немногих его последователей... Он принуждает читателя к неспешности, притормаживает поток чтения, вместо того чтобы его ускорять, делает неизбежными остановки, привлекает внимание к отдельному слову, фразе — и таким образом подрывает основы восприятия, ориентирующегося только на фабулу.

Далеко неслучайно, что такой — все еще сохраняющийся или возродившийся снова — авангардный способ письма соотносится у Йиргля с тематикой большого города. Способ этот восходит к "Берлин Александерплац" Альфреда Дёблина — самому, вероятно, значительному немецкому роману XX столетия. Ведь сложность жизни современного мегаполиса может быть адекватно отражена только в сложном по композиции повествовании. У Дёблина Йиргль перенял и технику монтажа[1].

А теперь посмотрим, как объясняет свою позицию сам Йиргль[2]:

Обращение человека со словами и знаками всегда индивидуально, на протяжении всей жизни оно совпадает с поисками идентичности и единства с самим собой, с миром, с вещами в мире... А то, что на субъективном уровне в жизни и в говорении кажется самоочевидным — приспособление к принятой в данный момент норме, — зачастую оказывается объективным препятствием для индивидуализированной жизни и говорения... Именно теми способами, какими мы сегодня вынуждены говорить и писать (мог бы я прибавить), принуждали к молчанию наших предков...

Я в своих размышлениях об обращении с письменно запечатленным языком ничего не *изобретал*, мне лишь удалось *вновь обрести* в письменности кое-что из того, что может оказаться полезным и вдохновляющим для человека, который ищет способы диалога между языком вообще и *своим* языком...

И в моем языке, и в моем способе компоновки текста я ищу такие выразительные возможности, которые позволяют то зло, что существует в социальной и ментальной действительности, — назвать, заострить, отвергнуть!.. Мое писание, если рассматривать его на этом фоне, есть стремление к максимально возможной субъективности текста, как в плане содержания, так и в плане формы; к тому же эмоции, возникающие из переживаемой действительности, могут быть перенесены в текст (и стать эмоциональностью текста) только языковыми средствами *или* путем изменения способа написания слов. *Внутри* текстовой конструкции все болевые точки и конфликты внешней действительности должны преобразиться... должны представать как переработанная, утрированная, "инсценированная" действительность...

Сказанное предполагает, что читатель может вступить в такого рода диалог и в этом смысле стать со-работающим над книгой.

1. Томас Ротшильд. Общенемецкая каменоломня. — Фрайтаг, 2006, № 46.
2. В статье "Дикая и укрощенная письменность" (Sprache im technischen Zeitalter, 2004, № 171).

Йиргль — писатель, который все изобретает заново: жанры, способы их совмещения, непривычные словесные гибриды, даже орфографию и знаки пунктуации. При этом он обладает широчайшим интонационным диапазоном, позволяющим передавать и примитивную речь, и самые изысканные оттенки зрительных, слуховых, тактильных, обонятельных ощущений. Его интересно будет прочесть и тем, кто задумывается о дальнейших путях развития литературы. Свойственная Йиргliю манера письма обрела более или менее устойчивые формы ко времени написания "Прощания с врагами", то есть к 1995 году. Что же касается романа "В открытом море", то это — каскад экспериментов, где фактически для каждого фрагмента были найдены и опробованы свои средства выразительности, а в рамках всей книги эпический, драматический и лирический жанры перемежаются и естественно перетекают друг в друга.

P. S. Когда работа над номером фактически была закончена, стало известно, что Райнхард Йиргль в этом году получит самую престижную литературную премию Германии, премию имени Георга Бюхнера, которую присуждает Академия языка и литературы в Дармштадте, — "за эпическую полноту и чувственную наглядность", свойственные его текстам, воссоздающим "впечатляющую панораму немецкой истории XX века". Церемония вручения премии состоится 23 октября 2010 года в Дармштадте. Пользуясь случаем, хочу от души поздравить автора моих любимых романов.

Ксирон[1]

Проблема сечения

Памяти Г. Б.

1. Ноктюрн. Снаружи

Мода, режущая глаз: к ночи они облачаются в темную кожу; спины руки ноги ощетинены бритвенными лезвиями, это чтобы компенсировать промах Творца, не давшего человеку острых и колючих отростков, — от чересчур назойливого приближения, от нежелательного соприкосновения с коллективом защитят теперь эти бритвочки, пронзительно-яркие лезвия, морозно-лунные лампасы на черном фоне (10 лезвий самого дешевого сорта, по 5 марок, — их не хватит даже на один рукав: природа есть капитализм, преодоление природы — его империалистическая стадия) — такова *haute couture*[2]

1. В древнегреческом это слово означает "бритва", в том числе и в переносном смысле: "находиться на острие бритвы". (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. Высокая мода (*франц.*).

ксиронидов, и это при том, что по натуре им свойственно радикальнейшее миролюбие. Последнее — не от филантропии или прилива запоздалого гуманизма, а исключительно от понимания никчемности *фюзиса* как такового и его неприменимости в качестве средства выхода в трансцендентность.

3. В Белое. Вслед за Стриндбергом

выйти в море, в этот неисчерпаемый кладезь плодородия и любви, который есть источник жизни – и ее враг. Так заканчивается роман "В открытом море"[1], глубокая книга, написанная в эпоху позитивизма и синтеза, на предпоследней ступени заката Запада. Последняя рождественская звезда шлет на землю свет трансцендентности и холода, не обещая ни рождения, ни смерти — речь больше вообще не идет о человеческой плоти. Звезда нынешнего времени — не Нексус, не Психология и не Судьба. Эта звезда — постоянство молчания, частотная шкала тишины. Она возвещает начало Армагеддона — без огня и крови, без преступления и наказания — на экранах мониторов знаки: светящаяся победа письменности, самого холодного из искусств, над слюной & гортанью; бетонные города и поля сражений на этой звезде суть излучения, не-органика — кремний, ультрагуманоидный, наступление и упорядочение песка. Эта звезда — человеческий мозг, последнее открытое море — кристаллический Церебрум, кристаллическое духовное бытие: взлеты, отпечатки, перемещения в вышние зоны абстрактной конденсации, максимум эффективности при минимальной экстенсивности: ВИРУСЫ: меняющие восприятие ландшафтов привычного: — биологические: сексуальность, преобразившаяся в смертельную опасность для целых континентов, И возросшая тяга к удовольствиям как ее болезнь; — электронные: компьютерные программы, инфицированные специально запрограммированными разрушительными элементами, в результате в США одновременно выходят из строя шесть тысяч компьютерных систем, воздушное сообщение экономика медицинское обслуживание денежный трансфер :катастрофа за несколько секунд —: обвал, продукты распада, беспорядочные светящиеся следы на осциллографических экранах; креативные функциональные поля при однозначно настраивающей на пессимистический лад фоновой текстуре — триумфы и распад, формообразование и разрушение Возвращение вписанного во всё формирующие процессы хаоса : контрапункт духовности и: жизни; при этом отчетливо проявляются, как тление спрятан-

1. "В открытом море" (1890) — роман Августа Стриндберга (1849–1912).

ных под слоем золы угольев, первобытные контуры, пограничные линии вражды, разделяющей САМОГО-человека: здесь человек как духовное существо — там человек как белковая масса, наследственно-заболоченная студнеобразная, искривленно растущая к своей гибели —:завершенный орнамент в эпилоге Второго Фауста. — *И ничто не желает остаться в себе самом*[1]: после восьмидесяти лет в *Полях Не-Блаженных*, после монашеского существования внутри Кремниевой эры — танцующий на острие бритвы, выродившийся из всех пространств ксиронид: в завершение своей миссии предшественника он, в телесном смысле, — соматист и гениталианец, одобряющий эротику, ибо она высвобождает силы для формотворчества: стилизации! Не *эту-жизнь* хочет он подвергать возгонке, а сечения своего Я — и для каждого элемента собственной самости найти соответствующее пространство : Здесь-Бытие есть обход-оплодотворение : ни с чем не бороться, всему позволять быть: из своих же сечений из связок между ними, после возгонки, — вливания в раскаленные изложницы Становления, от выкристаллизовавшихся набросков эндогенных картин И их Ставшего — к сущностному их Явленности : ФОРМЫ : АРХЕОЛОГИЯ САМОГО СЕБЯ : аммонитно[2] и: стратосферно, анубисно и: прозрачно, Пан и: Эфир, — Мир горит, так будь в нем Ты Твоим собственным пламенем —: Падать и: Подниматься, Мильтон: *Целый мир лежал пред ними, где жилье избрать*...[3] И, значит, каждый бритвенный надрез имеет решающее значение.

Глава 1

Даже при повторном приближении трамвая через короткие просветы между сцепленными вагонами все еще видно неподвижно стоящее у края тротуара инвалидное кресло на колесиках.

Зоомагазин

Берлин-Адлерсхоф.
Петер-Каст/угол Хандьериштрассе

1. Строка из стихотворения Готфрида Бенна "Поля Не-Блаженных" (1910). Поля Блаженных — одна из областей загробного мира в древнеегипетской мифологии.
2. Аммониты — разновидность взрывчатых веществ и вымерший подкласс головоногих моллюсков.
3. Цитата из заключительной строфы "Потерянного рая" Джона Мильтона. Перевод Аркадия Штейнберга.

Он спешил к Свидригайлову.
Чего он мог надеяться от этого
человека — он и сам не знал.

Достоевский *Преступление и наказание*[1]

Перейдя уличный перекресток, мы с моим знакомым обнаруживаем на углу маленький магазинчик. Магазин, похоже, давно не функционирует; шторка из деревянных планок, закрывающая дверь, обветшала, покрылась пылью + паутиной. Над дверью еще прочитывается надпись: МЮЛЛЕР ЗОО — но буквы давно отвалились (отчетливо видны только оставшиеся дырки от гвоздей), и сегодня надпись выглядит как серый отпечаток на серой штукатурке стены. Может, хозяин магазинчика умер. Однако в витрине — в больших стеклянных емкостях — еще сохранились животные; те из них, которые не подохли + не подверглись разложению (мы замечаем пустые панцири черепах, скелеты морских свинок, змеиную кожу — все это беспорядочно перемешано), пока влачат свое жалкое существование + вследствие отсутствия пищи начали пожирать друг друга. Особенно бросаются в глаза 2 твари, на чьей емкости я обнаружил написанную от руки табличку: СЕЛЬДИ-КРОВОСОСЫ. Обе рыбины, не превышающие по размеру обычную сельдь, намертво вгрызлись одна в другую + успели выдрать из тел друг друга большие куски плоти. Уже открылись для обозрения внутренности обоих животных + крошечные сердца цвета темной крови + легкие, вибрирующие в ритме дыхания. Я догадываюсь, что обе твари наверняка связаны особыми отношениями с владельцами магазинчика, возможно умершими, — с супружеской четой; не исключено, что в силу темного по смыслу завещания именно они являются теперь наследниками + опекунами семейного предприятия — если, конечно, сами супруги Мюллер не превратились каким-то образом в этих двух рыб. Между тем обе так и продолжают — громко чавкая, как мне кажется, и без каких-либо признаков боли — выгрызать друг у друга из тела большие куски плоти. Обе рыбины направляются к витринному стеклу — движутся сквозь него — к нам, стоящим на тротуаре. Я со своим спутником стою как раз напротив обеих: мы с ним заключаем пари: какая из 2 тварей окочурится первой. Поскольку каждый из нас хочет помочь своему фавориту, мы вмешиваемся в их борьбу. Но как только мы дотраги-

1. Часть шестая, III.

ваемся до 1 из рыб, обе тотчас отвлекаются друг от друга, заключают союз + вместе ополчаются против нас. Теперь я различаю в рыбьих пастях маленькие, утыканные острыми зубами челюсти. Обе твари — хотя тем временем обнажились их хребты + кожа почти целиком с тела содрана — умереть, видимо, не могут. Неизменно — и, как мне кажется, даже на свой лад комфортно — обе остаются вгрызшимися друг в друга. И еще мне кажется, будто в процессе взаимного пожирания между 2 рыбами установилось, так сказать, витальное равновесие: плоть каждой из них поддерживает жизнь другой. Между тем рыбьи потроха уже разбросаны по всему тротуару; когда я пытаюсь носком ботинка спихнуть их в канализационный люк, обе твари устремляются ко мне. Мой спутник, которому бесперспективный поединок в витрине, очевидно, наскучил, незаметно для меня ушел. Атаки растерзанных тварей все чаще преследуют 1 определенную цель: Если до сих пор они короткими наскоками атаковали только мои ноги, то теперь подпрыгивают до высоты плеч + даже лица, нападая на меня: после ухода моего знакомого в одиночестве *противостоящего* этому смертельному поединку. Я уже понимаю, что вгрызшиеся друг в друга рыбины никогда не закончат свою борьбу; что и сегодня ночью, возвращаясь от школьного друга, который живет здесь неподалеку, я застану их все еще борющимися — в этом самом месте, на этой улице. Ночью, чтобы попасть домой, мне придется воспользоваться той же дорогой + я знаю, что в темноте буду для 2 лютых зверюг еще более беззащитной жертвой. Так что проигравшим в этой борьбе суждено стать *мне самому.*

В ходе подготовки к выступлению на одном народном предприятии в провинции я должен предварительно съездить на это предприятие, чтобы получить официальное одобрение как моей книги, отрывки из которой собираюсь читать, так и самого выступления.

"Что со мной случилось?" — подумал он. Это не было сном.

Франц Кафка *Превращение*

День в конце ноября; на деревьях ржаво-красные свернувшиеся в трубочки листья; под деревьями, на улицах + дорогах, — остальная листва в виде скользкой жижи; сквозь туман и моросящий дождь видны жалкие остатки первого снега.

Территория предприятия, на которой расположены административные здания и вахта, напоминает старую Шарите[1], да и сами клинкерно-кирпичные корпуса, почти полностью скрытые льнущим к ним многослойным плющом, приводят на память — архитектурной стилистикой + своим нынешним состоянием — постройки этой берлинской больницы. Поскольку указателей нет, я некоторое время брожу в растерянности под вековыми деревьями между корпусами + наконец решаюсь обратиться с вопросом к вахтеру. Единственное, что я знаю наверняка: мне нужно попасть к человеку по фамилии Крёгер.

Вахта — маленькое помещение с одним окошком, разделенное на две половины стеклянной перегородкой, в которой имеется дверь. За стеклом — большой письменный стол, несколько висящих на стене полок с картонными папками и высокая кафельная печь. За столом сидит полная блондинка, которая, услышав мой вопрос о господине Крёгере, даже не поднимает глаз от работы — какого-то текста, который она читает, — а только протягивает руку + легким взмахом кисти показывает, в какую сторону мне идти. Я недоверчиво переспрашиваю, точно ли найду там господина Крёгера. —*Обер-лейтенанта Крёгера!* — поправляет меня человек в форме с серебряными погонами. Этого человека я в плохо освещенной комнате поначалу не заметил. Стоя в полумраке напротив сидящей женщины, он навис всей верхней частью корпуса над столом. Он тоже ни на секунду не поднимает глаз, а смотрит на разбросанные по столу бумаги. Я ожидал, что господин Крёгер окажется чиновникам по делам культуры или кем-то еще в этом роде, во всяком случае человеком штатским, + меня сбило с толку известие, что разговор придется вести с гебистом (наверняка — коллегой этого, с вахты); но я притворяюсь, будто нисколько не удивлен, + иду, куда мне сказали.

Я в самом деле почти сразу нахожу нужную дверь на первом этаже; к двери прикреплена маленькая картонная карточка, на которой чертежной тушью, видимо, рукой самого владельца кабинета, выведено: "Обер-лейт. Крёгер". Кто-то — возможно, один из моих неведомых предшественников — использовал свободное место на карточке, чтобы красным фломастером нарисовать рожицу + присовокупить к ней фразу: *Предметы, отчужденные от Объекта, бывают весьма поучительными.* Удивленный + раздраженный этим загадочным изречением, я стучу, открываю дверь + вхожу в помещение, неотличимо похожее на вахту, разве что здесь нет стеклянной перегородки. Господин Крёгер —

1. Клиника в Берлине, основанная в 1710 г.; ныне — огромный комплекс лечебных корпусов, находящийся в ведении Свободного университета и университета имени Гумбольдта.

действительно человек в военной форме, лет шестидесяти, с начинающими седеть светлыми волосами; глаза его скрыты за толстыми стеклами затемненных очков. В лице обнаруживается поразительное сходство с лицом моего начальника по работе; я сразу вспоминаю, что начальника с первой встречи определил для себя как "типичного идиота"; соответственно, этот "обер-лейт. Крёгер" тоже с первого взгляда внушает мне антипатию, + от предстоящей беседы я не жду ничего хорошего.

Начинаются вопросы.

Прежде всего: какова тема моей книги + не использовал ли я в качестве образца для нее что-нибудь из гэдээровской классики (может, даже написал продолжение этого образца)? : Я отвечаю вызубренной тирадой о своей теме, своем способе повествования, своих конструктивных методах, + задвигаю вопрос о литературном образце туда, куда следует: в дальний угол.

Обер-лейт. Крёгер тем временем неотступно смотрит мне в лицо. По тому, *как* он смотрит, я делаю вывод: этот человек, с одной стороны, не понимает ни слова из того, что я ему говорю, а с другой, и не особенно хочет понять; ясно, что занимают его совсем иные проблемы. Он отвечает, что тема моя отнюдь не нова: об этом писали многие +, как подсказывает его служебный опыт, писали плохо. Время от времени, правда, ему попадалось 1 хорошее стихотворение, говорит он, спутав литературные жанры (моя книга — роман), но потом опять сплошняком шла одна дрянь. И ведь многие авторы, продолжает обер-лейт. Крёгер, лишь потому 1нажды в жизни пишут хорошее стихотворение, что мечтают о приглашении в ФРГ. Такие корыстные стремления впредь поощряться не будут. Причисляю ли я себя — если говорить о стиле — к какой-то определенной традиции? Поскольку уже предыдущие высказывания моего визави заставили меня скучать +, более того, разозлили, я без обиняков говорю ему, что отвергаю традиционный стиль; и добавляю с нажимом, что пишу вовсе не ради того, чтобы разбогатеть или получить особые привилегии. Обер-лейт. Крёгер наверняка заметил мою раздражительность, потому и придает беседе новое направление, рассчитывая настроить меня на более благостный лад: он возвращается к вопросу о моем предполагаемом выступлении на их предприятии. Он хотел бы, замечает он, оставаться на почве реальности + не внушать неоправданных надежд: даже если он сам, после тщательной проверки, даст добро на удовлетворение моего ходатайства, это не значит, что я прямо завтра смогу "с бухты-барахты", как он выразился, провести выступление. Решение зависит не только от не-

го, + вполне может случиться так, что оно будет принято лишь в следующем году или даже через год, а при известных обстоятельствах — не ранее 1993 года. Он не уполномочен давать мне какие-либо гарантии, впрочем, окончательно отказывать в моей просьбе — тоже нет.

Я почти с самого начала старался не смотреть в лицо этому человеку. Я и теперь, пока он объясняет мне ситуацию, смотрю из окна во двор, где под старым дубом стоит ветхая собачья будка. Собаку, похоже, давно "ликвидировали", или она сама сдохла; будку же превратили в резервный мусорный бак: сквозь полукруглое отверстие входа видны наваленные кучей консервные банки + прочие отходы, уже выплескивающиеся из отверстия наружу. Меня удивляет, что люди, отказавшиеся от собаки, тем не менее, не отказываются от опустевшей собачьей будки и что будка, отчужденная от прежнего целевого назначения и превращенная в мусорный бак, все же официально не признается таковым — ведь очевидно, что мусор из нее не забирают.

Октябрьская ночь

Берлин. Фридрихсфельде

В чужой постели в чужой квартире я, передо мной женщина. Оба голые. С магнитофонной кассеты Моцарт. Женщина говорит, теперь между нами все кончено & точка. Она ложится на кровать, раздвигает бедра, и я вставляю член в ее щель. Женщина позволяет это с собой проделать, но повторяет еще раз, что между нами все кончено. Ее влагалище, поначалу сухое, становится влажным. Женщина корчится на простыне, пытаясь освободиться от меня и моего члена; я ее крепко держу. Смирившись, женщина отворачивает лицо и, сотрясаясь под толчками, насвистывает мотив Моцарта. Вскоре приходит семяизвержение, чуть позже — такси.

Глава 2

Таким образом, повторяемым элементом остается: *"Я сильна лишь тобой" – "Que serà"*[1].

1. "Я сильна лишь тобой" (1985) — песня немецкой певицы Мари Рооз (наст. имя Розмари Бём, р. 1949), адаптация песни из репертуара "Модерн Токинг" "You're my heart, you're my soul". "Que serà" ("Что будет?") — название итальянского шлягера.

Сон художника

+

Наведение окончательной красоты

Берлин. Панков/Центр

: утром я с недоумением слышу возню и шарканье возле открываемой и закрываемой двери в мою квартиру. поддавшись внезапному импульсу, приоткрываю кухонную дверь и сквозь щель вижу рабочих, не то что-то делающих, не то уже собравшихся уходить; на самом деле, они не уходят, это как в фильме: шаг вперед и обратно, и снова вперед, и так далее. тогда, заподозрив неладное, я выхожу на балкон и вижу: слева на задней стене дома — прикрепленные к ней водопроводные краны. в три ряда, и в каждом — по 5, из белого пластика; но удивительно, что краны торчат из стены, а потом, изгибаясь, отверстием упираются в стену. под ними расселась смеется старая женщина, моя соседка. она говорит сквозь смех, что все это делается мне во благо, в конечном счете, мол, в стене пропилят еще одну дверь с красивым закруглением сверху, и я увижу, как это будет красиво. я, хватая ртом воздух, пытаюсь протестовать, издавая булькающие звуки — голос у меня пропал.

бегу к входной, полуотворенной, двери, настежь ее распахиваю, вижу троих мужчин. двух рабочих, со спины, спускающихся, а между ними тебя, райнер й., ты ко мне оборачиваешься, и я бормочу, что больше не допущу такого, есть ведь дверная цепочка. ты прерываешь меня, покачав головой: "тут ничего поделать нельзя". рабочие поспешно спускаются по ступенькам, я — вслед за ними, продолжая излагать твоей спине свою теорию обеспечения безопасности посредством дверной цепочки; ты же в ответ снова и снова бормочешь: мол, все равно это бессмысленно, тут ничего поделать нельзя. мы уже у двери подъезда. рабочие спешат, и ты тоже уходишь со словами: "против такого не попрешь — не попрешь против такого, и все тут..."

+

НАВЕДЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ КРАСОТЫ. Рабочие в неутомимом усердии снуют по подъезду & лестнице, вновь и вновь поднимаясь к квартире, но с цепочкой справиться не могут — добравшись до двери, они громогласно умоляют, чтобы их впустили. Времена года меж тем идут своим чередом, холодает, и наступает утро, когда первый снег пеленой ложится на дома и улицы. Рабочие за дверью кашляют & хрипят, соседка, та самая старая женщина, по ту сторону двери плак-

сиво перечисляет все болезни & горести, обрушившиеся на несчастных работяг и на нее саму, с тех пор как они взяли на себя заботу о наведении красоты в этом доме. В какой-то момент владельцу квартиры становится тошно от бесконечных причитаний под его дверью; он снимает цепочку и открывает —. Рабочие & старуха, на удивление быстро выздоровевшие & полные сил, врываются в открытую теперь квартиру, потрясая пачками формуляров & обвинительных актов по делу о непозволительном затягивании ремонтных работ по вине владельца данной квартиры. Старуха, укоризненным тоном: —*Повсюду уже навели красоту, только у вас нет!* В конечном счете, дескать, владельца квартиры обязали, чтобы в ходе дальнейших коллективных акций по наведению красоты он сам & за свой счет раздобывал необходимые для этого инструменты & материалы. В случае уклонения от возложенного на него обязательства ему грозят — как выражается хор мстительного коллективного сознания — полицейские меры & привлечение к уголовной ответственности. Владельцу квартиры волей-неволей приходится подчиниться. Покидая свою квартиру, пока дверь захлопывается изнутри & цепочка, звякнув, занимает привычное положение, и чуть позже, уже стоя на улице, он начинает что-то соображать.

Глава 3

Анонимность новостроек, возникших как обязательный знак необязательности и утраты умения говорить, порождает новую взаимосвязь между красотой и опасностью — засасывающий водоворот, силу которого, попав в один из таких районов, ощущаешь буквально физически.

Пес

Берлин

никто никогда не ждал, умирая, пока я поживу в нем, чтобы иметь возможность с ним умереть

Беккет *Никчемные тексты*[1]

1. Сэмюэль Беккет. Никчемные тексты / Перевод Е. В. Баевской. — СПб: Наука, 2003. — С. 122.

Уже много лет хотелось мне снова навестить этот крошечный городок, город моего детства. Сегодня: следуя внезапному порыву + воспользовавшись возможностью еще во время более дальней поездки свернуть в сторону + на несколько часов вернуться в это местечко в Альтмарке[1], на плоскую равнину, чтобы за окном поезда проносились виды неба над сумеречными селами, чтобы тени облаков... — над прудами, + чтобы еще 1 раз запечатлеть все такие знаки в камне мысленных картин. В воспоминаниях моих над той лощиной всегда светлоглазо лежит зимний день, крыши + стены домов незаметно переходят друг в друга черепично-кирпичными веерами разных оттенков красного, старая кладка скрыта под филигранью утренней изморози, и, представив это, я всякий раз ощущаю во рту привкус дыма. Мои родные, бабушка + ее сестра, моя крестная, долгие годы прожившие в этом городке, обе, как мне подсказывает память, умерли ранним утром. Мой тогдашний путь, в день окончательного От=Бытия оттуда, происшедшего несколько лет назад, пролегал по булыжной мостовой, мимо запасных путей, погрузочных платформ со складскими помещениями, пустых товарных вагонов + подъемных кранов, прямо к зданию вокзала; образовавшаяся из талого снега лужа, замерзшая по краям, занимала — тогда — бóльшую часть улицы. Мысленную картину моего ухода оттуда озаряет светлота раннего зимнего утра. / Удивительно, и даже с оттенком не-приятного чувства, что сегодня, в день моего приезда после столь длительного отсутствия, передо мной предстает та же картина — с тем же ландшафтом светлого утра, холодного + подернутого изморозью; даже лужа, темная + без блеска, словно она отлита из чугуна, занимает на мостовой то же место, что и когда-то. И ребяческое любопытство, желание обнаружить в этом дне еще и другие совпадения с прошлым, гонит меня к подъезду дома, где я провел свои ранние годы, + и дальше, в подъезд; там я, не глядя, нащупываю ногами ступени, из светлого свилеватого дерева, в чужой=знакомой вязи шагания, + вновь вдыхаю циклы запахов, столь же устойчивые перед рекой текучих лет, как испарения в старых библиотеках; на светлых подоконниках кучками распростерты мертвые насекомые, осы комары мухи. И снова — чувство неприятного удивления, когда я обнаруживаю на 1 двери, в партерном этаже, табличку с фамилией моих умерших=родных —:хотя, поскольку они умерли много лет назад, я совсем не рассчитывал найти здесь эту фамилию, к тому же, как подсказывает мне память, эта квартира располагалась когда-то на 3м

1. Регион на севере земли Саксония-Анхальт.

этаже! : Времени на удивление мне не остается; еще прежде чем я, колеблющийся, успеваю нажать кнопку звонка, дверь открывается из-Внутри — : + на пороге появляются мои родные — умершие, как я полагал, но, похоже, ничуть не изменившиеся с тех пор: пепельно-серые волосы, сегодня как и много лет назад, + полинявшие платья; кожа на лицах за долгие годы сложилась складками — словно древняя, много раз подвергавшаяся разломам земля; обе сестры, сохраняя сходство со всем, что устойчиво, доживали жизнь в своем двуединстве, без мужей (1 не вернулся домой *Из войны*, другой умер еще до нее); в добровольной аскезе они десятилетиями существовали в круге повторяющихся Всегда-Одинаковых дней, с цезурами иногда случающихся болезней + со своими ужасными=тихими ритуалами воздержания; но тела их остались не-склоненными, как и их образ=в-моей=памяти. Никакого удивления с их стороны при виде меня, как если бы мой приезд был результатом договоренности, церемониалом, связанным с временами года + отпусками; вместо этого + как всегда в моменты наших встреч, прежде, — тихая, без нарочитости, радость, облегченный вздох: Это он, + с ним ничего худого не случилось, в хаосе мира, полного мертвецов, настоящих мертвецов, возможных мертвецов, мертвецов будущего; о последних, впрочем, эти Постоянные=здесь ничего не знают. / И действительно, когда я вхожу в тесную кухню, со всей привычной обстановкой — столом буфетом стульями плитой, — которая в моем детском воображении, пока я взрослел, несколько раз меняла и пропорции и размеры, я вижу, что стол уже накрыт, вижу на нем старый-престарый=фарфоровый сервиз — : Сервиз предназначен исключительно для меня, его достали в честь моего приезда, к этому дню и к этому часу; все это, значит, было — *но Кем?* — заранее запланировано, оговорено + никак не может быть результатом моего спонтанного решения заехать сюда, прервав дальнюю поездку. / (Ситуация смущает меня. Неужели, повинуясь заложенному во мне автоматизму + сам того не сознавая, я написал родным (как писал все те годы, пока они были живы) письмо, где сообщил о своем прибытии=сегодня, проигнорировав факт их смерти + тем самым не=осознанно совершив единственно правильный поступок, вопреки очевидным фактам. (Что дела могут обстоять и *прямо противоположным* образом, то есть что прошлое может быть правдой, а нынешнее, настоящее мое впечатление, напротив, — иллюзией: такая мысль только мимолетно задевает мое сознание; ведь если хочешь сохранить прямую походку, удобнее к заблуждению приписывать прошедшее время, к правде же — настоящее.) Или смерть этих двух женщин никогда не имела место *реально*, а единственно только в моей голове, как

проекция *желания=смерти.* : Так тоже можно было бы объяснить это предполагаемое письмо + договоренность, когда-то подтвержденную мною письменно + потом вытесненную из сознания.) / Как бы то ни было, мы, обе мои родственницы + я, вместе садимся за стол в тесной кухне. *—Помнишь нашего пса?* — спрашивает крестная. *—Ты ведь вместе с ним рос. Он был любимым товарищем твоих игр. Так вот, он очень одряхлел. Сегодня утром,* говорит она, открывает супницу + выуживает для меня большой кусок мяса, *—сегодня утром мне пришлось его убить. Если хочешь еще раз на него взглянуть: он лежит там, за занавеской. Я пока не нашла времени, чтобы зарыть его в саду.* Я, жуя мясо, поднимаюсь из-за стола + подхожу к кухонной плите. Рядом с ней в стене имеется ниша, закрытая занавеской, достающая мне до бедер, разделенная на отсеки, и там, по словам женщины, будто бы лежит мертвый пес. Я не припоминаю, чтобы в детстве у меня когда-нибудь была собака. Я нерешительно приближаюсь к занавеске еще на шаг: из-под нее в самом деле торчат 2 светло-коричневые собачьи лапы, вытянутые задние лапы. Тем временем крестная продолжает рассказ (бабушка молчит + поспешно запихивает в рот гигантские куски мяса). Речь главным образом идет о голове пса, чьи губы в смерти странным образом исказились. В самом деле: у животного, гигантской овчарки, которая лежит на правом боку + вытянула лапы перед собой, необычайно большая голова; пасть, приоткрытая, кажется, растянулась в улыбке; губы, цвета свернувшейся крови и сильно распухшие, обнажают светлый ряд зубов. Глаза мертвого пса плотно закрыты. Я долго не могу отвести взгляд от лежащего передо мной на полу зверя. Крестная неуклонно продолжает рассказ о каких-то моих детских переживаниях, будто бы связанных с этим псом, которого я совершенно не помню. Чем дольше я смотрю на мертвую собаку возле плиты, тем отчетливее, + вплоть до полной уверенности, формируется у меня впечатление: *Животное шевелится*! : На мгновение дернулась 1 передняя лапа — еще раз + еще 1 раз: Я не обманулся! : *Собака жива*! —: Последнюю фразу я, видимо, выкрикнул вслух. Моя крестная на это спокойно отвечает, все тем же тоном задушевных воспоминаний, что, значит, пса нужно убить еще 1 раз. Она промокает салфеткой рот, поднимается с места, не переставая жевать, подходит к буфету + нашаривает в одном ящике какой-то аппарат из светло-розового пластика, по конструкции схожий с машинкой для стрижки волос (отчетливо видна бороздчатая рукоятка). Аппарат этот — оружие: болванночный пистолет, из тех, что используются на бойнях для забивания быков, лошадей + свиней. Крестная становится рядом со мной — я отхожу на несколько шагов в сторону, чтобы не видеть собаку, тем време-

нем женщина склоняется над животным-на-полу + приставляет болваночный пистолет к голове пса. Жесткий треск выстрела + хруст ломающихся костей собачьего черепа сливаются в 1 звук. —*Теперь он мертв.* Говорит женщина, убирает оружие в буфет + возвращается к столу. Бабушка тоже кивает в знак подтверждения + берет с тарелки большой кусок мяса. Когда я еще раз взглядываю на занавеску возле плиты, она шевелится, как будто кто-то, у самого пола, дергает ее край. Чуть позже, когда я снова бросаю взгляд в ту сторону, я замечаю, + отчетливее, чем в 1й раз, — *Признаки жизни у этого животного*! : пасть приоткрылась, обнажив светлый ряд зубов, сгустки свернувшейся крови на губах, + лапы пса дергаются, будто он хочет подняться. Моя крестная и это сообщение принимает с поразительным равнодушием, она снова встает из-за стола, достает из шкафчика пистолет + наклоняется над собакой. Снова ужасный треск + удар болванки по звериному черепу — (я не могу отвести взгляд от распростертого собачьего тела, стою как завороженный перед нишей рядом с плитой + смотрю на проломленную собачью голову с плотно закрытыми глазами) — + последствия те же, что и в прежние разы. Даже, пожалуй, признаки оживания зверя после каждого повторения всех=этих попыток убийства, кажется, умножаются, усиливаются, делаются более несомненными. Что совершенно не отражается на поведении обеих женщин: Нисколько — по видимости — не растрогавшись, моя крестная снова и снова повторяет эту экзекуцию, тогда как бабушка продолжает есть. —*И даже если он снова оживет,* — слышу я ее тонкий=старческий голос, от стола, — *у него теперь отсутствует вся правая половина!.. Кушать* — —*Молчи*! — прерывает ее моя крестнаяя, все еще склоненная над собакой. —*Помолчи лучше*! — 1 мясное волоконце, с тарелки, застряло у меня в зубах. Мне вдруг кажется, что в мясе на тарелке полно щетины, длинной, как человеческий волос — : кашляя + давясь, я выбегаю из кухни в сад, к кустам за домом. / Когда я возвращаюсь на кухню, с едкой слюной в горле, бабушка уже убирает со стола тарелки, а моя крестная, стоя у раковины, моет посуду; крестная объясняет: —*Мы его* (она показывает мокрыми пальцами на место возле плиты), *пока ты был во дворе, отсюда убрали. Нам ведь и в голову не приходило, что ты его не любишь.* Ее взгляд медленно перемещается от меня к распахнутой кухонной двери + наружу. Я, следуя за направлением ее взгляда, тоже поворачиваюсь — снаружи ясный день, ни облачка на светло-желтом небе : И тут, движущаяся прямо на меня (я не верю своим глазам), в дверном проеме возникает фигура большой, *очень* большой овчарки, из ее пасти сочатся ручейки темной крови; этот образ на какие-то мгновения затмевает светлый вырез не-

ба в проеме открытой двери. Содрогаясь от ужаса, я понимаю, что животное после стольких попыток его убить наверняка обезумело. —*Такие боли! Мы не могли допустить, чтобы животное испытывало эти мучения по=жизненно!* Я оборачиваюсь к обеим женщинам, умоляю их найти какое-нибудь действительно надежное средство, чтобы убить собаку. Еще прежде, чем я получаю ответ, в кухню заходит мальчик лет 10ти — светлые всклокоченные волосы на грубом черепе + широкий, искривившийся в слабоумной ухмылке рот. Мальчик, медленно приблизившись, начинает неуклюже ощупывать меня вытянутыми вперед руками. На его подбородке следы + брызги крови, + когда этот ребенок открывает рот, через широкие дырки в его разбитой челюсти выступают темные кровавые сгустки + тяжело скатываются по подбородку вниз. Кости черепа, с левой стороны, во многих местах проломлены, когда-то=светлые волосы теперь слиплись под ломкой красной коркой. Глаза чужой мальчик держит плотно закрытыми, словно зажмурился под влиянием судороги. А все же (среди прочего — + благодаря неуклонному=медленному его приближению) эта физио=гномика вроде бы кажется мне знакомой. Между тем образ мальчика уже заполнил все поле моего зрения; кухня, обстановка на ней + обе женщины отступили в область незримого — +, благодаря такой непосредственности встречи, я теперь узнаю это лицо : Его черты идентичны с теми, что я видел на фотографиях разного формата, развешанных по стенам в квартире этих моих родственниц, то есть с изображениями — *моего собственного лица.* И сейчас, в момент наивысшей близости + стесненности, передо мной, на этом ухмыляющемся=окровавленном детском лице, исполненном безумия + муки, в 1й раз распахиваются глаза: Мой взгляд проваливается в бездонный + холодный взгляд... *ничейного пса.*

Невротики как делатели детей — 1

Берлин. Каштановая аллея

Город покоится в лихорадке, сиречь в собственном шуме. Город покрылся сыпью из проституток & собачьих какашек. Хризантемная гниль перед входом на станцию "Люксембургплац"; цветочницы: они и есть косметика на асфальтовом лице города. Город под августовским дождем воняет, как мокрая дворняга. Когда уличные фонари на ночь выпадают в осадок, когда булыжные мостовые источают темный блеск своей плоти, а город в лихорадочном поту становится самовозгоняющимся жаром, тогда из боковых переулков из-под арок выползают вся-

кие *странные личности.* Гаснут неоновые лампы — из-за короткого замыкания или временного прекращения подачи тока, — в Темном Городе начинается время теней, нападающих на тени: жертвы, как правило, настолько утомлены, что даже не могут крикнуть. Скинхеды — свирепые, рычащие, жадные до крови, как свора полицейских собак. Оскотинившиеся=Орды тявкающих фут-БОЛельщиков, на всех 4х углах — шлягеры, доносящиеся из 4-угольников, обрамленных цветущей геранью.

Этот город будет выблеван утренней зарей : и тогда из всех супружеских постелей повылезают *странные личности.* Гайдпарковая ночь теперь позади, на лицах — утренняя бледность, ближайшая фабричная смена, шрамы от аккордной работы прошлых лет: Джек-киллеры 1 дня[1]. На дорожках — пустые бутылки из-под шнапса, блевотина перед строительным вагончиком; на длинном, торчком, осколке оконного стекла (здесь раскололся на2е чей-то кулак:) КОЛЬ ЗАХОЧЕТ МОЙ КУЛАК ЗАМОЛЧИТ ЛЮБОЙ МУДАК[2] — 1 капля крови, в свете зари такая празднично-алая, какими бывают только церковные витражи.

Пророчество из И-цзин

(Здесь делится воспоминаниями 1 труп. Я вовсе не шучу. Я — скелет, а вспоминаю я о том времени, когда скелеты звались плотью & скелетизация другой плоти еще их радовала. Тем, что способен сейчас говорить, я обязан Возрождению — новейшему изобретению немцев. Дар, которым мы владели — Привилегия, — так и остался для нас Правдой[3]. Умереть мы не можем. Увы. Все останки маляров, когда-то занимавшихся побелкой кадровых документов, неизменно пользуются в этой стране большой популярностью, и здесь нет недостатка в Новых Браунау[4]. А посему и я сохраняю пока свое присутствие в настоящем, свою удачу и шанс продолжения прежнего

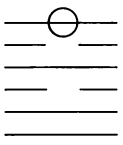
1. В этой фразе — аллюзия на повесть. Р. Л. Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" (1886).
2. Аллюзия на популярную во времена ГДР немецкую революционную песню:

Рабочий, вставай!
Свою силу познай!
Коль твои руки того захотят,
Разом колеса все замолчат...

3. Аллюзия на "Поэзию и правду" И. В. Гёте.
4. Браунау — город, в котором родился Адольф Гитлер; Новые Браунау (Нуэва Браунау) — город в Чили.

вранья. И рассказываю еще 1 раз историю, которую вновь и вновь рассказываю себе, своему последнему слушателю, — пока и мой скелет не рассыплется прахом. Тогда, может быть, наступит окончательный Конец.) :

Вопрос: *Если я сегодня предстану перед этим человеком с моей работой: Позволено мне будет хотя бы год еще сюда входить и выходить отсюда?*

Ответ: 

1нажды я ему помог. Сколько-то лет назад, тут даже говорить не о чем. Мелочь для меня, подобные мелочи в этой стране случаются сплошь и рядом. Но, конечно, для него это было важно: он, ничтожество, получил помощь от такого уважаемого человека, как я. Мое участие свелось к 1 телефонному звонку в *надлежащую инстанцию*, коей я порекомендовал его самого & его работу — 1 драматический текст, написанный им и с тех пор в виде манускрипта безуспешно гулявший от рецензента к рецензенту. Это было все, что я сделал и на чем мысленно поставил точку. Хороша ли его пьеса, посредственна, или ее, по крайней мере, можно назвать плохой, сказать не могу: хотя я определенно похвалил пьесу, но так ее и не прочитал. Ни строчки. Потому и сумел провести телефонный разговор, коему мой протеже придает столь большое значение. Со времени той оказии мне приходится постоянно обороняться от его *благодарности*. Каждый раз, когда я встречаю его, он встречает меня, преисполненный *благодарности*. А встречаемся мы все чаще. По моему ощущению, он меня подкарауливает, чтобы создать видимость *чисто случайной* встречи. В таких делах он и вправду мастер: сто́ит мне утром откинуть одеяло, как оживает страх, что в постели я обнаружу *его — благодарно* улыбающегося, протягивающего навстречу руки и уже изготовившегося, как обычно при наших встречах, дружески пожелать мне, прежде обняв, приятного вечера. *—И-Цзин*, — всякий раз совершенно серьезно говорит он, *—обещает, что мы, ты & я, если будем уважительно и по-честному относиться друг=к=другу – а ведь все уже обстоит именно так! – скоро станем очень близки И поистине неразлучны.* Думаю, эти сюрпризы — встречи с ним — порядком расшатали мне нервы. Нынешним вечером я принял решение: уехать. Подальше, и никого не ставя в известность. Причем уеду я за границу — туда, куда ничтожество, каким он был & остался, несмотря на мою протекцию, последовать за мною не смо-

жет. (Он разбазарил время & собственную энергию, пытаясь выразить мне благодарность, вместо того чтобы использовать эту 1кратную помощь как свой начальный капитал : Чего еще ждать от быдла.) У нас в стране такому уважаемому человеку, как я, очень легко (легче, чем какому-нибудь Брамсу — лишние ноты) стряхнуть с себя, воспользовавшись привилегией иностранного паспорта, подобного — им же самим и созданного — преследователя. Бумажным оружием можно уничтожить даже привидение. Я иду к телефону, заказываю себе такси. Уже через несколько минут перед моей новостройкой, у тротуара, останавливается заказанная машина. Дверца открывается изнутри — и тут с заднего сиденья вылезает он, *благодарно* мне улыбается, говорит: — Я случайно сидел в этом такси, хотел тебя навестить, и вдруг услышал, как по рации называют твой адрес. Я понял: заказать машину мог только ты. И направил шофера сюда. А, ты собрался в путешествие. И долго тебя не будет? Скоро мы теперь увидимся? — И уже протягивает руки, как при всех наших встречах, чтобы меня обнять — сегодня я даже вроде ощутил на своей сонной артерии мимолетное прикосновение его губ. Что-то подобное я подозревал: этот голубчик, в добавление к прочим прелестям, голубее самого Виннету! Я, вздрогнув, отворачиваюсь и втискиваю дорожную сумку между ним и: мною. —Ты позволишь взять сумку? — И вот уже бастион, воздвигнутый против него, у него в руках, а он, улыбающийся, придвинулся ко мне ближе. —И-Цзин, — заводит он обычную песню, — обещает, что скоро мы=друг-с-другом очень сблизимся. — Не успеваю я опомниться, как мы с ним уже едем по общему маршруту в одном такси. —Ты ведь позволишь проводить тебя до пропускного пункта? — Мое молчание он истолковывает как знак согласия. Вечер темной горой навис над городом, а внизу мы, в такси, сквозь светлый неоново-фонарный скелет мчимся по улице, будто по туннелю, к пограничному пропускному пункту. Ко Дворцу=Слёз, как его прозвали в народе, но у меня он всегда, а сегодня и подавно, ассоциируется только со слезами радости. Еще сколько-то минут (такси набрало скорость, улицы почти пусты), сколько-то минут — и я избавлюсь от своей *благодарно* улыбающейся Неотвязной Судьбы по крайней мере на пару недель! Я принуждаю себя не думать о том, что после моего возвращения все начнется сначала — эти улыбки, болтовня, воркование — до рвотного рефлекса! : —Тебя знобит? — Слышу, как он спрашивает меня, и ловлю на себе его озабоченный взгляд. Этому нужно положить конец! Раз и навсегда! Как только вернусь, я этого сопляка уничтожу. 1го телефонного звонка мне хватит, чтобы из ничтожест-

ва сделать Ничто. Я просто обязан так поступить — ради литературы & своих нервов. Прежде всего ради них! —Или, — продолжает он, улыбнувшись и бросив взгляд на мои сжатые в кулаки руки, — у тебя предотъездная лихорадка? Так я знаю против нее 1 хорошее средство. Мигом пройдет. Хэлло, водитель, остановитесь, будьте добры, на ближайшем углу! — На мой сердитый вопрос, что́ у него на уме, он отвечает только улыбкой; хватает — после того как такси остановилось у поворота в 1 темный переулок и я приподнялся с сидения — мою руку (у него неприятно маленькая костистая и потная кисть, зато, вероятно, мучительно=сухой, как у школьника, член), говорит всего лишь: — Пошли. — И вот я стою на сквозняке в дурнопахнущем переулке, среди теней домов, погружающихся в темноту. Расплатившись с водителем и отослав такси, он, улыбаясь, с важным видом подходит ко мне. И уже открывает рот, готовясь что-то сказать (бог весть, на какие банальности вдохновит его в очередной раз мое присутствие), уже берет, как лакей, мою сумку и свободной рукой показывает на фронтон ближайшего дома.

—Твоя обработка мифа о Тантале весьма оригинальна, — начинает он лекторским тоном. — В твоей интерпретации партия=богов — это беспардонная клика сутенеров, которые, пожирая и вбирая в себя Всех & Каждого, интересуются лишь расширением собственного брюха & власти. Они охотно принимают жертву Тантала — ведь он, якобы столь коварный, дает им желанный повод преподать людям еще 1 урок. Тантал в конечном счете и есть обманутый, и, пока слуги закона заковывают его в цепи, обрекая на Вечную пытку в Тартаре, боги за пиршественной трапезой, изящно причмокивая, декламируют отрывки из законодательных статутов и из Нагорной проповеди. Так ведь? — Недурно изложено; я замаскировано=открыто зеваю, прикрыв рукой рот. Он наверняка заметил. Что ж поделаешь, если вид этой затхлой, пропахшей человеческим потом местности в сочетании с такой темой вызывает у меня тоску. —Так вот, здесь, — и он снова показывает на обветшалый дом эпохи грюндерства, больше похожий на руину, который, кажется, не разваливается лишь благодаря строительным лесам, полностью его охватывающим и производящим еще более убогое впечатление, чем само=здание. —Здесь — я ведь не без причины ехал к тебе нынче вечером, — здесь 1 любительская труппа играет твою пьесу! — Я, видимо, побледнел, ибо он добавил: —Твой скепсис вполне уместен. Им не удалось избежать пошлости & вульгарности. Зевс, например, выглядит как председатель=сельхозкооператива, а другие боги разгуливают по сце-

не в куртках из дедерона[1] и солнцезащитных очках. Они так гнусавят и так орут, что ни слова не разобрать. А все последнее действие, с пиршеством, где в качестве главного блюда подается на стол Пелопс, сын Тантала, у них — сплошной намек на продовольственный кризис в этой стране. Увидишь, ни 1 пошлости не пропущено. Впрочем, — поясняет он, —бóльшая часть подобных идей исходит от меня : Я осуществлял режиссуру, да и сам играю в спектакле. Это тебе сюрприз, из благодарности, ты ведь когда-то приложил некоторые усилия, чтобы мне помочь, — и ты увидишь новую постановку еще до отъезда, сегодня вечером. Рад? — Я грозно молчу. Я очень редко сразу парирую неприятный удар столь же неприятным контрударом. Это моя слабость. Слабость, которая с-течением-времени — недаром я стал сегодняшним=авторитетом — обратилась для меня в значительное преимущество; впрочем, без моего активного участия. Однако не будем углубляться... Я всегда реагирую на неприятные слова оппонента, принимая тон ледяного дружелюбия. Так что и нынешним вечером, в эти последние мгновения перед моим исчезновением по ту сторону границы, я не собираюсь говорить — ни с этим ничтожеством, ни с другими — о вещах, которые меня не интересуют.

Озадаченность, когда я вхожу в подъезд наполовину отреставрированного дома : Ожидая увидеть грязно-желтое сводчатое помещение с шелудивыми стенами, а на них — ряд ржавых почтовых ящиков с меланхоличными дверками, лишенных всякой надежды на поступление писем; помещение, в котором колыхались бы испарения мочи и блевотины, а пол был бы усеян младенческими и собачьими какашками —:я вместо этого оказываюсь в начале неоново-светлого коридора; в 1 из длинных стен — двери (входы, они же выходы, обоих лифтов); на стенах — обои со стандартным рисунком; острый запах пластика и формалина.

—Всё вместе — неотличимо-достоверная копия подъезда в твоей новостройке. — Слышу я за спиной его голос. —Я тебя часто дожидался под дверью, и времени было достаточно — ты ведь редко оказывался дома, а может, просто не открывал на мои звонки, — достаточно, чтобы запомнить твою лестничную площадку. — Его надоедливость выражается, среди прочего, в том, что вещи и без того очевидные он еще более выпячивает, нагружает замечаниями и пояснениями, чем постоянно портит собеседнику удовольствие узнавания. Я чув-

1. Химическое волокно, название которого образовано от аббревиатуры DDR (ГДР).

ствую изжогу в горле. (За это он мне заплатит : Пусть сгинет! Наверняка и пьеса его гроша ломаного не стоит — Ибо лишь отзвук эха лесного звучащий в нем голос. :С этим 0 пора кончать! (Я прибегну к старому=испытанному средству: Перед публикой и в приемных расточать хвалы, а за звуконепроницаемыми дверьми — слухи & порицания; в тех кабинетах, куда имею доступ я, но не он. Он-то никогда не выходил из приемной через дальнюю дверь, всегда только через ближнюю.) Такой удар переломит ему хребет. Даже если он заподозрит, что дело не обошлось без моего участия, подтверждений тому не хватит даже для разрыва наших с ним отношений. Значит, ему ничего не останется, кроме как впредь избегать встреч со мной. А у меня будет на 1 унцию покоя больше —)

—Пойдем, — повторяет он, кладет руку мне на плечо И доверительно пододвигается ближе. —А между прочим, ты помнишь, — слышу я его шепот и чувствую чужое дыхание возле своего уха, —помнишь ли, что сегодня, день в день, ровно год исполнился с момента, когда мы (ты & я) впервые по-настоящему узнали друг=друга? — Конечно, я не помню, мне на такое начхать. И, конечно, я говорю: —Да. — Он *благодарно* улыбается. Нашу с ним "близость" он всегда афиширует: наверняка потому, что хочет добросовестно следовать предписаниям нелепого-Оракула=И-Цзина. Он еще молод и нуждается в костылях письменности & религии; И сегодня такие, как он, опять бесстыдно верят абсолютно во Всё, что излучает из=себя хоть какую-то надежду на Спасение.

—Пьесу играют внизу=в-подвале, — говорит он. —Там самые просторные помещения, и там нас никто не услышит. Нам следует поспешить, спектакль — (он смотрит на часы) —, —спектакль уже начался. — Я, ни слова не отвечая, следую за ним по бетонным ступенькам, снизу веет подвальной сыростью; уже через час-другой я буду по ту сторону границы и вне пределов досягаемости этих подонков. Пока мы спускаемся по лестнице, его тень нависает надо мной — я вижу покачивающийся удлиненный череп; и странность того факта, что я вообще спускаюсь с ним в этот подвал, факта нашей физической близости, отвратительной мне до дрожи, может быть превзойдена разве что очевидной и полной невосприимчивостью моего провожатого к отталкивающим особенностям такого *анального* мира. Что, впрочем, представляется мне типичным для нынешнего-молодого поколения — призраков новейшей формации, уродившихся в этой стране. :Я, во всяком случае, добро=вольно не взялся бы сопровождать в подвал никого!

Между тем меня вдруг настораживают и тщательное воспроизведение в этом подъезде антуража моей лестничной пло-

щадки, и фраза насчет долгого ожидания под дверью (мой приятель правильно догадался : Я в самом деле часто не открывал, хотя знал, что он стоит снаружи=перед-дверью) —:Добивается ли он посредством такого копирования окружающей меня обстановки (работа=идолопоклонника!) + проговаривания 1 из моих текстов Сегодня-и-Здесь —:*Отмщения?* — Он быстро проходит мимо меня к выкрашенной в серое железной двери с надписью СУШИЛЬНЯ — и открывает ее, прежде чем я нахожу ответ на свой вопрос.

Изнутри: буйство голосов, тяжелый топот, стук грубо швыряемых о бетонный пол предметов (вероятно, предметов мебели) — : И я вижу : стеллажи — клубные стулья — диванный гарнитур — комнатные растения в горшках; на стенах постеры с собаками; И среди всего этого, в опасной близости от меня, — дико мечущиеся молодые люди, непрерывно извергающие слова и слюну: Озрики[1] наших дней в момент краха=семьи, с их полным тупо-умием по части красоты & домашнего уюта, — и Кри-Тиканы из их среды, со свойственным таким бунтарям салатно-ингредиентным взглядом. :Захоти каждый=1 оставаться тем, что он есть, — в нашем мире было бы больше тишины и меньше поводов для театра.

Между тем по фрагментам словесного крошева я узнаю свой текст. И теперь уже слышу, как 1 юнец в прикиде панка гнусавит & мямлит, будто жалуется дружкам на то, что папаша дает ему мало карманных денег:

> простителенедостойно мутанталу Штогостембылнапир шествахувас колисе Годняонпо Дароквампринес затошовыевостольщед Роодарилипозволь Темневиг Руобменвсту Пить примитепищуиззем Новомира какдарылакомствод Лявасбогов Отнедо Стойновоприм Итежертву — этотвла Дыкиэтотдаркакблаго Дарность Заблаг одарностидостой ныедарыш тобылидаде нымневвыш нихсферах.

После чего Зевс — невероятно тучный, с осыпанным веснушками лицом трубящего ангела, в майке и кальсонах, — быстро, но не забывая почесывать между ляжками (там, где, возможно, под жировыми складками еще влачит изгнаническое существование его член), проговаривает следующую реплику, небесталанно используя диапазон своего фистульного голоса, колоритно окрашенного фитаизмом:

> *Фак* значи*ф фы* и ес*фь Фанфал* мой сын. Неси же дар свой: пло*фь* от земной плоо*фи* Ш*ф*оп неземная

1. Озрик — персонаж из "Гамлета".

плофь насыфясь прирасфала Как на земле и пуфь к блаженсфу укажи: Через поля земные плофских наслаждений...

— : Хотим смерти мученика!!!

К счастью, уже недалеко до пиршественной сцены — долго эта тягомотина не продлится. Но я испытываю поистине танталовы муки, И, чтоб избавиться от них, сыграл бы сейчас даже роль несчастного Пелопса. Эта мысль — поначалу не более чем игра, затеянная, чтобы отвлечься от ужаса=такого=действа, — обретает все-более-и-более определенную форму; меня так и подмывает "рвануть игру на-себя" — (наверняка этот 0 все нарочно подстроил! Ясно: он, пигмей, вздумал мне отмстить. Что ж, дружочек: Я тебе покажу, где цветут словесные рощи![1]) : И тут случай внезапно подкидывает подходящую для меня роль : Тот фиг. Ляр, что изображал Зевса, пропустил свой выход — я выскакиваю на сцену вместо него. Только что Тантал, панк, отчаявшись дождаться ответной реплики Зевса, начал свой монолог с начала, с очевидным желанием поскорее выпутаться из неловкого положения и покинуть театральные подмостки на-веки. (:Срывы, столь омерзительные для самих участников спектакля, все же — если смотреть извне — воздействуют на стервецов=актеров положительно и дисциплинирующе; так и этот панк, хотя по-прежнему расставляет ударения неправильно, вдруг начинает говорить отчетливо и ясно):

Тантал я, то есть полубог: пока сижу
здесь за столом богов — бессмертный;
но смертным стану, на полшага отойдя.
Я — пол- + -пол, кентавр=слуга-себе-же,
и не люблю я роль, судьбою злою
мне от рожденья данную, И предпочел бы
ее я вовсе не играть. ...Почто не для меня
Олимп, как целое? Закрыта предо мной
и половина — больше, чем всё вместе...
...закрыта предо мной
и половина — больше даже, чем всё вместе...

Панк путается в словах, запинается, с досады топает ногой — И наконец убегает со сцены И из зала. Похоже, мой спутник, моя *благодарная* тень, только того и ждал — он мигом оказывается на сцене и принимает на себя роль Тантала. (На 1 короткое мгновение мелькает у меня мысль: а не подстрое-

1. Аллюзия на "Песню Миньоны" И. В. Гёте, которая начинается строкой: "Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут?" Перевод П. Полевого.

ны ли все=эти неурядицы умышленно —?— :Однако необходимость *играть* не оставляет мне времени на раздумья.) И вот уже громким, ясным и чистым голосом начинает свою игру новый Тантал. :

Те беззаконья, что родители мои творили,
отказываюсь впредь я искупать! Почто
не для меня Олимп как целое?
Закрыта
1 часть предо мной — и более, чем целое, закрыта
другая часть. Ответ на все вопросы мне один:
Так получилось, и во благо. —:Почему же?
Лишь потому, что Все=Могущие у власти?
Но Все=Могущий ведь не значит — Все=Благой!:
Днем вижу духов, охраняющих врата Олимпа
мечами огненными — в месте том,
куда проникнуть я пытаюсь взором еженощно;
в той части мира, что была моим наследством,
но от меня железным занавесом скрыта,
и охраняют ее ангелы с оружьем. —:Кто идет?
В столь поздний час? Сюда? Или забот хватает
и в том, потустороннем мире? Кто ты? Неужели — из
Страны Духа
к нам забредший Призрак?!

(Моя, Зевса, реплика:)

Зевс. Я твой отец, Тантал; я господин всех духов
бессмертных; то есть я — бессмертный Зевс.
Тантал. Ты, значит, господин — отчасти — и для меня.
А для другой, дерьмовой, поделенной власти смертных
ты — не власть. Но ежели с Олимпа к нам явился, скажи:
Ты счастлив там?
Зевс. Зачем мне счастье, коли я владею властью! Ты не знал:
бессмертный властен лишь над теми, кто бессмертен,
а смертное дерьмо самоуправно. Люди
признáют под пыткой лишь
то, в чем обязаны признаться; я же это всё,
о духах и: о людях, расскажу тебе, *1й* из половин тебя.
Тантал. И что же это?
Зевс. Я бессмертен — поскольку сам такого пожелал; тиран я над собой,
и сам себе могу взглянуть в лицо без страха, признавая:
мое созданье — зло. Я величайший; ибо я —
создатель... великого: себя и многого другого; только —
Зла величайшего и мне не истребить. На трон пустынь

себя возведши, в нерушимом
одиночестве
я должен... все новые миры творить и населять:
Единственный
Владыка Безграничья Границ Неистребимых —
расчленяю... себя же, вновь и вновь; И без надежды на...
Конец спасительный. Творенья нож вонзаю в сердце
Самости=Себя, удваивая муку, — чтоб прибавить
к великому в себе великое Ничто.

(:Я вдруг поражаюсь тому, что, произнося последние фразы, отклонился от текста пьесы — может, по оплошности перешел на 1 из ее ранних вариантов или в силу внезапного порыва начал импровизировать; мой партнер, улыбнувшись, принял это к сведению, *с благодарностью* (он шепчет: —Теперь уже очень скоро мы станем близки друг другу!), — Что бы это значило? —; И, соответственно изменившейся ситуации (:Или он, втайне от меня, написал собственную адаптацию моей пьесы, тем самым навязав мне поле=битвы?), продолжает играть свою роль, но теперь тоже произнося измененный текст.):

Тантал. Я в снах, бывало, зрительные образы встречал,
но слов не находил, о них мечтал лишь
у врат Олимпа. Бодрствуют там ду́хи
с оружьем огненным. И эту муку
считаю я *моей*. Себя же — *1оким* 2жды, ибо:
мне мука — образ бессловесный, и другая —
слова без образов. Что сверх того *моим* могу назвать,
живет вне речи: как сестра=жена моя Ниоба
и Пелопс, сын. Они обходятся без образов, без слов,
но их сердца полны и верностью, и верой.
Хоть не переношу дерьма, мне надо... справляться с ним
и им, паче дерьма униженным, помочь — спасаться будем
любовью нашей & блаженством веры.
Зевс. Ты забыл упомянуть средь прочих образ некий.
Тантал. Так подскажи!
Зевс. 2-ой ты половины избегаешь из сочетания: дерьмо и
смерть.
Тантал. Смерть-то я видел часто. Здесь обычно,
где я сейчас стою. Что нового увижу?
Зевс. Ты видел, как она к другим приходит — не к тебе.
Тантал. Так покажи!
Зевс. Ужель и на *свою* смотреть готов без страха?
Тантал. В огне перекрестном тех взглядов, стенаний

и вздохов,
что рвутся из грязи наверх, о смерти я многое слышал.
Наполовину смертный я, другою половиной —
ее не знаю: значит, то чужое, что *смертью* называется,
не станет полным для меня концом, его могу я
загнать в 1 из половин себя.
Так покажи мне смерть! Отцовской частью
я буду наблюдать, как смерть умрет во мне!

Зевс. Я ж буду наблюдать — за частью материнской. Цель
желанная бессмертных это *смертность*, кино
моих желаний,
чьи герои всегда чужими были для меня...
Еще лишь слово!

Тантал. Слова — отсрочка, лепет пред несчастьем.

Зевс. Нет смерти задарма, познание любое свою имеет цену.
Жертву принеси, чтоб овладеть искусством умиранья!

Тантал. И кто же... станет... жертвой?

Зевс. Ниоба и Пелопс, твои родные: *их двоих* ты в чашу —
на весы познанья — брось; тогда другая чаша
накренится, и ты узнаешь правду — а вина за жертву
просто прибавится к всем прежним. Ну, согласен?

(:Мы оба очень далеко отошли от текста! Присутствующие, актеры & зрители в сумеречном подвале, почувствовали необычность ситуации; позабыв о ролях и игре, они подступают всё ближе : давно уже происходящее здесь сфокусировалось, как под лупой, на 2 персонажах: на мне, на нем. Под воздействием нарастающего напряжения люди-в-подвале постепенно собираются вокруг нас и окружают плотным кольцом это действо.)

Тантал. Сын и сестра — столь низкую цену ты мне назначил?
Пелопс, Ниоба — они же смертные, отмеченные отблеском божественности лишь в силу 2.степенного родства с богами; и больше ты ничего не требуешь за познание величайшего: смерти, прежде мною не виданной, за обретение способности говорить? Дешевая входная плата предполагает дешевое зрелище. Зачем мне дешевка? Я лучше откажусь.

Зевс. "Познания!" визжат дерьмовые людишки, и: "Дух, открой себя!" То, что в твоих глазах не имеет ценности (хотя меня это удивляет), очень даже ценится теми, к кому влечется твой взгляд.

Тантал. Как это?

Зевс. Если приносишь кровавую жертву, не обойтись без слез
и криков, ведь и месса в соборе не обходится без орга́на и
благовоний. Догадываешься о силе этих мощных пото-
ков?

Тантал. Силе по отношению к кому?

Зевс. К Могучему, коему они дают наслаждение, — и к тебе, а
также к мириадам кишащих в дерьме тварей, которым
сильные причиняют страдания. Решай, к кому присоеди-
ниться! Если последуешь зову сердца — ты пропал, тебе
уже никогда не избавиться от дерьма и смерти. Если по-
слушаешься своего разума — приблизишься к эмпиреям
духовности и бессмертия. Выбирай!

Тантал. Смерть, значит, могущественнее, чем ее творец Зевс.

Зевс. Совсем нет. Ведь и ты не можешь умереть совсем. 1
часть в тебе — от меня, бессмертная, и, значит, неподвла-
стная смерти; другая же часть погибнет. Я тоже всегда ус-
тупаю смерти какую-то часть подвластного мне мира. Го-
сударство это и есть: вычленение того, что не может быть
удержано в подчинении.
Мой жребий в том, чтобы творить (ты слышал);
уничтожение есть
дело Смерти; отсюда — Равновесье & Порядок.
Довольно слов, переходи к поступкам!

Тантал. Равновесие: Ты и Смерть... Высочайшее
с Высочайшим — одно, они едины?! Жертва
Одному из них есть и жертва Другому?

Зевс. Так, именно так.

Тантал. Бессмертный, смертный приговор тебе. Шах!

Зевс. Как разговор двух евнухов в постели: анекдот —
Бессмертному ты смертью угрожаешь;
какая там угроза: облегчение, награда...

Тантал. Ты все лучше рифмуешь самого себя с Концом.
Мой шах тебе неотвратим : Ведь жертва
Великому — сама должна быть величайшей.
А выше Вышнего нет ничего, и равного тебе
не видел я пока; И, значит, жертвой Великому
Великий=Сам и станет! Только смерть Отца
раскроет смысл Смерти, прежде мне не ясной:
ни в образе, ни в слове не доступной.

(:Стоящие вокруг пододвигаются ближе и ближе, тени их тел
не оставляют воздуха для дыхания; десятки=рук хватаются за
меня, поднимают и ставят на 1й подвернувшийся стол — мне
без спешки связывают руки И ноги; И засовывают в рот кляп:
отвратительную=половую тряпку — — :Последнее, что я вижу,

ПРЕЖДЕ боли: вверху надо мной его искривленный *благодарной* улыбкой рот, губы, медленно вышептывающие слова: — Шах=Мат. — И: —Как сказано в И-Цзине: Скоро мы с тобой станем поистине неразлучны! — Последнее, что я вижу: нож в его занесенной руке. И приближающиеся отовсюду лица — с той стороны, с другой, с 3й — рты открываются, закрываются. И громкое чавканье, тысячекратно умноженное в Пред=Вкушении Великой Жратвы: последний слышимый шум — — —

Шумы и голоса

Берлин. Фейрбеллинерштрассе

1

Из-за изменившейся акустики приходит уверенность: Квартира за моей стенкой, в соседнем доме, недолго оставалась пустой. Шумы, очень гулкие, из освобожденной от мебели комнаты: шарканье — шаги — 1 стремянка, возможно, которую тащат по гладким половицам — царапанье по стене, при штукатурке и покраске, вероятно, — И молотки, бормашина, пила, куски дерева, падающие на пол, — мужской кашель (все тот же; предположительно, все тот же мужчина всегда и работает один в этой пустой комнате) — и надо всем этим, пластмассово-пронзительно, череда шлягеров: "Я сильна лишь тобой" — "Que serà" — и еще три, на итальянском И английском. Примечательно, что по завершении марша такой пятеричной колонны марш этот всегда начинается сызнова и с самого начала, отделочные же работы, на мгновение прерванные, возобновляются; очевидно, музыкальная серия прокручивается на кассетнике либо проигрывателе.

2

Ремонт в квартире за моей стенкой, в соседнем доме, похоже, закончился; шумы, связанные с отделочными работами, прекратились. Осталась гулкая акустика, придающая любому шуму дополнительный призвук и тем превращающая как само помещение, так и звуки в виртуальную величину; предположительно, в квартире за моей стенкой, в соседнем до-

ме, пока еще совсем мало мебели и тканей. Однажды ночью. Скрип кровати, мужской кашель (все тот же; предположительно, все тот же мужчина всегда и лежит один в этой кровати в почти пустой комнате). С раннего вечера, пластмассово-пронзительно, череда шлягеров: "Я сильна лишь тобой" – "Que serà" – и еще три, на итальянском И английском. По завершении марша такой пятеричной колонны марш этот всегда начинается сызнова и с самого начала: "Я сильна лишь тобой" – "Que serà" – и еще три, на итальянском И английском, до поздней ночи. На основании такой повторяемости и характерного кашля допустимо предположить: мужчина, один в постели, есть тот же мужчина, который прежде ремонтировал эту комнату в квартире за моей стенкой, в соседнем доме.

3

Однажды вечером. Скрип кровати. Мужской голос (стонущий), женский голос (ворчливый); женский голос укоряет и оскорбляет мужчину. Женский голос кажется лишенным существенной внутренней заинтересованности, он не поднимается до высоких тонов, он монотонен, как при повторении многократно опробованной литании. В какой-то момент стоны мужчины прекращаются. Все это время, с чуть приглушенной пронзительностью, череда шлягеров: "Я сильна лишь тобой" – "Que serà" – и еще три, на итальянском И английском. После того как стоны мужчины прекращаются – кашель и возобновление шлягерной серии: "Я сильна лишь тобой" – "Que serà" – и еще три, на итальянском И английском. На основании такой повторяемости и характерного кашля допустимо предположить: мужской голос принадлежит тому же мужчине, который прежде ремонтировал эту комнату в квартире за моей стенкой, в соседнем доме; к мужчине, который до сих пор, одинокий даже в кровати, прокручивал шлягерную серию ("Я сильна лишь тобой" – "Que serà" – и еще три, на итальянском И английском), пришла женщина.

4

Крики младенца в квартире за моей стенкой, в соседнем доме.

Однажды вечером, около 11.00. В тональности телевещания — человеческие звуки из квартиры за моей стенкой, в соседнем доме, порой даже более громкие, чем тональность телевещания: женский голос (стонущий) — его регистр не предполагает существенной внутренней заинтересованности, он не поднимается до высоких тонов, он монотонен, как при повторении многократно опробованной литании. Голос женщины остается одиноким. Минут через сорок пять женщина прерывает себя, ее стоны прекращаются, зато возникают шумы: одеяла, отбрасываемого в сторону, скрипящей кровати; очевидно, в квартире за моей стенкой кровать стоит непосредственно у стены — женщина поднимается с кровати, вскоре начинается череда шлягеров: "Я сильна лишь тобой" — "Que serà" — и еще три, на итальянском И английском. Серия прокручивается еще 1 раз, непосредственно вслед за тем — скрип кровати и женский голос (стонущий). — Этот алгоритм сохраняется до пол 2го ночи, практически без изменений: через каждые три четверти часа, приблизительно, — прерывание самой себя, вставание, шлягерная музыка: "Я сильна лишь тобой" — "Que serà" — и еще три, на итальянском И английском; одновременно — возвращение в кровать, женский голос (стонущий). Иногда еще 1м поводом для прерывания самой себя становится крик младенца (сильно приглушенный: вероятно, проникающий в комнату в квартире за моей стенкой, в соседнем доме, из другой комнаты в той же квартире). Стоны в таких случаях прекращаются, зато возникают шумы: одеяла, отбрасываемого в сторону, скрипящей кровати; очевидно, женщина поднимается с кровати, проходит пару шагов по комнате, открывает дверь (о чем свидетельствуют как шум, так и кратковременное усиление криков младенца), заходит в соседнюю комнату, прикрывает за собой дверь (шум) — крики младенца смолкают. Женщина возвращается из той, другой, комнаты (шум открываемой и закрываемой двери), проходит пару шагов по комнате, ложится в кровать (шум) — вскоре после того начинает звучать женский голос (стонущий). Как в моменты прерываний, так и на протяжении всего остального времени из квартиры за моей стенкой, в соседнем доме, не слышно никаких иных человеческих звуков, кроме голоса женщины (стонущего) и — иногда — криков младенца. На основании этого, а также монотонности голоса допустимо предположить: женский голос принадлежит той самой женщине, которая прежде лежала в 1 кровати с

мужчиной, который еще прежде отремонтировал комнату в квартире за моей стенкой, в соседнем доме. Второе предположение: Мужчина, отмеченный характерным кашлем, который до сих пор, даже в кровати, даже в присутствии этой женщины и характерной монотонности ее голоса, постоянно прокручивал шлягерную серию ("Я сильна лишь тобой" — "Que serà" — и еще три, на итальянском И английском), очевидно — по крайней мере, на эту ночь — из квартиры за стенкой, в соседнем доме, исчез; женщина и младенец остались в квартире за стенкой, в соседнем доме, одни. Около половины 2го ночи события достигают кульминации: протяжные женские крики, несколько быстрых ударов в стену, наверняка обусловленных движениями ног, кровать тяжело скрипит — И затем на несколько мгновений воцаряется тишина. Вскоре после того возобновляется шлягерная серия: "Я сильна лишь тобой" — "Que serà" — и еще три, на итальянском И английском. Серия несколько раз повторяется, но всякий раз обрываясь вскоре после 2го номера, "Que serà", после чего начинается сызнова и с самого начала. Таким образом, повторяемым элементом остается: *"Я сильна лишь тобой" – "Que serà".*

6

Целыми днями И до поздней ночи в квартире за моей стенкой, в соседнем доме, звучат многие голоса, целый голосовой ковер из постоянного бормотания и шепота, с тканым узором поп-музыки: "Зло везде и повсюду" — "You are always on my mind" — "Love hurts"[1] — а также ряд других хитов, на немецком И английском. Этот голосовой ковер образован двумя ступенями звукоряда: более низкочастотным шепотом — голосами мужчин, наверняка, — и более высокочастотным бормотанием — голосами женщин, наверняка. Первая ступень звукоряда доминирует над второй: вероятно, лишь немногие женщины навещают мужчин, обосновавшихся в квартире за моей стенкой, в соседнем доме.

1. "Зло везде и повсюду" (1986) — хит австрийского рок-ансамбля "Первое всеобщее рас-страхование" ("Erste Allgemeime Verunsicherung", сокращенно EAV), основанного в 1977 г. "You are always on my mind" ("Я всегда думаю о тебе", 1987) — хит британского дуэта "Пет Шоп Бойз" (Нил Теннант и Крис Лоу), записывающего танцевальную музыку и существующего с 1981 г. "Love hurts" ("Любовь — это боль", 1974) — международный хит шотландского рок-ансамбля "Назарет", основанного в 1968 г.

Внезапно-визгливо 1 женский голос: *—Оставъ маво МУЖИКА в покое Это МОЙ мужик ГААРЮ тибе в поСЛЕДний раз!* — Предметы мебели гулко обрушиваются на пол, фарфор звенит, И тот же женский голос визжит: *—Я ТИБЯ предУПРЕДИЛА! Теперь пиНЯЙ на сибя* — глухой удар в стену, как если бы тело ударилось о камень; из низкочастотного шепота теперь вырывается один басовый тон, его голосовая фигура слегка поднимается вверх, после чего медленно и терпеливо затухает в успокоительных, умиротворяющих перепадах: впрочем, эта попытка не оказывает сколько-нибудь длительного воздействия. Ибо сразу после нее: всё тот же визгливый женский голос — *ШЛЮШка!* — заставляет общий уровень голосов в помещении подскочить до высот CAREFUL WITH THAT AXE EUGÉNE[1]; тогда как другой женский голос, монотонный, требует Вышвыривания-вон: *—Пакашто это моя квартира,* — затем, поскольку ничего такого не происходит, начинает укорять мужчин в нерешительности и бездеятельности. Постепенное понижение уровня голосов, даже ниже обычного, неотчетливое бормотание и шепот, теперь нередки вкрапления тишины — шум отодвигаемого стула, звон сдвинутых бокалов; доля участия голосов той и другой ступени постепенно снижается: очевидно, гости расходятся. Единственным неизменным элементом, поверх всего и на протяжении всего времени, остаются звуки поп-музыки: "Зло везде и повсюду" — "You are always on my mind" — "Love hurts" — а также ряд других хитов, на немецком И английском. Характерный голос того мужчины, который когда-то ремонтировал комнату в квартире за моей стенкой, в соседнем доме, который позже стонал и кашлял в кровати, один, а еще позже — под аккомпанемент женского голоса (ворчливого), в шепоте мужских голосов отсутствовал. Неизменным на протяжении целых дней И до поздней ночи остается — до сих пор — наличие многих голосов, порой прерываемых криками младенца. Прежняя шлягерная серия ("Я сильна лишь тобой" — "Que serà" — и еще три, на итальянском И английском) больше не повторяется; характерный мужской голос в квартиру за моей стенкой, в соседнем доме, так и не вернулся.

1. "Осторожней с этим топором, Эжен" (1968) — знаменитый хит британской рок-группы "Пинк Флойд".

Глава 4

Определить на глаз возраст
Альфонса не так-то легко

Бинцштрассе

Берлин. Воскресенье, после полудня

На краю тротуара — 1 жестяная бочка, на нее вскарабкался мальчик 8-9 лет; из окна на 2м этаже выглядывает другой мальчик примерно того же возраста. : Уже издалека слышен ритмический, временами переходящий в стаккато, лай обоих детей — мальчик на бочке смотрит вверх, на своего ровесника в окне, тот же, в свою очередь, смотрит вниз, на мальчика на бочке, И оба, по очереди, лающими голосами имитируют звуки автоматных очередей. В эту игру оба ребенка, сейчас неподвижно застывшие друг против друга, наверняка играют уже давно; отрезвление & привычка, обусловленные большой продолжительностью такой повторяющейся игры, позволяют детям воздержаться и от вскидывания рук, то есть от иллюзии, что руки сжимают оружие, и от изображения момента попадания смертоносной пули. От их неподвижных поз со свисающими вдоль тела руками веет самоуверенностью, а этот лай, рвущийся из детских глоток —:имитацию 2х дул, порождающих треск выстрелов, — надо понимать как ядро & конечную цель их игры: коммуникация, максимально изуродованная, есть не что иное, как стремление к смерти Другого; в этих кастрированных жестах, лишенных радости, воплощены завершенный Порядок, упорядоченная Завершенность.

Омнибус

Берлин

Использование латинского суффикса -bus (:суффикс существительных женского рода множественного числа в дативе или аблативе) в названии одного из аксессуаров городской общественной жизни указывает, обходясь без личных местоимений[1], на собственника этого аксессуара — то есть в таком

1. Слово "омнибус" образовано от латинского корня *omni*, "все", с присовокуплением суффикса дательного падежа, и означает "для всех".

словоупотреблении индивидуация никак не отражена. Насколько описанная здесь понятийная структура омнибуса[1] — упрек из XIX века — соотносится с действительностью, в которой сегодня данное транспортное средство не только сохранилось, но и давно воспринимается как символ большого города, а также с историей *массы*, то есть *обобщенного образа* его — омнибуса — потребителей, нам как раз и предстоит выяснить.

Масса — это прежде всего пустое множество: прибежище, доступное для каждого, кто хочет/вынужден хотеть иметь в него доступ. Иероглиф, обозначенный Ортегой в 1929 году, успел развиться в целостную картину: каждый человек становится еще и *массой*, под диктатом времени. Всеохватывающий характер техники, в сочетании с возросшей близостью государственной власти — близостью, от которой опасность власти только усиливается, — способствует формированию янусоподобной фигуры современного человека : империя усредненности — заносчивость посредственностей, ибо *они* владеют *универсальной формулой*, которая дает в руки *массы*, состоящей из всех социальных слоев, ключ к мнимой компетентности-во-всём; габитус ремесленника, техника & специалиста, располагающих возможностью посредством

Физиогномический прообраз *массы* — это именно отсутствие всякой формы, свободное движение по городским полям и сквозь них: след, который Э. А. По сумел расшифровать еще в 1840 году, в "Человеке толпы". То же столетие, позже, породило множество формирующих *массу* структур — индустриальный труд, пролетаризацию широких слоев населения, СверхВласть денег & техники при одновременном нивелировании всего духовного —:наброски структур, которые были доведены до совершенства уже в XX столетии. 1 из деталей инструментария, который формирует *массу*, то есть преобразует типичную для нее не-форму за счет снижения градуса свободы ее бесформенного движения, — это как раз типичное для большого города транспортное средство: омнибус. Уже его внешняя форма, форма контейнера, а также тесно-

1. Разумеется, все нижеследующее в равной мере относится к любому транспортному средству, характерному для большого города: к троллейбусу, автобусу & метро; только удачное соответствие речевого обозначения такого объекта, как омнибус, предмету нашего рассмотрения, побудило нас остановить выбор именно на нем. (*Прим. автора.*)

универсального языка заносчивости раздувать микроскопически=маленький сектор действительности, над которым они имеют власть, до габаритов модели=вообще[1]. Техника нуждается в упрощении, чтобы осуществлять свой победоносный поход через все области человеческого бытия; отсюда — выравнивание под одну гребенку всех вне-технических масштабов и высокоспециализированный механицизм: интеллектуальность вместо интеллекта, рефлексы вместо рефлексии. И потому в полной мере сохраняет значимость сказанное когда-то: "...характерно, что вульгарные, мещанские души, сознающие свою посредственность, смело заявляют свое право на вульгарность, и причем повсюду. <...> Кто не таков, 'как все', кто думает не так, 'как все', тот подвергается риску стать изгоем"[2]. Эта "вольтова дуга", на которую единообразно нанизаны индивиды, представляет собой та внутри — находящаяся в полном противоречии с потребностью в пространстве — явно акцентирует характер *массы* как чего-то "массивного" и поддерживает это образование "в форме". :Последнее выражение следует понимать и в спортивном смысле; "в форме" — то есть в состоянии пригодности (в данном случае — для материального производства). Взаимосвязь между экономикой & билетом, когда речь идет о транспортном средстве, очевидна: доступ в Равенство обеспечивается внесением равной *для всех* денежной суммы; "дешевым билетом", который не должны покупать только школьники и инвалиды, то есть представители групп, с экономической точки зрения менее функциональных: потому что одним процесс их утилизации еще только предстоит, у других же он, по причине их преклонного возраста & профнепригодности уже позади. Возможность выбора, будто бы

1. А между тем такого рода специалисты не способны даже говорить на собственном профессиональном языке, судя по тому, что в их речи преобладают иноязычные термины — английские прежде всего, что особенно заметно в сферах микроэлектроники и информатики —: С другой стороны, эти умники в своих областях совершают крайне сложные операции — предъявить им упрек в некомпетентности было бы совершенно несправедливо. Просто новая ситуация, базирующаяся на доминировании техники & узкой специализации, допускает восприятие языка в его чисто изобразительном, иероглифическом аспекте —:Повторение очень ранней стадии развития коммуникативного процесса — у людей, которые, в то же время, ведут в высшей степени цивилизованный образ жизни. Почитайте Ортегу-и-Гассета, о типе *специалиста*, и вы получите представление как о происхождении этой социальной фигуры, так и о ее роли в духовной сфере. (*Прим. автора.*)
2. Хосе Ортега-и-Гассет. Восстание масс (1929), глава 1. Перевод А. Гелескула. (*Прим. автора.*)

цепь, к коей прикованы всякое волеизъявление, всякий выбор в рамках любого поля потенциально имеющихся в нашем обществе возможностей. Тем же в конечном счете определяется и фигура художника.: с 1й стороны его творчество — с другой же банальность его повседневности, заботы о добывании денег для поддержания существования собственной личности. : Ницше и: колбасные шкурки на его столе. Отсутствию у общества определенной направленности — по причине проявления всех возможных направленностей, ad hoc & повсеместно, в формах движения & профессиональной занятости *масс*ы – соответствует неспособность государственной власти к развитию, окостенение политических методов управления. Уверенность в ожидающей всех нас эсхатологической перспективе и подкрепляющая такую уверенность убежденность в том, что существует лишь 1 возможный путь в будущее, порождают фатализм & апатию по отношению к настоящему. Ибо то, что неизбежно *должно* наступить, никак не может способствовать заботе о текущем мгновении. : Именно *décadence* всех видов материализма, начиная с механистически-каузального восприятия жизненных процессов и кончая устремленностью к 1й, самостоятельно выдуманной цели в некоем более или менее отдаленном будущем, помогает такому персона-

сопряженная с покупкой билета, — лишь кажимость; в действительности же билет есть воплощение совершенной безысходности, чистого принуждения. Как, впрочем, и "выбор" маршрута — это никакой не выбор, а необходимость. Соответственно, разделение ролей в ...бусе выглядит так: 1 водитель — и *масса* пассажиров, вынужденных подчиняться воле & действиям этого водителя=фюрера. Отсюда — частое употребление конструкций "долженствования" и "принадлежности" в повседневной речи: "мой" ...бус, "мое" место, "моя" работа. Решение пропустить 1 ...бус, чтобы сесть на другой, следующий (потому, например, что в нем будет посвободнее), — такое практически исключено. Ибо последствиями могли бы быть: мучительно переживаемое опоздание (неважно куда) и связанные с ним осложнения, возможно, включающие штрафные санкции; деградация, увольнение, либидинозные потери и т. п.; репрессивные меры, все так или иначе связанные с вытеснением из экономической сферы. *Омнибус* — это символ принуждения, часть инструментария государственной власти: многообразного & "доброй" частью направленного внутрь ее собственных границ.

жу, как *масса*, осуществлять свою власть через посредство властных структур любых форм & типов, тогда как возможности политики материализм извращает & дезавуирует. Более высокая степень духовной свободы (интеллектуализм), как характерная черта & как возможная общая тенденция жизни в большом городе, базируется на повышенной степени принуждения в тех отдельных элементах, которые в своей совокупности и составляют жизнь в большом городе. *Масса* не способна почувствовать эту духовную свободу *in totu*; она чувствует & переживает, на своем усредненном уровне, лишь отдельные элементы этой свободы, что предполагает: громадное возрастание принуждения, умножение обязанностей, эскалацию стрессовых ситуаций в сочетании с персональной безответственностью — в рамках системы репрессивных мер. Поэтому жизненным ареалом *массы* является зона *необходимости*.

Отсюда — ее (*массы*) постоянная готовность к 1ственному для нее возможному выламыванию из повседневности, к переживанию=себя как полностью сформировавшегося 1ства, как силы нерасщепленной массовости : Это и есть, по-видимому, легче всего достижимый способ испытать удовлетворение от собственной усредненности — это есть всякого рода шовинизм & национализм самого низкого толка, 1м словом: фашизоидность. Возрастающей склонности *массы* к такому выламыванию в варварство соответствует — в политике — исчезновение организованной оппозиции. Ибо слово "политика" всегда подразумевает *практическую политику сегодняшнего дня*, то есть решение вопросов, касающихся Здесь & Сейчас, посредством проработки прошлого опыта, исключения возможности по-

Итак, два экстремальных полюса: перво-бытное состояние *массы* как свободно движущегося множества — и масса, поддерживаемая "в форме" как транспортируемый груз & подлежащая утилизации экономическая единица. Из такого, смутно осознаваемого, положения вещей и проистекают злоба, необузданная ярость, а порой и подлинное отчаяние, выплескивающиеся наружу в случае опоздания либо отсутствия одного или нескольких сопассажиров — а также те, в словоупотреблении=власти неверно истолковываемые как "хулиганство", агрессивные & насильственные действия *массы*, что обрушиваются, словно символический смертельный удар — в основном под влиянием алкоголя & наркотиков, — на отдельные части транспортного средства (сиденья, оконные стекла,

вторения совершенных в прошлом ошибок — все прочее есть уже не политика, а философия : это банальная истина, но, вероятно, именно потому ее так часто извращают или игнорируют. Тоталитаризация политической жизни (& все большее ужесточение позиции государственной власти по отношению к различным меньшинствам) дает последнее подтверждение осуществляемому *массой* террору, санкционирует & оправдывает его. Поэтому всегда, когда *масса* наносит такого рода само=освобождающий удар, она с неосознанной прозорливостью & уверенностью ослепленного яростью погромщика выбирает в качестве объекта для своей ненависти какое-нибудь меньшинство вкупе со свойственным ему духовным, культурным, этическим, сексуальным мировидением & мироощущением — ибо сам факт непохожести принятых в этом кругу масштабов, нравов, обычаев на ее собственные заставляет ее почувствовать коренящуюся там враждебность. Акции *массы* всегда означают акцию в ее негативном аспекте, потому что не о том идет речь, чтобы сделать более утонченной и совершенной собственную, присущую *массе* меру вещей, чтобы тем самым превратить свою историю в факт и добиться полной позитивности ее проявлений, — *масса* вообще не осознает того, что лампы): как только *масса* оказывается (снова) отпущенной в "свободные формы" ее существования. Ибо в той мере, в какой шаткая политическая конфигурация принимается как привычная & реально существующая, при том что она не утрачивает своих одиозных черт — несправедливости, наглой самонадеянности, принудительности, — в той же мере внутри такого общества возрастает предрасположенность к жестокостям & проявлениям вандализма. Те возможности, которые открылись бы людям в *подлинной общности*, под диктатом принуждения & вымогательства-ради-блага-государства перерождаются в не-возможность общности. И это непосредственно отражается на всех приватных и социальных сферах общественной жизни. Характерный пример — перевертывание понятий и их содержания : Вместо профессиональных знаний — наглое всезнайство, не считающееся ни с кем & ни с чем; вместо умения себя вести & дисциплины, этих регуляторов общественно полезной работы и общения, — штрафные меры & шантаж; наконец, качества, характерные для *молодости*, у людей взрослых перерождаются в вандализм & инфантилизм, политическую безответственность, неспособность к культурному и эстетическому целеполаганию. Целью разговоров становится успокоение

ее история ей имманентна, *масса* не имеет воли к совершенствованию своей самости — она хочет способствовать экспансии & утверждению в качестве общезначимых ценностей, в мировом масштабе, тех общеобязательных принципов, на которых зиждется сплачивающий ее консенсус, — принципов посредственности, невежества & самодовольства. *Масса*, в постоянном стремлении к цементированию своего *status quo*, превращает историю в *природные циклы*; существенным духовным признаком *массы*[1] всегда остается ее привязанность к мифу. И инертность *массы*, выражающаяся в том, что она упорно желает оставаться на уровне собственной посредственности, приводит к таким следствием, как готовность дать себя соблазнить и наивная доверчивость (прежде всего — доверчивость к *науке* & *доказательствам*); закономерными следствиями вышеописанного положения вещей являются разные проявления грубости, жестокости & инфантилизма — трех атрибутов этого самого, пропитывающего & растворяющего все слои индустриального общества, феномена *массы*: *главной* формы существования настоящего, которое, к сожалению, вновь и вновь убедительно доказывает, что оно не достойно собственного прошлого.

друг друга посредством повторения всегда повторяемого — банальностей, пословиц & метких словечек, "готовых деталей", поставляемых медийной индустрией, — разговор ведется ради того только, чтобы собеседники убедились в своей принадлежности к усредненному уровню, чтобы у них не возникло потребности в настоящем разговоре и чтобы им не пришлось учиться его поддерживать. Когда смотришь на таких, то кажется, что они совершили прыжок во времени: из детства перенеслись прямо в старость, не пережив состояния зрелости. Отсюда, далее: отчужденность между людьми, привычка к молчанию & атрофия речи, обусловленная злоупотреблениями словом; и — насилие; а также — в транспортных=средствах — анонимная, ни к чему не обязывающая тяга к телесному контакту, эта эротика мертвецов, и отвечающее ей чувство брезгливости.

1. Если, конечно, понятия "духовный" и: "масса" не являются взаимоисключающими: ведь принадлежность к *массе* предполагает осознанную и откровенную приверженность без-духовности. (*Прим. автора.*)

Мариенбургерштрассе

Берлин

Один из типичных берлинских доходных домов эпохи грюндерства : с ветхими фасадами, которые протащились сквозь все эпохи и потому истощились, с поломанными балконами, со следами выстрелов времен последней войны, — выступил мне навстречу из повседневности вечной ночи, царящей в центральных районах города, предложив себя в качестве кулис для архаического спектакля сновидения=смерти: оштукатуренная стена, неровная, цвета искрошенного черепа, — даже прикосновение к ней бело́ от воспоминаний о пористой костной ткани, болезненно-желтоватом песке в разверстых могилах, костях — кладбищенских палочках для игры в "микадо" — и этой самой полого поднимающейся улице, в ночную пору: когда здесь полно аксессуаров для известного рода сексуальных сновидений мазохистского толка; сейчас мостовая поблескивает в серебристо-холодном свете неоновых ламп. Верхние этажи домов, строительные леса & дымовые трубы уже отступили под шиферный свод — в словно бы сбрызнутую бисеринками пота вогнутость городского неба Тьмы. / Просторная подворотня, двустворчатая дверь в ней закрыта; резкий свет шарообразного фонаря, висящего непосредственно над дверью, вырезает из черной каменной стены ярко освещенное пространство, которое приводит на память магические картины ритуального театра или витринные ящики у входа в американский окраинный кинотеатрик, где очередной фильм рекламируется не на афишах, а просто демонстрируются — без звука — фрагменты этого самого *триллера.* / Дверь внезапно толкают изнутри, сквозь распахнувшиеся створки наружу вываливаются, спотыкаясь, вкогтившиеся друг-в-друга 1 мужчина 1 женщина, чей возраст из-за яркого света и теней, отбрасываемых 1ственным фонарем над дверью, определить трудно, но видно, что им сильно за 50, одежда у них линялая & поношенная, — так вот эти двое, оба небольшого роста и оба костлявые, с кривыми ногами & искривленными от натуги руками, обхватили друг друга так крепко, будто соединились в неуклюжем танце / в поспешном клинче; при этом оба молчат, не произносят ни звука. Наконец мужчине удается высвободить 1у руку, и он наносит женщине жестокий удар в плечо; женщина, потеряв равновесие, умудряется все же молча лягнуть противника в голень; мужчина хватает женщину за загривок, без лишнего шума бьет кулаком по лицу —: женщина ищет спасенья за дверью,

мужчина преследует ее, дверь захлопывается. И — открывается снова буквально через минуту, выбрасывая того же мужчину ту же женщину, все так же безмолвно колотящих друг друга. Но если при 1м появлении они сжимали один=другого в тесном объятии, то теперь между 2 телами пролегает дистанция, достаточная, чтобы замахнуться; удары & пинки, наносимые обоими стариками, описывают в воздухе дугообразные траектории. Прежде чем удар или пинок достигнет другого тела. Все происходит без криков, без ругани, в молчании и ожесточенности этих 2х, смертельно ненавидящих друг друга. Такая вот борьба, по ту сторону от потребности в словах, по ту сторону от заклинаний в виде проклятий & крика: ведь в миг, когда уничтожаешь Другого, говорить больше нечего, И с палачом тоже не говорят; такая вот сцена, отрывок *триллера* из этого громоздкого дома в ночи. Пока 2е стариков колотят друг друга, не слышно ни их дыхания, ни даже пыхтения от натуги; 1ственное, что порой можно уловить, — это шум удара, когда он попадает в цель, в человечью плоть: пантомима ненависти, немой театр мертвецов. Оба противника, преследуя друг друга, вскоре снова скрываются в подъезде; дверь захлопывается, а пространство *перед* ней остается, как и прежде, в пятне жестокого света, *без* следов крови или слюны: просто — зияющая пустота, заряженная испарениями, вредоносными испарениями растянутого во времени убийства.

Глава 5

Вспоминает женщина.

Невротики как делатели детей — 2

Берлин, остановка автобуса 49,
площадь Сионской церкви

Декабрь. Вечер пятницы. Тепло и дождливо. На улицах полно пьяных: шатающихся, переговаривающихся; среди них, в темноте под неоновым освещением, — и я; вымороченные создания, промокшие под дождем, в немом отупении ждут на остановках: тела нахохлились, укрывшись сами-в-себя, как сжатые в кулаки руки. 2е пьяных — тощий, с соломенными волосами, и маленький черноволосый крепыш, который то и

дело роняет на мостовую монетки, но каждый раз, покачиваясь, их поднимает (возраст обоих приближается к пятидесяти) — наконец влезают в последний автобус и усаживаются бок о бок впереди. Тощий так и продолжает сидеть, молча и отрешенно уставясь в пол, пока крепыш громко ему что-то втолковывает. Видя, что приятель не реагирует, крепыш оборачивается и испытующе смотрит на немногих пассажиров. Через два ряда от него — чернокожая девушка, возле нее молодой человек. Крепыш уставился на обоих. Ткнув пальцем в девушку, он выкрикивает: *—Надо же, негритянка!* — потом показывает на молодого человека: *—А он педик!* — Молодая пара не реагирует. Тут крепыш обнаруживает меня. И продолжает, в той же манере: *—Ишь, очки нацепил. Еврейчик!* О старике за моей спиной: *—Старый говнюк из штази!* И напоследок о женщине в последнем ряду: *—А та, хто ж та будет? А, понял — блядь!*

Реакция пассажиров — молчание (только старик обиженно пыхтит). По-своему рассортировав людей, крепыш переходит к фантазиям на тему их дальнейшей судьбы. Он и теперь перечисляет их в том же порядке, будто наклеивая ярлыки: *—Негритянке место на рудниках! ; —Педику мы живо оттяпаем причиндал! ; —Еврейчик пусть отправляется в газовую камеру! ; —Говнюку из штази порвем задницу! ; —Что же до этой бляди* — :Но тут фантазия отказывает ему, да и автобус как раз подошел к Шёнхаузер-аллее; тощий и крепыш, шатаясь, поднимаются и выходят. В вагоне все время, пока один из них произносил свою речь, было абсолютно тихо; тишина сохраняется еще мгновение.

Джудит Пэчт

Стихи из книги “Сокол”

Перевод с английского О. Сульчинской

На строчку из Сальвадора Эсприу

Una a una
En els meus ulls ordeno
Les vides conegides.

Одну за одной у себя перед глазами собираю жизни,
какие знаю.
Вот Джулия на коленях трет кухонный пол,
окликая Айка, который не слышит:
“Дорогой, небо чернеет”.

Она преподает в колледже сатиру Теккерея
на рубеже веков,
ее Айк смотрит, как стакан “Чивас Ригал”
скользит по полировке бара.
Одну за одной у себя перед глазами собираю жизни,
какие знаю.

© Judith Pacht, 2000–2006
© О. Сульчинская. Перевод, 2010

Трет мать, и я тоже, наша маленькая работа,
нарядные платья для моих кукол,
наше большое молчание,
ускользающее от тех, кто не слышит.

Вот женщина, что живет в переулке за моим домом,
ее покупки в магазинной тележке
старательно уложены
одна к одной. Я собираю жизни, какие знаю. Слушай,

высокий ветер трет небо,
глухие громыханья черным обводят
мертвый покой. В центре набухло.
Точно костяшки стучат по ковру.
Джулия окликает Айка, который не слышит:
"Пол уже высох".

"Разве ты не слышишь звука мотыги?" —
спрашивает Эсприу.
Тяжко вздрагивает земля. Сладкая мульча[1].
Мать, Айк, Джулия.
Одну за одной у себя перед глазами я собираю жизни,
какие знаю,
окликая тех, кто слышит.

После дождя

1

Мы могли бы и раньше развеять прах Джерри
возле Конс Коттедж, но утром оползень
перекрыл шоссе, и еще я подумала —
слишком широк и бурлив ручей для переправы,
небо в облаках, погода неустойчива,
склон все еще скользкий, а Роберт после инсульта.
Гортензиям не хватило тепла, чтоб расцвести —
еще одна причина повременить.

1. Мульча — субстанция, состоящая из соломы, компоста, измельченных листьев и т. п. Используется в сельском хозяйстве — ею покрывают пространство между грядками для предотвращения роста сорняков и улучшения качества почвы. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2

В воскресенье Роберт сказал: “Можем двигаться.
Бриз уносит облака, небо расчищается”.
Пластиковая коробка лежала на полке
в полутора метрах от места, где двадцать лет Джерри
сидел у стола под лампой дневного света,
которую он уже не зажжет. Джонатан снял прах
с полки и вышел из дома. Мы сказали в один голос:
“Последнее путешествие Джерри”.

3

С вершины каньона Солстис открылся океан,
сияя иссиня-черным после дождя,
зелень весенних склонов
обрывалась у моря.
Извилистой тропой мы спустились
к ручью, полному палой листвы,
и тронулись вброд с валуна на валун,
перекрикивая шум воды, остерегая друг друга,
если камень шатался.
Джон Моттишо встал, врастая в дно,
утвердился среди теченья,
чтоб помочь нам удержаться.
У сапог закручивались буруны.
А Роберта он потом перенес на закорках.

4

Прямо над нами Конс Коттедж — каменные руины,
здесь и хотел быть Джерри.
Никто не произносил речей,
только Элиот пошутил в честь Мастера Шутки
и мы разделили сочный апельсин и грейпфрут
в память всех цитрусов, которые так любил Джерри,
но под конец
уже не мог есть. Джонатан открыл коробку,
и мы смотрели, как ветер бросает прах в воздух,
на листья лавра, на нас. Все посеребрил пепел.

Элегия

Прошлой ночью собака, скуля и тявкая,
разбудила других, и лай пошел гулять по кварталу,
назойливый и неотвязный,

отнимая остатки сна. Шаги ли послышались ей,
или вдруг захотелось, чтоб ее приласкали,
покормили, утешили,
как утешает звук голоса?

Или стало страшно от отсутствия звуков?
Нечто похожее
заставляет людей покрывать любую поверхность
цветами, листьями, безделушками.

В том-то и дело,
что бывает такой особый вид одиночества,
сказали бы те, кто развешивает повсюду картины,
боясь пустоты.

Я и сама поступала так же,
часами болтала по телефону
ни о чем, расхаживала из комнаты в комнату,
лишь бы не думать,

слушая записи хора, делая звук то громче, то тише,
стараясь не поскользнуться в шлепанцах
на влажном полу.
Была сыта, но ела, чтобы заполнить

то, чего заполнить нельзя.

Сделка

Никто не заставляет —
она идет добровольно,
упиваясь синяками,

оставшимися на предплечье
под синей рубашкой,
она восхищается его умом,

улыбкой, языком,
каким он излагает историю —
Плутархов "Совет

супружеским парам"
и "Константинов меч".
Блеск интеллекта

заводит ее, она готова обещать
что угодно, когда он говорит вот так,
изысканно или дерзко, когда пугает ее

на Автостраде, лихо закладывая
виражи через волглую топь,
местными прозванную Стиксом.

Она живет в аду,
и ей по нраву
его привычки о трех головах:

разбрасывать одежду где ни попадя,
ставить грязные тарелки вместе с чистыми,
а в-третьих... но об этом она умолчит.

Тем временем
он приходит и уходит —
никаких вопросов —

ей это на руку,
пока они могут отправиться —
как же любит она эти поездки —

от Виченцы
вдоль реки
любоваться виллами

Палладио,
пока на языке у нее
терпкий и сладкий сок

гранатовых зерен[1].

1. Гранатовые зерна дал своей супруге Персефоне владыка подземного царства Аид перед тем, как отпустить на землю к ее матери Деметре. Съев гранатовые зёрна, Персефона оказалась обречена на возвращение в царство мертвых.

Сокол

Сколько б ни длился день, знаю,
ты его не упустишь, ты исчисляешь
время полета с точностью до мгновенья

ока. Немигающие

глаза в золотых искрах
рассчитают прыжок зайца

с высоты в полмили. Мах-взмах, резко вниз,

молниеносный удар
кривым клювом в спину, захват.

О чем по ночам твои сны, вот что хочу узнать —

как спит камня точильного точность:
внизу темное поле маслянистого рапса

или дрока, дрожанье стеблей,

пряданье ушей, мельтешня.
Ты знаешь эту падаль — ее мысли и позвонки,

как разбить любой

точно и быстро — ночное
упражнение в чистом убийстве —

это не спорт, не

фантазии
свихнутых людей,

в черных капюшонах

или в красных, на бетонном полу,
как, скажем, те,

в Абу-Грейбе.

Ars poetica для Джессики

Глиняная мексиканская церковь стоит между
книг у нее на полке, там звонит колокол,
слышный лишь ей.

Иногда она залезает внутрь церковного нефа,
скрывается, появляется вновь

у себя в комнате на той же странице, где пишет
сидя со скрещенными ногами на полу

под книжными полками. Ее карандаш вспоминает
кукол, сложенных в коробке на самом верху,

а потом кто-то в белом, выглянув,
со страницы переходит в танцующую тень

под летним кленом — особое место,
откуда ей слышна солнечная арка в небе,

видна спокойно вздыхающая листва.
Ворот ее длинной рубахи расстегнут,

руки раскинуты, точно для полета.

На шестой день

Она чистит ему яблоко,
над раковиной свивается красная спираль,
эта кухня заросла посудой,
густой листвой, жужжаньем насекомых.

Фруктовый запах. Жар сковородок.

Они одеты, готовы на выход,
и раздетые готовы на выход,
невинные, но безрассудные,
а что-то извивающееся в ветвях

поднимает голову, заглядывает им в глаза

и искушает их яблоком желанья,
вспоминая другой, первобытный пир,

плод, от которого они отведали
вполне довольно, чтоб удовлетвориться,

но не довольно для удовлетворенья,

когда они стоят так близко, дышат
дыханьем, перехватывающим дыханье,
окруженные первобытными зарослями
и ненасытные.

Оборотень

С. А.

Приходит день, ты ходишь и разговариваешь,
как все,
я смеюсь над твоими неудачными шутками.
Когда тьма омывает ночной воздух,
я читаю в мягком желтом свете,
а ты крадешься — волк, привлеченный
флюоресценцией, льющей холод
на полки книжного магазина,
леденя контрольные линии,
и морозная голубизна мерцает,
подобно снегу, на твоих руках.

Однажды ночью, когда я читала перед сном,
ты прилег ненадолго рядом,

для начала примяв покрывало,
как волки — траву перед тем, как улечься.
Утром я нашла в простынях
песчинки и камешки,
словно выпавшие из шкуры,
напоминание о солнечном пляже,
где песок налип тебе на влажную кожу,
пока ты грелся, валяясь на спине,
лая на солнце, рыча на прозрачную луну,
молотя всеми лапами воздух,
как какой-нибудь бродяга-волк.

Еврей в шкафу

Тадеушу Ружевичу[1]

Погода неустойчива как снаружи,
так и внутри, точно в Польше
после войны.

Мы говорим о Ружевиче, дающем имена
своему миру: "Это дерево, это коза".
Это рождаются заново

весна, растение, мужчина,
женщина, уцелевшие
после зимы. Он знает

людей, что, ведя машину
по дороге, отводят глаза,
чтобы не видеть спящих мужчин,

женщин,
тенью стоящих в дверях.
Одна, с сильно разбитым носом,

бежит к доктору. "Заходите" —
это медсестра. И еще: "Звонят насчет лодыжки,
но лодыжками мы тоже не занимаемся".

Ружевич мог бы сказать:
"Это ботинок, кусок мыла,
это кольцо, это чемодан",

а мы спрашиваем: "Как бы вы поступили,
если б вам угрожали? Показали бы
на еврея в шкафу?"

Мужчина, женщина размером с тарелку.
Прячась, человек
может встать прямо.

В шкафу объект находится
в состоянье покоя. Маленький еврей
в неустойчивую погоду.

1. Тадеуш Ружевич (р. 1921) — один из крупнейших представителей современной польской литературы. Поэт, драматург, прозаик. Экспериментатор и реформатор. Многие его произведения переведены на русский язык, публиковались в журналах "Иностранная литература", "Вестник Европы", "Звезда", а также выходили отдельными книгами.

Роб Гиффорд

Дороги Китая: Путешествие в одиночку вглубь страны

Фрагменты книги

Перевод с английского и вступление Светланы Силаковой

Британец Роб Гиффорд впервые оказался в Китае в 1987 году, когда ему было двадцать, — приехал учить китайский. Позднее стал журналистом. С 1999-го по 2005 год работал в Китае корреспондентом американской некоммерческой радиостанции Эн-пи-ар (ныне он представляет Эн-пи-ар в Лондоне). На основе своих репортажей Гиффорд написал книгу, фрагменты которой мы публикуем ниже.

Китай не может не озадачивать своей противоречивостью, а если ты не озадачен, то просто не умеешь смотреть, полагает Гиффорд. По его мнению, к этой стране иностранец не может относиться нейтрально: одно из двух — либо пылкая ненависть, либо любовь с первого взгляда. "Как сохранить отрешенность, когда на твоих глазах переворачивается жизнь

© 2007 Rob Gifford. Reprinted with permission of the author
© Светлана Силакова. Перевод, вступление, 2010
Редакция "ИЛ" благодарит Р. Шапиро и К. Осолихина за консультации при подготовке к публикации данного текста.

двадцати процентов человечества: тысячи китайцев обогащаются, а миллионы других растоптаны?"

Для своей книги Гиффорд выбрал четкие географические рамки — поведал о путешествии по автомобильной трассе 312 — от Шанхая до казахстанской границы (кстати, несколько китайских читателей попеняли автору за то, что он проложил маршрут по беднейшим провинциям и потому описал не самые типичные явления). Материалы он собирал в 2004—2005 годах.

Осматривая города и веси, беседуя со встречными, углубляясь в историю, автор пытается заглянуть в будущее. Вступит ли Китай когда-нибудь на путь демократии? Сохранит ли социальную стабильность и территориальную целостность? Что станется с культурными традициями?

Гиффорд расспрашивает радиоведущих и яппи, уйгуров и тибетцев, проституток и владельцев закусочных. И, чувствуя себя послом прогресса, то и дело вставляет в разговор: "А вот у нас государство не вмешивается в частную жизнь граждан". (Он ведь с самого начала предупреждал, что отрешенность — не в его характере.)

Следует учесть, что Гиффорд — чистой воды радиожурналист, а следовательно, тяготеет к четким формулам и незамысловатым схемам — он привык писать так, чтобы легко воспринималось на слух. Но, как он сам подчеркивает, ни один журналист не в силах рассказать о Китае занудно, даже если очень захочет, и книга получилась нескучная. К тому же бытовые наблюдения порой наталкивают Гиффорда на глубокие выводы: "Однажды я побывал на ипподроме в окрестностях Пекина и поразился: посетители явно играли в тотализатор. Но ведь в Китае азартные игры под запретом! Я подошел к окошечку, которое ничем не отличалось от окошечка кассы, и сказал, что хочу сделать ставку. Кассирша заявила, что сделать ставку на лошадь нельзя (подтвердив тем самым, что азартные игры вне закона). 'Но если вам угодно, попробуйте угадать лошадь', — сказала она.

'Угадать лошадь'! Я выложил двадцать юаней (два с половиной доллара по тогдашнему курсу) и принялся раззадоривать свою лошадь криками, надеясь нажиться на догадке. Правда, победила другая, но я ничуть не расстроился. За этот опыт и за то, что я узнал в этот миг о современном Китае, я не пожалел бы и более солидной суммы. Потрясающе, что ипподром (не какой-то там притон в подвале, а самый настоящий общедоступный ипподром, действующий среди бела дня) может открыто принимать ставки, просто именуя их иносказательно. Та же закономерность распространяется на политико-экономическую систему Китая — 'социализм с китайской спецификой', как принято говорить. Если компартии требуется риторический 'фиговый листок' — пожалуйста, хотя всякому известно: на деле во многих китайских провинциях царит форменный 'дикий капитализм'".

В другой главе, сопоставляя Китай с Индией, Гиффорд задумывается о том, что и западные термины иногда вводят в заблуждение. "Мне кажется, слово 'демократия' заставляет нас приписывать Индии некоторые преимущества, которые не всегда *существуют в реальности*. Точно так же слово 'диктатура' заставляет нас предполагать, что в Китае происходят ужасные

вещи, но и они не всегда *существуют в реальности*". Гиффорд призывает не идеализировать индийскую демократию: по его оценкам, Индия не менее коррумпирована, чем Китай. Зато в Китае гораздо выше продолжительность жизни, почти поголовная грамотность, бурно развивается современная инфраструктура. Автор заключает, что судьба бедных крестьян незавидна и в Индии, и в Китае, но китайцу все же легче выбиться из нищеты. Как сказал Гиффорду один крестьянин, заработавший хорошие (по его меркам) деньги на строительстве высокогорной железнодорожной магистрали до Лхасы: "Теперь наше выживание больше не зависит от милости неба". Новые дороги в Китае прокладывают так быстро, что карты устаревают еще в типографии. По былому Шелковому пути странствуют продавцы мобильных телефонов, у шоссе в Тибете — реклама широкополосного доступа в Интернет.

Перечисляя позитивные стороны современного Китая, Гиффорд тут же демонстирует их изнанку. Да, в стране, где еще в конце 1980-х действовала карточная система, теперь бурный потребительский бум. Но большинство населения все еще живет бедно, обновки доступны в основном коррумпированным чиновникам: "Если в США без богатства не приобретешь власти, то в Китае без власти не приобретешь богатства". Да, сегодня, после тяжелейших испытаний XX столетия (свержение императора, междоусобицы, зверства японских оккупантов, коммунистическая революция, многочисленные затеи Председателя Мао) Китай наконец-то наслаждается миром и спокойствием. Но это не исключает воинственных притязаний на Тайвань, социальной и межнациональной напряженности. Да, с 90-х годов КПК сокращает вмешательство в частную жизнь: "Раньше простые китайцы жили в клетке, теперь их перевели в вольер". Но системы сдержек и противовесов пока нет и в зародыше, а суды признают виновными более 99 % подсудимых. К наблюдениям Гиффорда следует добавить, что граждане Китая отныне могут беспрепятственно перемещаться по собственной стране (еще в 80-х им требовалось для этого нечто среднее между командировочным удостоверением и пропуском, теперь же особый режим въезда касается лишь Гонконга), но прописка не отменена. Зато упразднены бесплатное образование и здравоохранение.

Мне как читателю книга Гиффорда напомнила репортажи из перестроечного "Огонька": те же авторские рассуждения о косности существующей системы, те же жалобы собеседников на коррупцию номенклатуры и упадок общественной морали, те же уверения, что раньше китайцев учили "быть людьми", а теперь толкуют о деньгах. Гиффорд обнаружил: с точки зрения рядового китайца, местные чиновники продажны, тогда как центральная власть честна и порядочна — правда, знакомое представление о добром царе и злых боярах?

Надо сказать, что о России Гиффорд практически не упоминает (если не считать предположения, что из-за межнациональных трений Китай может развалиться на манер СССР). Но многие формулировки и мысли, встречающиеся на страницах "Дорог Китая", совпадают с теми, что используют-

ся в статьях экспертов-неокремлинологов. "Лидеры заключили с народом неписаный, негласный договор: делайте, что хотите, только в политику не суйтесь". Вакуум, возникший после отмирания коммунистической идеологии, заполнила националистическая. "Китай превращается в великую державу, но продолжает высказываться и вести себя так, точно остается жертвой". Китайцы помнят о периоде унижения и слабости — об "опиумных войнах" XIX века, периоде полуколониальной зависимости, разграблении культурного наследия, японской оккупации. И лишь ныне Китай, если выражаться на российском новоязе, "поднимается с колен" и осуществляет один из принципов Сунь Ятсена, провозглашенных в начале XX века, — добивается уважения на международной арене. В разных частях света Китай приходит в экономические ниши, освобожденные по разным причинам Советским Союзом и Соединенными Штатами: закрепляет за собой источники сырья в Африке взамен на расширение торговли и помощь в развитии, заключает двусторонние договоры (например, с Бразилией) о взаиморасчете в национальных валютах.

Опасен ли окрепший Китай для Запада? — задумывается Гиффорд. Китайцы обычно заявляют, что экспансия им чужда: "Мы отгораживаемся стенами от чужих, а сами ни к кому не лезем". Между тем, замечает автор, в 1990-х вашингтонские "ястребы" прочили Китаю роль нового "наиболее вероятного противника", и Китай должен был возблагодарить судьбу за 11 сентября, переключившее внимание Белого дома на террористов-исламистов. Книга вышла в 2007-м, так что автор не мог учесть новейших обстоятельств: сложилась ситуация, когда Пекин способен обрушить американский доллар (правда, заодно обесценив собственные долларовые резервы), и все же США остаются для Китая локомотивом прогресса — как рынок сбыта и источник технологий. Некоторые политологи пророчат, что отныне тон в мире будет задавать не полузабытая уже G8 и не новоявленная G20, а всего лишь G2 — Америка и Китай, объединенные экономическим симбиозом.

Вот, кстати, несколько строк из интернет-рецензии некого китайца на книгу Гиффорда (стилистика оригинала сохранена): "Я считаю, что здесь, в США, у меня меньше свободы и прав человека, чем на родине. Мы практически не платим налогов и делаем, что хочется. Вот очевидный пример: дома я пил много вина, а здесь выпивать не могу, потому что мне еще нет двадцати одного года".

Художник Су Чжунцю пересказал Гиффорду слова видного конструктора Цяня Сюэсэня: "Нам нужно больше новаторов. Мы не воспитываем творческих людей. Мы воспитываем только техников". Это напутствие Цянь, отец китайской ракетной техники, оставил премьер-министру Вэнь Цзябао. Для китайца язык искусства — возможность выразить то, чего не дозволяет политическая система. Но беда в том, что рядовые люди пекутся лишь о хлебе насущном, а самовыражаться не хотят и чужим самовыражением не интересуются, посетовал художник в интервью. "И к искусству дело не сводится. Правительство хочет, чтобы люди получали хорошее образование, но не поощряет их мыслить", — заметил Су.

Гиффорд приходит к выводу, что политические реформы необходимы, так как современному Китаю неуютно в прокрустовом ложе старой системы. Если же, не дай Бог, в Китае наступит экономическая рецессия, социальный взрыв вполне реален. Однако опасен и дальнейший рост промышленности — он чреват экологической катастрофой. Ситуация парадоксальная: для блага планеты необходимо, чтобы Китай одновременно ускорил и замедлил свое развитие, отмечает Гиффорд.

Сохранит ли Китай свое национальное своеобразие? В начале XX века интеллектуалы ратовали за полный отказ от векового наследия — так, знаменитый писатель Лу Синь назвал конфуцианство разновидностью "духовного сифилиса". Ныне Гиффорд в своих странствиях неоднократно наблюдает, как приезжие европейские женщины занимаются традиционной китайской гимнастикой, а китаянки — аэробикой под западную музыку. В Шанхае автор приметил стальную опору эстакады: снизу доверху колонну обвивает китайский дракон. "Он словно говорит: 'Мы — потомки дракона — никуда не ушли, мы остаемся китайцами'", — пишет Гиффорд. Шанхайская радиоведущая Ё Ша сравнила свою родину со старинным домом, предназначенным под снос: "Как бы я хотела, чтобы в его комнатах мы наткнулись на клад — нечто китайское, нечто, жаждущее, чтобы его заново открыли".

Посвящается Нэнси

Надежда — не то, что уже есть,
но и не то, чего не бывает.
Она — как дорога: сейчас ее нет,
а люди пройдут — и протопчут.

Лу Синь *Родина* (1921)[1]

Введение
Дорога-Мать

ЧЕРНОЕ истертое шоссе пересекает желтую пустыню Гоби — настоящий лунный ландшафт — по прямой, пока не упирается в гряду невысоких гор. Оно ныряет в каньон, сложенный из циклопических бугристых глыб, а затем впервые за сотню миль сворачивает и приводит путника в маленький городок, который издали не видно. От каньона город получил свое имя: Синсинся, что по-китайски значит "Звездное Ущелье".

1. Перевод В. Сухорукова. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

Население Звездного Ущелья – всего несколько сот человек. Городок живет тем, что обслуживает дальнобойщиков, пассажиров междугородних автобусов и тех немногих сумасбродных путешественников, которым взбрело в голову пересечь Гоби наземным путем. Своим существованием город обязан небольшому источнику пресной воды – единственному на много миль вокруг. Столетиями колодец поддерживал силы в людях и животных на этом трудном отрезке древнего Шелкового пути. Для путника Синсинся – порог бывшего Туркестана, территории, которая ныне является Синьцзян-Уйгурским автономным округом в составе Китая. Каньон на востоке и большие ворота, где взимают плату за проезд по шоссе, на западе – точно две скобки. В скобках – сам город: кучка неказистых магазинов и жилых домов и одна-единственная, зато большая, бензоколонка. Все постройки словно бы вырастают из выжженной бесплодной земли и тянутся к синеве центральноазиатского неба. Палящее солнце стоит высоко, битум едва не плавится, а я стою на обочине и пытаюсь поймать машину.

Это шоссе – не просто какая-то там безвестная дорога, а Дорога-Мать Китая. Ее официальное название – "трасса 312". Я еду на автобусах, грузовиках и такси от самого истока трассы – из Шанхая. Преодолел уже две тысячи миль без малого. Начиная со старинного города Сиань, трасса 312 совпадает с Великим шелковым путем, который в былые времена пересекал Гоби, вступал в Центральную Азию через Звездное Ущелье и вел дальше на запад – в Персию и Европу. Мне остается проехать последнюю треть маршрута: еще тысяча миль – и у казахстанской границы трасса закончится.

Я небрит, мое лицо обожжено солнцем пустыни, я выдохся, но после шести недель дороги, после шести лет жизни в Китае в качестве иностранного журналиста настроение бодрое. Это мое последнее путешествие по Китаю: я переезжаю в Европу.

На бензоколонке собрались поболтать дальнобойщики. Подхожу к ним – не подбросят ли в западном направлении? Оказывается, их известили, что совсем неподалеку на трассе 312 ждут в засаде местные полицейские. Все тут везут больше положенного груза, и, если их остановят, штраф неминуем. Минут десять топчемся на месте, беседуем о том о сем. Почти все водители опасаются подвозить меня, иностранца с Запада. Наконец, доносится весть, что полицейские уехали, и компания разбредается по грузовикам. Я остаюсь стоять в одиночестве, но тут один водитель оглядывается, указывает мне подбородком на свою машину. Следую за ним, залезаю в кабину. Он заводит мотор, выводит своего громадного сине-

го железного коня на дорогу, выезжает на голодные просторы золотой Гоби.

— Откуда едете? — спрашиваю я.

— Шанхай.

— А куда?

— Урумчи.

— Что это за штуковина у вас в кузове?

— Промышленный фильтр для одной компании в Урумчи. На прошлой неделе сделал ездку из Урумчи в Шанхай с полным кузовом дынь.

Глубоко символичный обмен: свежие овощи и фрукты идут на восток, в магазины приморского Китая, а промышленное оборудование — на запад, чтобы развивать пока еще отсталые районы во внутренней части страны. Урумчи — столица Синьцзяна, сердце Центральной Азии, самый удаленный от морей и океанов крупный город Земли.

Водителя зовут Лю Цян. Круглый год он курсирует по трассе 312 из Синьцзяна в Шанхай, туда-обратно; круглосуточно он и его напарник Ван поочередно ведут машину (Ван сейчас спит на узкой койке у нас за спиной). Каждый грузовик обслуживают два водителя, чтобы можно было двадцать четыре часа в день ехать по трехтысячемильной трассе, останавливаясь, только когда надо воспользоваться зоной отдыха.

— Как нынче живется дальнобойщикам? — спрашиваю я. — Заработать удается?

— Тай нань лэ. С трудом, — сетует он, закуривает очередную сигарету и бросает зажигалку на приборную доску. — Чтобы хоть немножко заработать, приходится ездить с перегрузом, но полиция сидит в засаде и штрафует.

Он одновременно ведет машину, курит сигарету за сигаретой и разговаривает со мной ритмичной скороговоркой.

— За доставку груза из Урумчи в Шанхай или из Шанхая в Урумчи мне платят восемнадцать тысяч юаней[1]. Я трачу, считай, пятнадцать тысяч юаней: платные дороги, всякие издержки, штрафы. За недельную ездку зарабатываю примерно три тысячи юаней[2].

— Неплохо, — говорю я. — Многие китайцы столько не зарабатывают и за месяц.

— Да, но машина в пути изнашивается, и я сам изнашиваюсь. Конкурентов больше, и теперь мне платят меньше. А полиция свои штрафы повышает.

1. Около 2200 долларов по курсу 2004 г. (*Прим. автора.*)
2. Около 380 долларов. (*Прим. автора.*)

О лучшем спутнике я не мог бы и помыслить. В Лю, как и во многих мужчинах из Китая, сочетаются скромность и бравада, и это сильно подкупает. У него боксерское телосложение: невысокий, жилистый. В школе проучился до шестнадцати лет, но сам себе университетская кафедра философии: обо всем на свете имеет собственное мнение. Сокрушается об упадке нравственности в стране — и тут же принимается рассказывать мне о придорожных борделях, куда сам захаживает. Он весь как сжатая пружина: полон энергии, с одинаковым пылом возмущается и смеется. Смеется над жизнью в целом: сегодняшний Китай — настоящая фантасмагория. Возмущается в основном коррупцией среди полицейских и партийных функционеров. Как многие современные китайцы, Лю разрывается между глубокой любовью к своей стране и не менее глубоким недовольством ее правителями.

Много часов едем по Гоби, пейзаж все так же суров. Сначала увлеченно беседуем, потом в разговоре возникают долгие паузы: Лю Цян просто крутит баранку, я просто сижу, а Ван храпит себе у нас за спиной. А вокруг — неограненные красоты пустыни: негостеприимной земли, где беспощадные песчаные бури когда-то пожирали целые караваны верблюдов с ценным грузом, неумолимой пустыни, которая в прежние времена пропускала лишь самых упорных путешественников.

Этот край и сегодня негостеприимен, но его постепенно завоевывает армия синих грузовиков "Ист винд" ("Дунфэн") китайского производства. Движение по шоссе типа трассы 312 становится оживленнее, отдаленные города вроде Урумчи словно бы приближаются к густонаселенным восточным областям, и Гоби больше не кажется столь уж опасной. Иногда нам попадаются одинокие грузовики: несутся в противоположном направлении, слегка качнув нашу машину воздушной волной. Пассажирские автобусы тоже встречаются. Легковые машины тут редки.

Лю Цян говорит, что страна развивается прямо у него на глазах, каждый день можно видеть: все преображается благодаря ослаблению государственного контроля, притоку зарубежных инвестиций, а главное — благодаря миграциям людей, которые сорвались с привязи коммунистического прошлого[1]. Но

1. В КНР по-прежнему существует институт прописки, но ограничения на поездки внутри страны (чтобы выехать за пределы пункта постоянного местожительства, гражданам требовалось нечто вроде командировочного удостоверения от властей) были отменены вскоре после начала реформ. Тогда же были отменены и продуктовые карточки, которые, кстати, можно было отоварить только по месту прописки.

из-за мобильности и новых свобод у китайцев меняются характеры, причем не всегда к лучшему, говорит Лю.

— Раньше все были бедные, зато честные, — рассказывает он. — Теперь всем живется свободнее, зато вокруг луань — хаос. Деньги всех испортили.

Как именно испортили? Лю приводит китайскую поговорку "Жэнь чи жэнь", которая намного экспрессивнее своего английского аналога "Dog eats dog"[1].

Дальнобойщик Лю Цян затягивается очередной сигаретой.

— Китай слаб, — говорит он, скривившись. Так полагают, в отличие от Запада, очень многие китайцы. — Нужны еще десятки и десятки лет, прежде чем нас смогут назвать сильной страной, прежде чем мы сможем тягаться с Америкой.

— Но Китай — уже совсем другая страна по сравнению с тем, что было десять лет назад, — замечаю я.

— Верно, — соглашается Лю. — Да что там десять — по сравнению с тем, что было пять лет назад, страна другая. Но все равно, отстаем мы сильно.

Ван, напарник Лю, проснулся, принял сидячее положение. Скоро он сменит Лю за рулем, а тот ляжет спать. Они высадят меня у поворота на город-оазис Хами.

Я спрашиваю Лю, может ли Китай, по его мнению, перейти от однопартийной системы к демократии.

— Нет, я не верю, что в Китае когда-нибудь будет демократия, — отвечает он, ни секунды ни задумываясь. — Посмотрите на нашу историю. Власть то и дело менялась — но вообще-то сменялись только императоры: один занимал место другого. Начальство меняется, система — ничуть. Так устроен Китай.

— И что же дальше? — спрашиваю я.

— Не знаю, — он пожимает плечами и повышает голос, перекрикивая ветер: стекла кабины опущены. — Мы, "старые сто фамилий", в таких вещах не разбираемся. Но я знаю точно: Китай никогда не станет таким, как ваша страна.

А вот и поворот на Хами. Я пожимаю руки водителям, благодарю их, спрыгиваю на истертое, грязное, черное гудронированное шоссе. Стою на обочине, высматривая попутную машину до Хами, а в ушах у меня все еще звучат слова Лю Цяна. А его огромный синий грузовик "Ист винд" трогается с места и, медленно разгоняясь, продолжает путь вглубь пустыни.

1. Букв. "Собака ест собаку"; эквивалент русской пословицы "Человек человеку волк".

Глава 1
Земля обетованная

Поезд на магнитной подушке, курсирующий в Шанхае — сверхсовременном городе Китая — между сверкающим новеньким аэропортом Пудун и городским центром, плавно отходит от перрона и через несколько минут разгоняется до скорости 270 миль в час. За окном мельтешат — почти ничего не прочесть — рекламные щиты. Магнитная дорога идет по эстакаде на высоте примерно пятидесяти футов над землей. Городской пейзаж поражает своим сходством с американским: невысокие, недавно построенные, раскинувшиеся вширь кварталы. Серый скоростной поезд лениво кренится влево, проносясь над одной из главных скоростных автомагистралей Пудуна, мимо циклопических супермаркетов и новеньких многоэтажек — холеных, с бело-розовыми фасадами.

Прокладка маглева[1], как называют эту линию, обошлась в 1,2 миллиарда долларов. Это первый в мире пассажирский поезд такого типа.

За шесть недель, до того как я оказался в пустыне Гоби и Звездном Ущелье, я прилетел в Шанхай из Пекина, чтобы начать свое путешествие по трехтысячемильной трассе 312. Готовиться к поездке было некогда — я лишь вчерне наметил, с кем следует побеседовать в Шанхае.

Маглев прибывает на конечную станцию. А ведь, казалось, только-только отправился! Двадцать миль пролетели незаметно. Поезд тормозит у перрона неподалеку от неоджунглей — скопления небоскребов в деловом центре Шанхая. Выходя с тяжелым рюкзаком, смотрю на часы. — Бу цо. Неплохо, — киваю я элегантной кондукторше. — Восемь минут.

— Семь минут двадцать секунд, — поправляет она меня без улыбки.

На улицах вокруг станции — какофония звуков, пестрота людских потоков. У шанхайского воздуха неуловимый привкус спешки, надежды и оптимизма, обволакивающих тебя с первой же секунды в этом городе. Люди шагают торопливо, но их мысли несутся вперед еще быстрей. Люди строят будущее, созидают страну, движутся к отдаленной, еще незримой цели.

Я предпочел остановиться в слегка обшарпанном, но легендарном отеле "Астор-хаус" — первой иностранной гости-

1. Маглев — от magnetic levitation (*англ.*) — магнитная левитация, магнитная подушка.

нице Шанхая. "Астор-хаус", открытый в 1846 году, находится в одном из концов Бунда[1] — первоначально главной улицы города, идущей вдоль реки Хуанпу. Более ста пятидесяти лет на Бунде соприкасались Шанхай и заезжие ян жэнь — "заморские люди", как всегда называли иностранцев.

"Астор-хаус" с самого начала наблюдал, как Китай постепенно нагонял современность — от английских торговцев опиумом в 40-е годы XIX века до великосветских танцевальных вечеров в 20-е годы XX и крайностей маоизма в 60-е. Высокие потолки с отделкой в стиле ар-деко, скрипучий паркет, который никогда еще не меняли, по широким лестницам можно было бы съехать на малолитражном автомобиле. В начале XX века, когда посещение Шанхая было обязательным пунктом путешествия по Азии, здесь останавливались Чаплин, Эйнштейн и Джордж Бернард Шоу. Рассказывают, будто в XIX веке в "Астор-хаусе" можно было заказать дозу опиума прямо в номер, а в 20-е годы в гостинице скрывался коммунистический агитатор Чжоу Энь-лай — будущий премьер-министр КНР. Городских легенд в Шанхае предостаточно — любой мегаполис позавидует.

Во мне "Астор-хаус" пробуждает ностальгические воспоминания. Здесь я остановился летом 1988-го, когда впервые оказался в Шанхае. Целый год изучал в Пекине китайский, а затем ко мне присоединилась моя очаровательная сокурсница по английскому университету. Мы собирались три месяца разъезжать по Китаю на поездах, а затем по Транссибирской магистрали вернуться через СССР в Европу.

Тем испепеляюще-знойным летом мы жили в "Астор-хаусе" в самых дешевых многоместных номерах (койка — доллар; эти номера существуют и доныне). Бродили по улицам, знакомясь с обновленным Шанхаем, который медленно выползал из кокона маоизма. До поздней ночи засиживались на старинной, обитой деревянными панелями террасе отеля, пытаясь проникнуть в суть Китая, Вселенной и, конечно, своих собственных "я". Теперь очаровательная сокурсница — моя жена, и последние шесть лет мы прожили в Китае вместе. В одиночестве, отягощенный рюкзаком, я почти вижу лицо жены в мутном зеркале старого трясущегося лифта и невольно улыбаюсь ей. <...>

Свой первый вечер в Шанхае я провожу на террасе ресторана "New Heights" — "Новые высоты". Он расположен на самом

1. Бунд — традиционное название времен полуколониального Шанхая. Официальное китайское название этой набережной — Вайтань.

верху "Трио с Бунда" — одного из почтенных зданий колониальных времен, которые недавно были реконструированы. Это тоже на набережной, в нескольких сотнях ярдов от "Астор-хауса". В "Трио с Бунда" квартируют новый флагманский бутик Армани, художественная галерея, спа сети "Эвиан" и четыре фешенебельных ресторана. "Нью-хайтс" — на самом верху; его открытая терраса нависает над мостовой на высоте семи этажей. В мире найдется немного ресторанов, откуда открывается столь пленительный вид: десять полос Бунда, гладь реки Хуанпу, а за рекой — фантастический, только что построенный район Пудун.

Название "Бунд" привезено сюда англичанами из Индии — оно восходит к ныне устаревшему слову из языка хинди, означавшему "набережная". В окрестностях Бунда торговцы опиумом, которые хлынули в Китай в середине XIX века, торопясь нажиться, выстроили первые годауны — склады.

Выходя с кружкой пива на террасу, я вижу тот же закат над Хуанпу, который видели торговцы опиумом. Как и сто пятьдесят лет назад, ласковый ветерок с реки благоухает удачей, сулит обогащение. Но там, где были годауны и джонки, клиперы и курильни опиума, сверкает стеклом и сталью мегаполис XXI века. На нескольких зданиях колониальных времен по соседству плещутся красные флаги Коммунистической партии Китая, но они как-то теряются на фоне бурного капиталистического развития. Куранты на башне старой таможни, выстроенной в 1925 году по образцу башни с Биг-Беном, отбивают время и играют любимую мелодию Председателя Мао "Красный Восток". Но Восток больше не "красный". У капитализма оперение всех цветов радуги, Бунд слепит зелеными, синими и белыми огнями, точно оплакивающими марксистскую экономику навзрыд. В новостях сообщают, что Китай страдает от сильного дефицита электроэнергии, но здесь в это не верится: невесть сколько ватт подсвечивает небо в нынешний теплый летний вечер.

Сквозь сутолоку городских огней пробирается река с темной водой — медлительная Хуанпу: вытекает из "рта" великой Янцзы и ползет струйкой по "подбородку" в дельту.

Среди многочисленных иностранных бизнесменов в "Нью-хайтс" ужинают и состоятельные китайцы — новая элита, которая пристрастилась к тунцу в глазури из пасты мисо, сабайону[1] и пино нуар. Эти люди говорят по мобильному о слияниях и поглощениях, о потоковом видео, о товарах-но-

1. Сабайон — десерт итальянской кухни.

винках, которые "взорвут рынок". По ним видно, как далеко шагнул Китай за тридцать лет экономических реформ. Щеголеватые, богатые, сверхсовременные китайцы: здороваются друг с другом, попивая коктейли, шутят и пересмеиваются, уверены в себе непоколебимо, словно все поголовно — состоятельные нью-йоркцы. Меньше века назад они раболепно падали ниц перед вышестоящими — а теперь посылают воздушные поцелуи.

Спросите любого из них "Как сложится судьба Китая?", и ответ будет категоричным. Возможно, из врожденной китайской скромности они постесняются хвалиться грядущим величием Китая, но шанхайские скоробогачи смотрят в будущее с оптимизмом.

Хороший аналог — Нью-Йорк. Если Пекин — это Вашингтон: столица, слишком зацикленная на политике, чтобы идти в авангарде коммерции, то Шанхай — Манхэттен, каким он был в 1910 году: эпицентр экономического бума, притягивающий полчища иммигрантов. В Шанхае примерно тринадцать миллионов жителей, среди которых много недавних переселенцев. Разница лишь в том, что в Шанхае мигранты внутренние: они приехали не из Старого Света, чтобы строить Новый, а замахнулись на более трудную задачу — пытаются обновить старый мир. Это целые толпы уроженцев Хэфэя, Синьяна и Ланьчжоу — городов, куда я собираюсь заехать, путешествуя по трассе 312.

Одна из сверкающих офисных башен за рекой превращена в гигантский телеэкран от первого до последнего этажа: каждые пять секунд сменяются рекламные объявления и правительственные лозунги:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШАНХАЙ.
ЗАВТРА ОН СТАНЕТ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ

ДО ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ "ЭКСПО-2010" В ШАНХАЕ
ОСТАЛОСЬ 1746 ДНЕЙ

РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ —
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НАШЕЙ СТРАНЫ

ЕШЬТЕ ШОКОЛАД "ДАВ"

По пешеходной дорожке шествуют тысячи туристов — китайских и западных; вспышки их фотоаппаратов — как светлячки в сумраке. Западные люди, по обычаю западных людей в Шанхае, пытаются воскресить прошлое, фотографируя

старую колониальную архитектуру. Китайцы тоже в своем репертуаре: поворачиваются спиной к былому, направляя объективы в противоположном направлении — на ошеломительные зиккураты Пудуна за рекой.

До начала 1990-х в Пудуне были только ветхие пристани да рисовые плантации. Теперь это воплощенный дух нынешнего Китая — двести квадратных миль офисов, жилья и торговых центров, еще одно диво города, который уже может похвастать самым скоростным поездом, самым высоким отелем и несколькими высочайшими небоскребами планеты. Когда смотришь на Пудун со стороны, легко поверить, что девять самых могущественных людей в Китае — члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК — все, как на подбор, строители.

Разворачиваюсь и иду обратно в "Астор-хаус". Напротив — парк, у входа в который в колониальные времена, как считается, висела знаменитая табличка "Собакам и китайцам вход воспрещен" (или и это только легенда?).

И вдруг, пройдя Бунд до самого конца, я замечаю ворота, на которые прежде не обращал внимания. Их частично скрывает тень новой эстакады. На столбике — номер дома — 33. Бунд, 33 — это же прежний адрес британского консульства! За воротами — аллея, которая теряется среди деревьев. Дальше — беспросветная тьма. Никаких признаков жизни. Только в крохотной будке у ворот дежурят два ночных сторожа.

— Можно войти? — спрашиваю я их.

— Извините, нельзя, — отвечает один: худой, с копной черных волос и большой родинкой на щеке.

— Мне бы просто посмотреть. Я англичанин.

Мы травили их опиумом, отнимали их земли, расчленяли их страну, относились к ним свысока, унижали, чуть ли не обращали в рабство, и все же "старые сто фамилий" — рядовые китайцы — поразительно учтивы и предупредительны с иностранцами. Да, даже с британцами. Никогда не устаю удивляться. Этого сторожа тоже не приходится долго уговаривать. "Ну хорошо, — говорит он. — Я вам покажу по-быстрому".

Луч фонарика пляшет на приземистых двухэтажных зданиях с балконами в колониальном стиле и высокими арочными окнами, закрытыми зелеными ставнями. Я прошу сторожа посветить внутрь, в пыльные и пустые комнаты. И внезапно, пока вокруг жужжит двадцать первый век, почти слышу смех и разговоры из века девятнадцатого, звон фужеров, отрывистый хохот викторианцев, вижу призраки колониального Шанхая. Сегодняшний облик Китая во многом предопределен потребностью загладить былые унижения, особенно унижения от британцев.

Первое столкновение между Великобританией и Китаем произошло в 1793 году, когда британский посланник — некий сэр Джордж Макартни — прибыл в Китай на корабле с полным трюмом подарков и просьбой отменить запрет на внешнюю торговлю. Посол сразу прогневал китайцев, отказавшись приветствовать императора Цяньлуна как положено — а именно: девять раз упасть перед монархом ниц, касаясь лбом пола. В конце концов, аудиенция состоялась, но продлилась недолго: император велел послу удалиться восвояси и передать Георгу III письмо, из которого отлично видно, что́ мнил о себе Китай в ту эпоху:

Мы внимательно прочитали Ваше послание, и выражения, которые Вы в нем употребляете, выказывают серьезность Ваших намерений. В нем ясно чувствуются Ваше искреннее смирение и покорность. Это превосходно, и мы всецело одобряем Ваше отношение. <...> Итак, Вы, о король, преподнесли Нашему Императорскому Величеству несколько вещиц. <...> Мы никогда не ценили оригинальные приспособления. Мы также ни в малейшей мере не нуждаемся в промышленных товарах из Вашей страны.

Конечно, для Джона Буля подобный документ был точно красная тряпка для быка — так сказать, и последующие сорок лет британские купцы упорно пытались взломать крепкие запоры китайского рынка. Для этого они везли из Индии опиум и выменивали его на чай, фарфор и другие вожделенные предметы роскоши. Британский опиум подействовал на китайское общество, как ядовитая гниль, и многочисленные внутренние трения, уже назревавшие по всей империи, обострились. Протесты Пекина против торговли опиумом спровоцировали первую "опиумную войну", которая закончилась полным разгромом Китая. В 1842 году Пекин был вынужден подписать Нанкинский договор, согласно которому иностранцы получали в аренду остров Гонконг, а пять китайских портов объявлялись открытыми для торговли. Среди этих портов и был рыбачий поселок Шанхай. В открытых портах "заморским людям" предоставили участки земли — так называемые концессии — под строительство домов, церквей и консульств. На территории концессий китайские законы не имели силы. Британское консульство находилось на территории Международной шанхайской концессии.

Нанкинский договор — символическое начало долгого и извилистого пути Китая к интеграции с остальным миром: западные державы понемногу начали тянуть дверь на себя,

расширяя щелку. "Заморские люди" прибывали в порты волнами. Миссионеры и развратники, авантюристы и бизнесмены — одни желали преуспеть в будущем, другие бежали от тяжелого прошлого. Шанхай формировался по образу и подобию западноевропейских городов. Для западного человека его имя благоухало удачей и изысканными удовольствиями, чувственностью и загадочностью Востока. Для китайцев же Шанхай — внебрачное дитя Китая — наоборот, провонял унижением и западной заразой.

Все, что китайцы делали с 1842 года — от первых незначительных реформ до революции 1912 года, которая покончила с императорской властью, от увлечения коммунистической идеологией до ее окончательной победы в 1949 году, — преследовало одну цель: отобрать у колонизаторов китайскую землю и возродить величие Китая. И только теперь, спустя более чем полтораста лет, цель наконец-то начинает осуществляться.

— Простите нас за всю эту историю с опиумом и вообще за колонизацию, — говорю я сторожу. — Мы, знаете ли, сами этим не особенно гордимся.

— Мэй ши. Не переживайте, — улыбается он. — Это история. Историю не изменишь.

Глава 2
Тектонический сдвиг

Я сижу в "Макдоналдсе" и наблюдаю за новоявленным средним классом. Родители приводят сюда своего щекастого единственного ребенка объедаться бигмаками и макнаггетами. Ребенок ест, взрослые просто сидят, пожирая его глазами. Возможно, надеются, что благодаря обедам в "Макдоналдсе" малыша подхватит восходящий поток космополитической культуры, обвевающий китайские города, и, как по волшебству, сделает студентом Гарвардской бизнес-школы.

Брожу по закоулкам в нищих кварталах — хочу увидеть изнанку оптимизма и оборотную сторону глобализации, ищу недовольных, тех, чье место в экономической иерархии незавидно. Встречаю массу людей, которые сетуют на колоссальный разрыв между богатыми и бедными: они гнут спину на низкооплачиваемой работе на стройках, на кухнях ресторанов, на рынках. Но даже в самых убогих проулках, где люди теснятся в грязных каморках, как сельди в бочке, вновь и вновь слышишь: "Да, жизнь тяжелая, работа тяжелая, но здесь в миллион раз лучше, чем в деревне".

Такова основная черта Шанхая — города, где многие проблемы Китая не слишком заметны. Конечно, обращаешь внимание на то, что вагоны маглева заполнены максимум на четверть. Некоторые магазины в новехоньких торговых центрах пустуют, на улицах попадается все больше попрошаек. Но лоск, стремительный ритм, бодрящая атмосфера легендарного города — все это ослепляет гостя. Если не побывать нигде, кроме Шанхая, уедешь с убеждением, что Китай несомненно станет великой державой.

Как-то я побывал в очаровательном зеленом оазисе на севере Шанхая — парке Лу Синя. Он разбит в память о самом знаменитом китайском писателе начала XX века. Здесь же, в большом мавзолее, покоится сам Лу Синь. Без малого век назад Лу Синь одним из первых попытался поставить диагноз Китаю и прописать ему лекарство. Он сурово бичевал слабости китайской культуры и национального характера. Пытался понять, как выбраться из царства старинных традиций на путь прогресса.

Лу Синь писал преимущественно рассказы. Его самый известный сборник вышел в 1921-м — в год создания Коммунистической партии Китая. Книга называлась "На хань", что можно перевести как "Клич" или даже "К оружию!" Но звал Лу Синь не воевать, а пробудиться от чванства и консерватизма, воплощенных в ответе императора Цяньлуна лорду Макартни, — от всего того, что и в начале XX века не позволяло Китаю осознать необходимость глубоких перемен в национальном менталитете и культуре. В предисловии к сборнику Лу Синь писал, подразумевая свою родину:

— Представь себе, что в железной камере нет ни окон, ни дверей, в камере, которую невозможно сломать, люди спят крепким сном. Их много. Они скоро погибнут, но расстанутся с жизнью в забытьи. Так стоит ли поднимать шум, чтобы немногие, самые чуткие, проснулись и испытали все муки неизбежного конца?

— Но ведь некоторые уже проснулись — значит, появилась надежда сломать камеру[1].

Все рассказы из сборника "Клич" объединены общей мыслью: китайцы живут в железной камере конфунцианства, из которой нужно спастись. Пробудиться и не только свергнуть императора и сменить политический строй, но изменить образ мыслей.

1. Перевод с китайского В. Рогова.

Текущее урбанистическое развитие Китая не лишено недостатков. Но то что в Шанхае ходит первый в мире поезд на магнитной подушке — пожалуй, прямое следствие клича Лу Синя в 1921 году.

За день до отъезда из Шанхая я побеседовал с двумя молодыми коммунистками. Встречу назначили в "Старбаксе" неподалеку от дома, где в 1921 году была основана КПК. Дом превращен в Музей компартии — я бы даже сказал, в святилище, но его мало кто посещает. Зато по соседству находится одно из самых популярных нынешних святилищ Шанхая — торговый центр под названием "Новые Небо и Земля".

Коммунистки, две молодые женщины лет двадцати пяти, — типичные представительницы нового поколения умниц и умников, имеющих хорошие связи "наверху". Они чрезвычайно далеки от поколения хунвейбинов — своих родителей. Обе называют себя английскими именами[1].

Люси работает в крупной транснациональной корпорации. У нее длинные темные волосы. Манеры учтивые, вид ответственный; наверно, в школе была старостой класса. Она олицетворяет уверенность и успех, безупречно говорит по-английски и явно задумывается на серьезные темы.

— Да, в Восточной Европе коммунистические режимы потерпели крах, но только потому, что шли по неправильному пути, — говорит Люси. — Я знаю: вы на Западе думаете, что и после капитализма все равно будет капитализм. Мы в Китае считаем, что после нынешней стадии капитализма в конце концов наступит коммунизм.

У меня глаза лезут на лоб:

— Серьезно? Вы так действительно думаете?

Она кивает.

Ловлю на себе взгляд Эмили — более хрупкой, чем Люси, большеглазой, с густыми темными волосами.

— На этих идеях воспитаны многие, — говорит она. По-моему, намекает на то, что Люси подверглась промыванию мозгов. — Люси убеждена во всем этом, а я немного сомневаюсь.

— Почему вы вступили в КПК? — спрашиваю я обеих.

— Я хорошо училась, ответственно относилась к учебе. Ни о чем не жалею, — отвечает Люси. — Я уверена, что партия может привести нас к общественной стабильности.

1. Китайцы, работающие вместе с иностранцами, обычно берут себе неофициальные иностранные имена, используемые при общении с не-китайцами.

— Теперь членство в партии никак не связано с идеологией. Членами партии становятся отличники, — поясняет Эмили. — Состоять в партии — это большая честь, и всех лучших студентов приглашают вступить. Меня тоже пригласили.

Я указываю на ироничность подобной метаморфозы. Эмили понимает меня, но Люси сохраняет серьезный вид. Это типично: самые образованные люди часто занимают наиболее проправительственную позицию.

— Мы должны изучать мысли лидеров, — говорит Люси. — Мы охотно их изучаем. А идеи коммунизма нужно понимать особым образом. Их смысл в том, что нужно быть добропорядочным и полезным членом общества.

Кстати, сообщает Люси, недавно на партсобрании в американской транснациональной компании, где она работает, раздавали две книги. А именно: сборник новейших партийных директив, изданный КПК, и руководство для сотрудников компании "Как увеличить сбыт нашей продукции".

Люси и Эмили — типичные представительницы молодого поколения нового городского среднего класса. В отличие от своих ровесников 80-х годов XX века, они не митингуют, требуя демократизации, а пожинают позитивные плоды экономического бума. Обе говорят, что поддерживают КПК, так как без партии не имели бы никаких перспектив. Обе — большие патриотки, но их сознание ничуть не идеологизировано, стандартными винтиками системы их не назовешь. Обе верят в романтическую любовь. Сами выбрали себе работу, бойфрендов и образ жизни. В их сознании глубоко укоренилось право на стремление к счастью, пусть даже в конституции их страны оно пока отсутствует. Словом, Люси и Эмили ничем в принципе не отличаются от молодых женщин из любой западной страны. Я спросил их, верно ли говорят, что молодое поколение китайцев растеряно и сбилось с пути, не знает, как теперь себя вести и во что верить.

— Почему вы так говорите о Китае? — спрашивает Люси. — А как обстоит дело на Западе? Западным людям есть во что верить? Я не сбилась с пути, — продолжает она. — Я не верю в Христа или в Будду, но верю во внутреннюю борьбу человека с самим собой, в усилия по самосовершенствованию и совершенствованию моей страны. Не обязательно быть религиозной, чтобы прожить жизнь со смыслом.

Эмили, более вдумчивая, вновь высказывает сомнения:

— Одно время у меня было ощущение, что я сбилась с дороги, и я растерялась. Это было в университете. Теперь все прошло. Но молодежь в целом действительно немного сбита

с толку. Например, все смотрят западные телепередачи — "Друзей", "Отчаянных домохозяек", и мы отлично знаем, как живут на Западе. Многие девушки хотят поселиться вместе со своими парнями, но родители этого не одобряют.

— И все-таки наше поколение совершенно не похоже на поколение наших родителей, — вставляет Люси. — Теперь мы живем в другом мире. Мы должны сами о себе заботиться.

Эмили кивает.

— Мы — цзыво идай, поколение "я". Яппи, — говорит она с легкой печалью. — Ни в кого не верим — только в себя.

Глава 3
"Вещи текут"

На следующее утро, выйдя из "Астор-хауса", я сажусь в такси и прошу отвезти меня к началу трассы 312 — на западную окраину города. Мне, как всегда, грустно уезжать из Шанхая. Но приятно наконец-то тронуться в путь.

Исток трассы 312 выглядит далеко не многообещающе. Шоссе выползает из тени "шанхайской кольцевой" — колоссальной эстакады, охватывающей город. Транспортный поток спускается с кольцевой на трассу 312 по рампе, выезжает из леса бетонных колонн, поддерживающих эстакаду. На "островке безопасности" среди колонн стоят двое мужчин в белых халатах — уличные парикмахеры. Стрижка стоит пятьдесят центов.

Вылезаю из такси, надеваю рюкзак, отправляюсь в путь. На тротуаре меня перехватывают три женщины деревенского вида. У каждой к спине привязан маленький ребенок.

— Ди-ви-ди, — бормочут они, приближаясь ко мне. — Ди-ви-ди.

Протягивают мне по несколько дисков в коробках с порнографическими фото. Мотаю головой, иду дальше. Еще одна молодая женщина с младенцем на руках просит милостыню: сидит на тротуаре, перед ней — бумажка, на которой изложена история ее злоключений. У мужа лейкемия, лечиться не на что. Женщине никто не подает.

Вырвавшись из тени эстакады, двухполосное шоссе быстро осмелело. Вдоль проезжей части тянется дорожка для велосипедистов, отделенная от основной магистрали. Вдоль дорожки — широкий тротуар и длинный, ни конца ни краю, ряд магазинов. Ковры, автосалон (дилер "Фольксвагена"), громадный мебельный "Homemart" (вывеска латинскими буквами) и, разумеется, кафе сети "Кентукки-фрайд-чикен" (в

Китае есть уже тысяча точек этой сети, и каждые два дня открывается новая).

На самом шоссе — пестрая до безумия толпа, объединенная лишь тем, что все куда-то идут или едут. В город и из города направляются образчики всех транспортных средств, известных человечеству: точно представители разных исторических эпох спешат на всеобщий слет. Похоже на наглядное пособие "Эволюция человека". Люди, идущие на полусогнутых, при ходьбе чиркающие по земле пальцами (ну, это я утрирую). Мусорщик с трехколесной тачкой — звонит в колокольчик и окликает неизвестно кого. Мужчины и женщины на незамысловатых утлых велосипедах едут ненамного быстрее пешеходов. Мужчины и женщины без шлемов несутся на мопедах. Мужчины и женщины в шлемах — определенно более высокая ступень эволюции — лавируют между машинами на мотоциклах. Легковушки, пикапы, бетономешалки, пригородные автобусы, междугородные автобусы стандартные, междугородные автобусы класса "суперлюкс". И вот у светофора я вижу аналог homo erectus в этом трехмерном пособии по дарвинизму: белоснежный "БМВ" 7-й серии. Куда держите путь, господин Бумер? И откуда у вас деньги на такую машину?

Трасса 312 была основным шоссе, ведущим на запад из Шанхая, но много десятков лет использовалась очень вяло: легковые автомобили имелись только у чиновников, грузы перевозили в основном по железной дороге. Это не скоростная автомагистраль, а то, что в Китае называется го дао, — федеральная трасса со съездами в жилые микрорайоны или к магазинам, наподобие обычного городского шоссе. В 90-е годы XX века началось активное строительство автострад по образцу британских, и одна из них — А-11 — идет почти параллельно трассе 312. Но плата за пользование А-11 высока, и на трассе 312 движение все еще намного оживленнее.

Меня обгоняет грузовик с огромными иероглифами на кузове — названием компании. "Жуй Сюнь улю" — то есть "Жуй Сюнь логистика". Такие грузовики разных логистических компаний попадаются каждые пять минут. Сегодня в Китае этот сектор процветает. Логистикой называют все что угодно — вывоз, переезды, транспортировку каких угодно грузов и вещей. По-китайски логистика — улю, дословно "вещи текут".

Двадцатисемилетний Тянь Ябинь — менеджер рекламного агентства. Зарабатывает, по его словам, шесть тысяч долларов в месяц (примерно в шестьдесят раз больше среднестатистического рабочего шанхайского завода). Он курит трубку, бре-

ет голову наголо, разговаривает слегка писклявым голосом — выглядит эксцентрично даже среди шанхайских нуворишей. Друзья прозвали его Тинтином, в честь героя французских комиксов. Тянь получил прекрасное образование, знаком с влиятельными людьми и в новом Китае живет припеваючи: заработал на квартиру, ездит отдыхать за рубеж, следит за последними техническими новинками. Но выше всего на свете он ценит свою машину — джип японского производства.

Я нашел Тинтина через Шанхайский клуб джипов-внедорожников, в котором он состоит, и договорился, что он подберет меня в начале трассы 312. По выходным члены клуба исследуют окрестности. Сегодня в нашей колонне всего три машины. В прошлый раз было восемь. Мы удаляемся от Шанхая, и к шоссе подступают заводы. Это местные промзоны, стимулирующие бурное экономическое развитие Шанхая, отравляющие его воздух и удерживающие смешные цены на промтовары во всем мире. Здесь делают все, что потребляет Запад, — от кукол Барби и рождественских электрогирлянд, кроссовок и одежды до лэптопов и мобильных телефонов.

Вдоль шоссе тянутся и стройплощадки, где скоро вырастут новые промышленные предприятия. Здесь роют столь глубокие котлованы, что страх берет: а вдруг прорвут земной шар насквозь?

Иностранец эпохи постмодерна, путешествуя по трассе 312, словно бы переносится в прошлое: в индустриальную эпоху, которая для Запада почти что миновала. Бурное строительство кажется надругательством над землей. А вот китайцев-мигрантов, которые движутся навстречу иностранцу, с запада на восток, трасса 312 приводит в неведомое им индустриальное будущее, и высокие заводские трубы сулят переселенцам спасение, шанс на долгожданный прогресс и астрономическую (по сравнению с прежними временами) зарплату. <...>

Глава 5
Революция, которую не довели до конца

Трасса 312 проходит чуть южнее незримой линии, приблизительно совпадающей с 33-й параллелью, которая рассекает Восточный и Центральный Китай на две части — две крайне несхожих географических области. В засушливой северной части выращивают пшеницу и просо, на влажном юге — рис. Объем атмосферных осадков, климат, характер почв и способ землепользования — все другое.

Провинция Аньхой — это, как говорят китайцы, "нунъе дашэн" — "большая аграрная провинция". Обычно это выражение — тактичный намек на то, что район очень бедный.

Мое такси обгоняет велосипедиста. К седлу велосипеда прикреплено высокое древко с красным флагом, который полощется на ветру; на заднем колесе — огромная желтая табличка. Прошу таксиста съехать на обочину и выскакиваю поговорить с велосипедистом. Он представляется: Ван Юнкан. На табличке написано "Антикоррупционный пробег по Китаю". Ван говорит, что вложил сто тысяч долларов в строительство гостиницы на юге Китая, но коррумпированные чиновники его обманули. Гостиницу так и не построили. Получить деньги назад невозможно, вот он и протестует путем велопробега — другого способа нет. Едет на велосипеде с южного побережья Китая в Пекин. Говорит, что все встречные ему помогают. Часто подзывают и выражают одобрение.

— Все династии одинаковы, — говорит Ван. — Начинают хорошо, но потом их разъедает коррупция. Вот люди и мучаются. Поэтому нам нужны политические реформы.

— А если реформ не будет? — спрашиваю я, дивясь его прямоте.

— А если реформ не будет, и партия, и страна лет через десять развалятся, — говорит он и трясет передо мной указательным пальцем, чтобы подчеркнуть важность своей мысли. — Понимаете, на Западе у людей есть внутреннее нравственное мерило. Так уж западные люди устроены. У китайцев такого внутреннего мерила нет. Если внешние силы их не сдерживают, они ради своей выгоды творят, что хотят, не задумываясь, хорошо это или дурно.

Мнение Вана совпадает с впечатлениями многих иностранцев от китайского бума, напоминающего им времена Дикого Запада. Просто иностранцы стараются держать эти впечатления при себе. Мы еще немного постояли и побеседовали. Потом Ван снова оседлал велосипед, я вернулся в такси, и наши пути разошлись.

Ван играет в обществе роль, хорошо известную в истории Китая. В любом столетии всегда найдется честный человек, не желающий покоряться законам коррупции, к которой в итоге скатывается каждая династия. Честные люди пытаются дать бой коррупции, но неизбежно терпят поражение. Им не удается переделать политическую культуру Китая — наоборот, это она их ломает. На всем протяжении китайской истории отважные, но бесплодные протесты честных чиновников или простых граждан против власти — верный признак

заката очередной династии или приближения революции. Есть и другой верный признак — недовольство крестьян. <...>

Городок Уган кажется обезлюдевшим, словно жители за несколько часов почуяли наше приближение и бежали, побросав все дела. Это типичный город на старой части трассы 312 в Аньхое. На стене у дороги — выцветшая надпись времен маоизма: "Служи народу". Поперек улицы — красная растяжка с белыми иероглифами: "Нет лекарям-шарлатанам". Ветер гонит по тротуарам мусор. Трасса, ныряя под горку, минует центр города и снова вырывается в сельскую местность.

Здесь, как и в других селах во многих областях Китая, рядом со старыми саманными и кирпичными домами попадаются новые. Часто они построены на деньги, присылаемые родственниками, которые работают в городе. Обычно это двухэтажные здания, несколько футуристические с виду, сверху донизу облицованные белой плиткой, а иногда щеголяющие особыми окнами с тонированными голубоватыми стеклами. На зелено-буром фоне китайской деревни эти дома выделяются, точно инопланетные звездолеты. Кричащая примета новообретенного благополучия и глубоко символичного разрыва с традиционной сельской архитектурой. Единственная дань китайским традициям — непременная пара небольших драконов на коньке крыши, носом друг к другу. Горбы на длинных телах драконов образуют гряды вершин и ложбин. Мне эти драконы напомнили лохнесских чудовищ в китайском стиле.

— Не выстроишь новый дом — не сможешь найти себе жену, — говорит мой водитель.

Вскоре после выезда из Угана я вижу у дороги человека, который запрягает водяного буйвола в плуг, и прошу водителя остановиться.

Крестьянина зовут У Фалян. Ему шестьдесят шесть лет, всю жизнь он провел в этих местах. Тело у него мускулистое, подтянутое, словно у человека на двадцать лет моложе: вот что значит многолетний труд на пашне. Лицо морщинистое, усталое, точно у человека на двадцать лет старше: вот как действуют каждодневные сомнения, удастся ли свести концы с концами. Он вспахивает поле, я шагаю рядом — так мы и беседуем, на ходу. Какая там индустриальная революция: картина, которую я тут наблюдаю, не меняется уже сотни лет. Рваная рубашка У Фаляна мокра от пота, руки в мозолях. В его возрасте пора подумать о пенсии, но он вынужден обрабатывать свое поле площадью пол-акра, сажать желтую фасоль, а потом собирать урожай.

Многострадальных нищих китайских крестьян остается только пожалеть. Считалось, что в стране произошла крестьянская революция. Крестьяне составляют большинство населения Китая — их примерно семьсот пятьдесят миллионов, и страдали они дольше и тяжелее всех. Им наобещали с три короба. Грандиозный эксперимент на ниве социального равенства — коммунистический строй — должен был дать крестьянам свободу, но в итоге они снова оказались на нижней ступеньке социальной лестницы. Власть беспардонно предала их: ведь, замышляя революцию, Мао сделал ставку именно на крестьянство. Возможно, это предательство еще аукнется компартии.

— Мы здесь живем в нищете, — говорит У. — В наше время работой на земле не прокормишься. Оба моих сына с женами уехали в город. Я остался присматривать за внуками.

Один из внуков, мальчик лет семи, стоит рядом и смотрит, как мы с его дедушкой разговариваем.

Подгоняя плетью буйвола, У Фалян ходит взад-вперед по полю и рассуждает о том, что предательство крестьян партией ярче всего выражается в двух проблемах: во-первых, налоги непомерно велики, во-вторых, местные чиновники захватывают земли. Китай стремительно урбанизируется, и крупные города растут вширь, так что требуются свободные участки под застройку. Крестьяне арендуют землю по долгосрочным договорам, но формально вся земля в Китае является собственностью государства. Поэтому местные чиновники — представители государственной власти — принимают окончательные решения по вопросам землепользования в своем районе. В наше время чиновники отбирают участки у крестьян и продают застройщикам. Партия пришла к власти благодаря тому, что пообещала крестьянам землю, но теперь ее функционеры ради личной наживы отнимают землю у тех же крестьян.

Центральная власть выступает против такого самоуправства, отталкивающего крестьян от КПК. Но Пекину трудно приструнить чиновников на местах, так как система сдержек и противовесов отсутствует. Не зря в Китае сотни лет бытует пословица: "Могучий дракон не сможет тягаться с деревенской змеей". Время от времени Пекин устраивает кампании по пропаганде честности среди чиновников, иногда показательно наказывает самых коррумпированных, но захваты земель продолжаются на окраинах чуть ли не каждого мегаполиса.

За изъятые земли крестьянам полагается компенсация, но обычно она намного ниже рыночной цены. Если крестьяне не упираются, чиновники и застройщики нанимают банди-

тов, чтобы избить их и выгнать силой. В 2005 году некий сельский активист передал пекинскому корреспонденту "Вашингтон пост" видеозапись ожесточенного боя группы крестьян с бандой громил, который произошел неподалеку от Пекина. Картина абсолютно средневековая: обе стороны были вооружены мотыгами, вилами и другими земледельческими орудиями. Крестьяне не подчинились требованию властей передать земли для государственной электростанции, обвинили администрацию электростанции в том, что она наняла бандитов, дабы согнать их с земли. Несколько человек было убито.

Однако главная проблема У Фаляна — не захват земель, а налоги. Дорожный налог, подушный налог, налог на зерно — каких только нет, облагают ими без снисхождения, взыскивают беспощадно. С начала 1990-х Пекин ослабил непосредственный контроль над провинциями, а, значит, госсубсидии из центра для местных чиновников снизились. И если чиновникам не удается нажиться на захвате земель, они прибегают к испытанному вековому способу — облагают крестьян все новыми и новыми податями.

Иногда в Аньхое крестьяне, которые не разъехались по городам, поднимают восстания. Согласно статистике самой КПК в 2005 году на селе произошло более восьмидесяти тысяч волнений на социальной почве: в четыре раза больше, чем десятью годами ранее. От горстки старушек, требующих выплаты пенсий, до десятков тысяч человек, протестующих против какого-нибудь грандиозного проекта застройки их земель. Таковы акции протеста, и происходят они в самых разных районах Китая. Правда, в 2006 году случаев проявления недовольства впервые за долгое время стало меньше: рискну предположить, что с крестьянскими демонстрациями начали бороться, так как взрывоопасная обстановка на селе все более нервирует партийное руководство.

У Фалян делает передышку: облокачивается на плуг и показывает грязным пальцем на городок по соседству. В прошлом году группа крестьян явилась в тамошний муниципалитет и потребовала снизить налоги, рассказывает он. Власти применили обычный метод кнута и пряника: согласились удовлетворить часть требований, а когда люди успокоились, схватили зачинщиков. "Вожаки до сих пор за решеткой", — заключает У.

Тяжелое положение семьи моего собеседника вполне типично для китайского села в начале XXI века. Государственное финансирование социальной сферы в китайской деревне упразднено почти полностью.

— Хочешь выучить детей — плати деньги. Нужна медицинская помощь — тоже плати, — говорит У.

Теперь КПК почти ничего не дает простым людям, чьи интересы, по собственным ее уверениям, отстаивает. Партия только берет. От каждого по способностям, каждому... — ничего. Можно резонно утверждать, что сегодняшний Китай — куда менее "социалистический", чем европейские государства.

Первые реформы 80-х годов XX века, когда У Фаляну разрешили продавать часть урожая на свободном рынке, позволили ему немного выбиться из нищеты. Но в последние годы, говорит он, ситуация вновь сильно ухудшилась: цены на сельскохозяйственную продукцию замерли на месте, а стоимость жизни (особенно образования и элементарной медицинской помощи) астрономически выросла. Вновь актуален доклад Мао от 1927 года, где он предсказывал, что китайское крестьянство восстанет, и восстание это будет как тайфун: в истории Китая замкнулся очередной круг.

В 1989 году демонстрации на площади Тяньаньмэнь и прочие выступления не выплеснулись за пределы мегаполисов и, следовательно, компартии ничто не угрожало всерьез — ведь крестьяне тогда были удовлетворены своей жизнью. На улицы выходила лишь городская интеллигенция и некоторые рабочие. Крестьяне после бедствий, которые принес селу маоизм, вконец обнищали, так что в 1989-м их уровень жизни все еще рос. Но теперь они снова недовольны, а партия знает: сотни миллионов негодующих крестьян — это намного серьезнее, чем несколько тысяч сердитых интеллигентов. Снижая налоги и стараясь обуздать коррупцию на местах, партия всячески старается предотвратить крестьянскую революцию наподобие той, которую возглавила когда-то. <...>

В США девять городов-"миллионников". В Китае — сорок девять. Бывает, приезжаешь в китайский город вдвое больше Хьюстона, и в голове проносится: "Ничего себе, я ведь раньше о нем не слышал!" Так могут сказать многие иностранные гости и о Хэфэе (население — 4,2 миллиона человек). Я ездил по Китаю почти двадцать лет, но в Хэфэе впервые оказался лишь за год до поездки по трассе 312. Просто не видел смысла туда ехать. Однако, как и во многих других китайских мегаполисах, администрация Хэфэя пытается переломить ситуацию.

Для крестьян, отправляющихся на заработки, Шанхай доселе остается землей обетованной, но другие земли обетованные, только поменьше, разбросаны по всей стране: Хэ-

фэй и другие столицы провинций, Сиань и Ланьчжоу — в более отдаленных районах Внутреннего Китая. Мигранты едут туда попросту потому, что вакансии появились. Некоторые предприятия в приморском Китае впервые столкнулись с нехваткой рабочей силы — ведь теперь можно пристроиться (правда, зарплата будет ниже) и во Внутреннем Китае. Собственно, нынешний феномен бурного развития китайских городов — это, по существу, их возрождение после упадка. Деревня всегда жила бедно. Зато китайские крупные города столетиями были намного зажиточнее, чем их аналоги в других странах.

Правительство всеми силами стимулирует экономический рост. В последние годы оно включило в государственную пропаганду старинное конфуцианское понятие "сяокан" — "средний достаток". Трудно вообразить, чтобы тысячи хунвейбинов маршировали по площади Тяньаньмэнь с кличем: "Даешь средний достаток, даешь средний достаток!" Но в том-то и штука. Старые лозунги — и старое мышление — отмерли. Новые лозунги, пропагандирующие сяокан, встречаются на каждом шагу, и это изобличает метаморфозы, произошедшие с КПК: раньше буржуазию притесняли, теперь воспевают. Экономисты говорят, что происходящее в Китае не стоит называть капитализмом: более точный термин — "корпоративизм-ленинизм". Когда экономика всесторонне управляется и контролируется компартией, это не настоящий рынок, поясняют они. Как бы то ни было, партийцы Хэфэя, как и любой другой точки Китая, знают: рыночная экономика, пусть даже зачаточная, может спасти партию. Но одновременно партия осознает: социальное неравенство в условиях молодой рыночной экономики — угроза для дальнейшего существования КПК.

Оттого что в Китае упразднено соцобеспечение с рождения до гробовой доски: государственное здравоохранение, бесплатное образование, гарантированное право на труд на государственных предприятиях, — выиграли далеко не все. Проигравших много: крестьяне вроде У Фаляна, рабочие, уволенные по сокращению штатов. И потому наряду с кампанией по пропаганде среднего достатка проводится другая — агитация за "хэсе", что переводится как "гармония". Транспаранты, призывающие граждан строить более гармоничное общество, появились повсюду в Хэфэе и многих других мегаполисах, иногда по соседству с призывами к "среднему достатку". В горячке стремительного развития люди явно не успевают сообразить, что эти две задачи несовместимы. <...>

Глава 7
"Женщины держат на своих плечах полнеба"

Как-то Председатель Мао сказал: "Революция — это не званый ужин". И он не преувеличивал. Мао уничтожил Китай. Его политика "Большого скачка" обернулась колоссальными человеческими жертвами, "культурная революция" сломала множество жизней. Вдобавок Мао истреблял интеллигенцию и стирал с лица земли памятники культуры. Он поощрял многодетность в крестьянских семьях — спровоцировал демографический взрыв, последствия которого государство пытается устранить доныне. Согласно переписи 1953 года, население Китая составляло всего чуть более 580 миллионов. Ныне оно выросло более чем вдвое — до 1,3 миллиарда.

И все же есть две сферы, где Мао достиг безусловных успехов. Первая — здравоохранение и средняя продолжительность жизни. По основным показателям здоровья нации Китай превосходит Индию, что, главным образом, объясняется кампаниями, которые проводились на начальном этапе маоизма. В 1949 году средняя продолжительность жизни составляла всего тридцать пять лет. К 1975 году — уже шестьдесят три. Сегодня — семьдесят один год. За первые пять лет власти Мао младенческая смертность сократилась вдвое, а сегодня она в восемь раз ниже, чем в 1949 году.

Другая сфера, где Мао добился улучшений, — это положение женщин в обществе. Мао произнес знаменитую фразу "Женщины держат на своих плечах полнеба" и постарался улучшить их жизнь. Еще в 1949 году, до прихода коммунистов к власти, женщин не отдавали в жены, а продавали — так уж повелел многовековой обычай. Многие богачи имели по три-четыре жены — ничего исключительного в этом не было. И вдруг наступили перемены. Женщин стали принимать на работу на производство. Некоторые женщины сделали карьеру, заняли руководящие должности. Машина госпропаганды засыпала страну плакатами, на которых женщины служили революции плечом к плечу с мужчинами. Реальность не во всем соответствовала этому идеалу, но улучшения были колоссальные.

Однако теперь колесо истории закрутилось в обратную сторону. Очевидно, пять тысячелетий патриархата не изгладишь за какие-то шестьдесят лет реформ. Коммунистическая революция осталась в прошлом. Безусловно, в сегодняшнем Китае статус женщины намного выше, чем шестьдесят лет

назад, и западному гостю он определенно кажется относительно более высоким, чем в Японии и Южной Корее: там, хотя общий уровень жизни намного выше, с женщинами иногда обращаются, точно с неразвитым биологическим видом. Но отмирание коммунистического равноправия означает, что китаянкам, как и жительницам бывшего СССР, трудно сохранить достигнутое при прежнем режиме. Кроме того, вместе с коммунистической идеологией уходит строгая мораль, которую насаждала КПК прежде, и граждане ведут себя более распущенно. По разным оценкам исследователей, сегодня в Китае в секс-индустрии заняты десять–двадцать миллионов женщин.

Все вышесказанное и привело меня в караоке-бар на восьмом этаже отеля, где я остановился в Синьяне, незапоминающемся городе на равнине аграрного юга провинции Хэнань. По-видимому, в Синьяне караоке — самый (если не единственный) процветающий сектор экономики. А где караоке, там всегда есть "саньпэй сяоцзе", что дословно значит "молодые особы, составляющие компанию для трех занятий". За скромный гонорар они с вами выпьют, потанцуют и споют караоке. Конечно, они составят вам компанию и для четвертого занятия, но эта услуга оплачивается отдельно.

В Китае почти в каждом отеле, кроме маленьких, имеются два заведения, свидетельствующие о кардинальных переменах в общественной морали. Первое — так называемая сауна и массажный салон, где, как следует из названия, можно воспользоваться сауной и всеми видами массажа, часто, как мне говорили, одновременно. Второе — караоке-бар. Оба заведения рекламируются открыто и беззастенчиво, и оба обычно — всего лишь благовидное прикрытие борделя. Власти регулярно проводят рейды и закрывают такие заведения, но, если хозяева дружны с местной полицией (или, что вероятнее, обслуживают полицейских бесплатно), им позволяют работать спокойно. Собственно, в Китае широко известно, что полиция и военные — чуть ли не крупнейшие инвесторы индустрии публичных домов.

За годы работы в Китае я взял интервью у ряда китаянок-проституток. Как и следовало ожидать, часто эти женщины рассказывают самые интересные и трагические истории о дне китайского общества. Но мне до сих пор немного неловко ходить в караоке-бары или места, где трудятся проститутки. Меня всегда коробит от необходимости "снимать" проститутку, пусть и просто для интервью: неохота подкреплять китайский стереотип, будто все западные мужчины — ненасытные сластолюбцы. Я всегда звоню жене в Пекин и сооб-

щаю ей о своих планах ("Привет, дорогая, я тут ненадолго загляну в бордель") на случай, если меня задержит полиция.

Однако к моменту, когда двери лифта раздвигаются на восьмом этаже, я перевоплощаюсь в стереотипного западного гостя, ищущего китаянку на одну ночь. Меня приветствует немолодая женщина, которая словно бы тоже пытается вжиться в стереотипный образ. Она в традиционном китайском наряде — красном платье "ципао", которое, вероятно, еще пять лет назад сидело на ней идеально. Женщина стоит в дверях бара, царственно приосанившись и явно наслаждаясь своим могуществом. Улыбается чуть-чуть приторно, кланяется чересчур учтиво. Это мами — мадам, управляющая караоке-баром. Еле заметным движением подбородка она делает знак двум девушкам, которые топчутся у нее за спиной, затем манит меня рукой и дает понять еще более льстивой улыбкой, чтобы я следовал за девушками. Меня ведут по полутемному коридору с зелеными обоями к одному из залов с караоке. В разных залах несколько китайцев отчаянно фальшивят, сражаясь с высокими нотами любовных баллад, и по коридору разносится неблагозвучное эхо. Хороший знак. В Китае обычно чем хуже караоке, тем интереснее рассказы посетителей.

Проходя мимо одной из дверей, которая тут же захлопывается, успеваю увидеть стайку молодых симпатичных женщин: сидят, болтают, красятся, многие полуодеты. Девушки Синьяна готовятся к трудовой ночи. Вот доказательство того, что коммунистической революции конец (если вам еще нужно это доказывать).

Меня вводят в просторную комнату с Г-образным диваном, лилово-зеленым, протянувшимся вдоль стен. У дивана — широкий низкий стол, к стене прикреплен гигантский телевизор. Девушки исчезают. Я остаюсь один, чувствую себя букашкой в этом громадном зале. Просматриваю "меню" песен для караоке на китайском.

Улыбчивая мами возвращается с четырьмя девушками и просит меня выбрать одну для совместного пения. Девушки стоят с пристыженным видом, отводя взгляд. Мне совестно, что они из-за меня мучаются. Указываю на ту, что стоит с краю. Три остальные и мами выскальзывают гуськом за дверь.

— Цин цзо. Пожалуйста, садитесь, — говорю я с приветливой улыбкой, пытаясь намекнуть ей: "Не волнуйтесь". Она чувствует мое дружелюбие и присаживается, все еще слегка нервничая, на лилово-зеленый диван.

— Вы очень хорошо говорите по-китайски, — замечает она, хотя я произнес всего два слова.

Она говорит, что ее зовут У Янь и ей двадцать лет. Пытается держаться уверенно, точно зрелая дама. Невысокая, с черными волосами до плеч, одета в короткое черное платье из искусственного шелка. Ногти покрашены красным лаком. Ее обязанность — играть в кости, петь в микрофон и выпивать с посетителями-мужчинами, а иногда предлагать им свое общество и для четвертого занятия.

Я уговариваю ее спеть. Она берет микрофон и поет приторную китайскую балладу — печальным мелодичным голосом, вкладывая в песню всю душу.

Наблюдать за китайцами в караоке-баре страшно занимательно. Приехав в Китай в качестве радиокорреспондента, я вскоре обнаружил: уговорить китайца откровенно высказаться перед микрофоном — задача почти непосильная. Да, со времен маоизма обстановка изменилась, гайки ослаблены, но люди все еще не решаются говорить без обиняков, особенно с иностранцем и тем более с иностранным репортером. Естественно, они боятся сболтнуть лишнее и навлечь на себя беду, но есть и другая причина — китайский менталитет откровенных разговоров с чужаками не допускает.

Но отведите китайца или китаянку в караоке, дайте микрофон, и они, не дожидаясь упрашиваний, запоют, пусть даже хрипло или фальшиво. Для азиатов караоке — идеальное средство излить все самое затаенное, не нарушая приличий. Вот и У Янь только что поделилась со мной и с пустым залом множеством переживаний, которые остались для меня китайской грамотой.

Большинство западных людей (в том числе большинство западных людей, живущих в Китае) охотнее выколют себе глаза, чем согласятся петь на публике. Возможно, мы так привыкли высказывать свое личное мнение, задавать прямые вопросы и рассчитывать на откровенные ответы, что почти ничего в себе не таим: нам нечего высказывать обиняками, но публичное пение, да еще перед микрофоном, вызывает чувство неловкости.

Приходит мой черед, и я еще яснее осознаю то, что изложил выше. Отцу двоих детей, счастливому в браке, трудно высказать затаенные чувства, если он поет для проститутки, с которой только что познакомился и с которой не собирается спать, в караоке-баре в Центральном Китае, — поет, точнее орет во всю глотку "Плавание" Рода Стюарта. Я отчаянно пытаюсь не опозориться, но в ноты попадаю плохо. У Янь выхватывает микрофон и поет другую песню, чуть более бодрую, но вновь вкладывает в нее массу тяжелых чувств, которыми, возможно, ни с одной живой душой не делилась. Я

присутствую при этом, все слышу, ничегошеньки не понимаю.

После второй песни У Янь достает игральные кости. Я снова чувствую себя бестолковым иноземцем: правила игры мне непонятны, а У Янь не хочет верить, что я никак не могу их усвоить. Она встряхивает кости в стаканчике, с горделивым смехом швыряет на стол; не знаю уж, что нужно сделать для выигрыша, но остаюсь в проигрыше несколько раз подряд. За игрой я объясняю ей, с какой целью пришел сюда, спрашиваю, согласится ли она ответить на мои вопросы. Она косится на дверь — вдруг зайдет мами? Помолчав, кивает. Просит лишь о том, чтобы я не называл ее подлинного имени.

Ей платят двенадцать долларов за то, что она составляет мужчине компанию — поет вместе с ним, беседует, танцует, а если мужчине нужна партнерша для четвертого занятия, идет с ним в номер. Плата за все четыре занятия — почти втрое больше обычной, сорок долларов без малого. Пожалуй, неплохая сумма для этой провинции. Треть своего заработка У Янь должна отдавать мами.

Шестьдесят лет назад, да и на всем протяжении более ранней китайской истории, проститутки вроде У Янь были на каждой улице, в каждом городе. В 30–40-е годы XX века компартия старалась не только воссоединить Китай и укрепить его мощь, но и искоренить азартные игры, курение опиума и проституцию. И в принципе преуспела в этом, когда пришла к власти. После 1949 года общество преобразилось. В разгар маоизма У Янь, возможно, была бы молодой фабричной работницей и строила бы социализм локоть к локтю с молодыми парнями, а государство заботилось бы о ней от колыбели до гробовой доски.

Но теперь социализм отмер, и проституция воскресла наряду с азартными играми и наркотиками. Навязанная сверху высокая мораль коммунистического периода оказалась лишь недолгим веянием в долгой истории Китая. Необузданные силы рынка разрушили ее.

Но история У Янь интересна тем, что к деньгам дело не сводится. Для меня не стал неожиданностью ее рассказ: в детстве она лишилась отца, жила с бабушкой, из-за безденежья бросила школу, но нормальную работу найти не могла. В современном Китае социальным низам живется тяжело, многие судьбы складываются трагично.

Однако существует опасная тенденция придавать всем явлениям экономическую окраску, словно поведение каждого китайца всегда и во всем мотивируется чисто материальны-

ми соображениями. Мы часто не замечаем, что китайцы — живые люди с разными характерами, люди, которые любят и ненавидят, совершают поступки с запутанной психологической подоплекой, совсем как жители Запада. В рассказе У Янь не прозвучали привычные нотки — мол, "я вынуждена заниматься тем, чем занимаюсь, чтобы не умереть с голоду". Ее речь лаконична, чувствуется, что У Янь смотрит на жизнь скептически, но все еще негодует.

— И почему же вы здесь работаете? — спрашиваю я ее наконец.

Повисает долгая пауза.

— Один парень... — и она снова надолго умолкает, бренча игральными костями в дешевом пластиковом стаканчике. — Во тин сихуань дэ. Он мне очень нравился... — она опускает глаза. — Но ему понравилась другая, — она перестает трясти игральные кости, поднимает на меня огромные, страдающие глаза. Вновь долгая пауза, я пытаюсь заполнить лакуны в ее рассказе.

— Значит... вы этим занимаетесь... чтобы его наказать?.. Или чтобы наказать... себя?

Она не отвечает, но показывает мне свою руку, ладонью кверху. На кисти у нее два рваных шрама, точно она резала вены. Она сердито смотрит мне в глаза.

— Трудно это — быть человеком, правда? — произносит она наконец.

Встретившись с ней взглядом, я наклоняю голову в знак согласия. Она снова встряхивает стаканчик с костями и изо всей силы бухает его на стеклянный столик.

Глава 8
"Все — во имя человека"

Я встал рано. Сегодня мне слегка не по себе. С начала поездки я еще ни разу не совершил ничего неположенного и ни в какие неположенные места не совался. В Китае это вполне возможно: путешествовать по стране, дивиться переменам, болтать с самыми разными людьми и даже не догадываться, что совсем рядом, под покровом обыденности, до сих пор происходят ужасные вещи. Сегодня я собираюсь провести расследование одного из таких кошмарных явлений.

В бытность радиокорреспондентом в Китае я сделал немало репортажей на щекотливые темы. Для этого необходимо было соблюдать три условия (и перед отъездом в командировку я всегда мысленно проверяю, все ли меры предосторожно-

сти приняты). Первое: нанять отличного гида или водителя — местного жителя с широким кругом знакомых, который пулей доставит тебя в пункт назначения и обратно, пока полиция не пронюхала. Второе: обзавестись надежной СИМ-картой для мобильника, зарегистрированной на чужое имя, чтобы власти не отслеживали твои звонки. Третье: правильно выбрать нижнее белье.

В командировке я как зеницу ока берегу мини-диски — трехдюймовые болванки, на которые записываю интервью на диктофон с внешнего микрофона. Если я вернусь без дисков, мне будет нечего дать в эфир. Когда в Китае отправляешься в неположенное место, есть риск, что тебя задержат и обыщут местные полицейские: естественно, им совсем не хочется, чтобы вокруг шныряли какие-то репортеры и оглашали факты, которые портят репутацию чиновников. В случае ареста тебя подвергнут дотошнейшему личному досмотру: сумки перероют, диски, камеру, видеокассеты и блокноты отберут. Если найдут, конечно.

Я разработал собственную стратегию и сегодня ею воспользуюсь, потому что интервью надо записать обязательно. Я вполне готов к аресту. У меня в кармане — мини-диск-обманка, которым я могу в мгновение ока подменить мини-диск в диктофоне (с только что записанными интервью на щекотливые темы). Фокус-покус: фальшивый диск вставлен в диктофон, а секретный засовывается за резинку плавок — туда, куда вряд ли осмелится залезть даже самый грозный китайский полицейский.

Попробуйте спрятать мини-диск (или еще что-нибудь неположенное) в трусах фасона "боксеры", и вы обнаружите: рано или поздно диск соскользнет по ноге и, если совсем уж не повезет, грохнется на пол. Если это случится, когда вы стоите перед гурьбой сердитых китайских полицейских, вас разоблачат и упрячут за решетку (а также, что еще хуже, арестуют китайцев, которые дали вам интервью). Итак, послушайтесь моего совета. Если вы планируете собирать в Китае материалы на щекотливые темы, не забудьте прихватить с собой плавки.

Провинции Хэнань определенно стоит поработать над своим имиджем. Хэнань (не путать с другой провинцией — Хунань) по площади примерно равна Северной Дакоте (178,6 тыс. кв. км), но в Северной Дакоте живет 642 тысячи человек, а в Хэнани — 92 миллиона. Это не опечатка. Одна-единственная провинция Китая почти в сто пятьдесят раз превышает по численности населения штат Северная Дакота.

Собственно, население Хэнани больше любой европейской страны.

На куске земли, где в Северной Дакоте размещается одна ферма, в Хэнани теснится целая деревня — если не две. Потому-то индивидуальные земельные наделы тут крошечные, а средства к существованию крайне скудны. Возможно, именно скученность толкает столь многих на всевозможные мошенничества. В других районах Китая упоенно ругают Хэнань. Поразительно, как часто слышишь: "Хэнань жэнь хэнь хуай", что значит "Хэнаньцы — дрянной народ".

Но Хэнань не всегда имела дурную славу. Напротив, в прошлом она олицетворяла величие и мощь китайской цивилизации и потому считалась чудесным краем, приютившимся в самом центре Китая, вдали от опасного пограничья. На севере Хэнани, близ нынешнего Аньяна, находилась столица династии Шан (1750—1014 до н. э.). В царствование Шан изготовляли великолепные бронзовые сосуды, изобрели первую известную систему китайской письменности. Гроты Лунмэнь юго-западнее Аньяна известны на весь мир: в VI—VII веках нашей эры там были высечены в скалах сто тысяч барельефов на буддийские темы. В Хэнани находится и монастырь Шаолинь, с V века являющийся всекитайским центром боевых искусств. Во времена, когда европейцы все еще жили в пещерах, в Шаолине каждый владел кунг-фу. Отдельно стоит упомянуть удивительную историю "евреев из Кайфэна", далеких потомков израильтян, которые в XII веке, если не раньше, каким-то образом забрели в Хэнань.

Но увы, на все эти соблазнительные темы напишет кто-нибудь другой: вышеперечисленные места находятся в северной части провинции, слишком далеко от трассы 312, а ваш покорный слуга вынужден ограничиться южными районами, где лишь немногое напоминает о великолепии былых царств, зато много чего — об ужасах нынешнего режима.

Я держу путь в так называемые "села-очаги СПИДа" на юге Хэнани. По оценкам иностранных неправительственных организаций, только в Хэнани не менее 300 тысяч жителей инфицировано, причем эпидемия возникла и обострилась по вине местного парткома, который пытался ее скрыть.

На Западе проблема СПИДа ассоциируется с Китаем далеко не в первую очередь. Эпидемия, опустошившая юг Африки, в Азии еще не достигла сходных масштабов, хотя ООН предупреждает: если не будут приняты серьезные меры, к 2010 году число инфицированных в Китае возрастет до деся-

ти миллионов[1]. Проблемы наркомании и проституции в Китае не менее серьезны, чем в других странах: число наркоманов и торгующих собой быстро увеличивается. Но в Хэнани СПИД распространялся совершенно другим способом – возможно, еще более шокирующим: через государственные программы платного донорства для крестьян.

В начале 1990-х, когда Китай перешел от плановой экономики к рыночным реформам и государственные субсидии были отменены, местным властям пришлось изыскивать собственные источники доходов. Управление здравоохранения Хэнани додумалось привлекать крестьян в качестве доноров за деньги. Из крови извлекается плазма, которую продают западным и китайским фармацевтическим компаниям как сырье для вакцин. В других провинциях тоже организовали программы платного донорства, но Хэнань, где эта практика была самой масштабной, пострадала больше всех.

В маленьких городах были созданы станции переливания крови. Мобильные донорские пункты разъезжали по деревням, и крестьяне обнаруживали, что донорством можно заработать больше, чем работой в поле. Весть о новой "золотой жиле" распространилась молниеносно. Увы, вирус СПИДа – тоже.

Крестьянина приглашали в фургон и прокалывали ему вену на руке. Кровь шла по трубке прямо в бак посередине фургона, где смешивалась с чужой. В баке-центрифуге из крови извлекали плазму. Но китайцы традиционно считают, что потеря крови вредна для организма. Поэтому обедненную кровь переливали донорам обратно.

Когда в конце 1990-х у крестьян появилась странная сыпь, местные медики недоумевали. Затем, в 2000–2001 годах крестьяне начали умирать. Местные власти категорически запрещали журналистам освещать эту тему, но в современном Китае чиновникам намного труднее хранить тайны: общество уже не такое закрытое, как раньше. Некоторые бесстрашные китайские СМИ опубликовали несколько статей, и иностранные репортеры, в том числе я, вскоре стали потихоньку посещать пострадавшие деревни и брать интервью у больных СПИДом. Центральное правительство несколько лет наотрез отказывалось признавать, что проблема вообще существует, но в конце 2004 года Пекин внезапно сменил позицию и занялся урегулированием последствий. И все же в Хэнани отнюдь не устранена проблема СПИДа: как повелось исстари, политику централь-

1. Статистика по СПИДу в Китае закрыта. Судя по данным международных источников, мрачный прогноз на 2010 год, видимо, не оправдался.

ной власти непросто провести в жизнь на местном уровне. Чтобы не навлекать на себя критику, хэнаньские власти всячески ограничивают доступ к очагам СПИДа, чиня препятствия даже врачам и чиновникам, присланным из Пекина.

Моим проводником по деревням станет Ху Цзя, общественный активист, защищающий права ВИЧ-инфицированных. Он специально приедет из Пекина, чтобы встретить меня и принять меры для предотвращения моего ареста. Ху Цзя принадлежит к новой породе китайских активистов. После бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году многие диссиденты эмигрировали или оказались за решеткой. Выйдя на свободу в 1990-е годы, они уяснили, что борьба за политические реформы безнадежна. Некоторые вообще забросили политику и увлеклись бизнесом. Активисты более молодого поколения — например, тридцатитрехлетний Ху, — знают: за призывы к политическим реформам их немедленно арестуют, а потому предпочитают борьбу в сферах, не затронутых политикой. Ху много лет ратовал за охрану окружающей среды, а теперь отдает все силы общественной организации борцов за права ВИЧ-инфицированных, которую сам же и учредил. У него есть кое-какой простор для маневра, так как цели его организации в основном совпадают с линией правительства, но Ху все равно ходит по лезвию бритвы.

По сравнению со старыми временами в Китае несколько ослаблен контроль над общественной жизнью, но службы госбезопасности берут на заметку все проявления гражданской активности, и в Пекине за Ху Цзя постоянно следят. Активистов не всегда стараются упечь в тюрьму, но под окнами их квартир вечно топчутся какие-то люди: курят, читают газеты. Домашний и мобильный телефоны Ху прослушиваются, и каждый раз, когда мне надо с ним связаться, я посылаю ему СМС с просьбой дать безопасный номер. Он находит таксофон и посылает СМС с его номером мне. Я записываю номер, меняю свою СИМ-карту на запасную, о которой китайским спецслужбам неизвестно, и звоню Ху на таксофон, у которого он дожидается.

Уже несколько дней мы с Ху обменивались шифрованными СМС о том, когда и с кем лучше встретиться. Я заранее выяснил у него, как называются зараженные СПИДом городки, и потому, вместо того чтобы вечно разыскивать таксофоны и менять СИМ-карты, я шлю ему сообщение: “Могу быть в Ш. в вскр. в 9 утра, а вы?”

— Юэ цзао юэ хао. Чем раньше, тем лучше, — отвечает он.

Вчера вечером я бродил по Синьяну: искал такси с тонированными стеклами и водителя, который готов выехать

спозаранку. Ху Цзя посоветовал мне надеть очки и панаму, чтобы во мне не сразу распознали иностранца, когда я буду пересаживаться из машины в машину и посещать дома людей, инфицированных ВИЧ из-за политики местной власти.

На юге Хэнани есть, как минимум, тридцать "сел-очагов СПИДа", в том числе несколько примерно в двух часах езды к северу от Синьяна по трассе 107 — аналогу трассы 312, ведущему с севера на юг, от Пекина до самой южной оконечности Китая. В Синьяне трассы пересекаются. Местоположение Хэнани на перекрестке дорог в самом центре страны отчасти объясняет первые случаи инфицирования ВИЧ. По-видимому, болезнь занесли дальнобойщики, следующие из Золотого Треугольника — района на юго-западе Китая близ лаосской и бирманской границ. Заразились половым путем или при инъекции наркотика и распространили вирус по сети автомагистралей. Как только в Хэнани была инфицирована горстка людей, негигиеничные методы сдачи донорской крови спровоцировали всплеск эпидемии.

Таксист не обрадовался, узнав, что я еду в Шанцай, хотя я пояснил, что просто встречаюсь там с другом.

— Нехорошее место, — говорит он.

— Почему?

— Да так, нехороших людей полно, — заявляет он, не вдаваясь в объяснения.

Ху Цзя приехал из Пекина вчера вечером. В полдевятого утра, когда я подъезжаю к Шанцаю, он звонит мне на безопасную СИМ-карту и объясняет таксисту, где мы встретимся — на бензоколонке за окраиной. Рядом останавливается моторикша, Ху Цзя выскакивает из кабины и манит меня. Моторикша — просто мотоцикл о трех колесах, оснащенный кабиной для пассажиров, куда можно втиснуться вчетвером. Заднюю стенку кабины Ху затянул тентом, чтобы никто не мог заглянуть внутрь. Я прошу таксиста приехать за мной на это же место через три часа.

На шоссе часто попадаются полицейские фургоны. Ху вцепился в край тряпки, загораживающей заднее окно кабины. Когда мы останавливаемся на светофоре, я вижу сквозь полупрозрачную занавеску, что позади — полицейская машина. До нее всего пять ярдов. Вопросительно гляжу на Ху Цзя, сжимающего край тента. Он лукаво ухмыляется.

Моторикша скачет по ухабам на грунтовой дороге, и нас швыряет по кабине из угла в угол. Наконец въезжаем в узкий проулок в некой деревне в нескольких милях от Шанцая. Водитель переезжает деревянный брус — порог традиционных ворот, — и мы оказываемся в маленьком дворике, где играет стайка детей. Прежде чем вылезать наружу, я прошу Ху шугануть

ребятишек. Стоит какому-нибудь малышу увидеть иностранца и рассказать про него маме, как самые изощренные планы пойдут прахом. Ху прикрывает ворота. Воцаряется тишина.

Я вылезаю наружу, пожимаю руку Ху Цзя и сердечно хлопаю его по спине. Я всегда рад его видеть. Он вселяет в меня надежду, что в Китае все наладится. Ху — невысокий и плотный, остриженный под солдатский ежик. Обычно он ходит в шортах, что среди китайских мужчин редкость. На поясе у него большая сумка, в которой хранятся цифровой фотоаппарат, маленькая видеокамера и три мобильника. Он постоянно на связи с целой сетью информаторов по всей стране, все время разговаривает с друзьями и знакомыми, все время конспирируется и прячется, иногда лезет на рожон, порой оказывается под домашним арестом, но часто умудряется на шаг опережать силы тьмы.

Из одноэтажного кирпичного дома, который выглядит весьма запущенным, выходят трое мужчин. Нас приглашают зайти. Сажусь на грязный диван в темной комнате, пахнущей затхлостью, и выслушиваю их истории. Все трое и их жены в середине 1990-х сдавали кровь за деньги в мобильных донорских пунктах.

— В январе 2002 года моя жена заболела и в том же году, в августе, умерла, — говорит тридцатидвухлетний Ли Чжэнда.

У Ли копна черных волос и жидкая бородка. Он проверился только в августе 2004 года. Поясняет, что не хотел проверяться, но сердце подсказывало: у него СПИД.

Теперь он принимает настоящий коктейль из препаратов, которые выдают местные власти под нажимом западных неправительственных организаций.

— Лекарства пью, но у них очень тяжелые побочные эффекты, мне от них плохо, — говорит он.

— Восемьдесят процентов крестьян нарушают график приема лекарств, потому что очень плохо их переносят, — вставляет Ху. — Это серьезная проблема.

Рядом сидит Ли Юнлун. Ему сорок три. (Ли Юнлун и Ли Чжэнда — не родственники. В Китае фамилию Ли носят более девяноста миллионов человек.) Он говорит, что вместе с женой сдавал кровь за деньги всего три-четыре раза, в середине 90-х, но оба они ВИЧ-инфицированы.

— Каждый раз за сданную кровь нам давали по сорок пять юаней [почти шесть долларов], — говорит он. — Большие деньги.

С третьим из мужчин, Чжан Хунда, произошла схожая история.

Когда я спрашиваю о местных чиновниках, все трое, неподвижно сидя на диване, отмалчиваются. Что тут скажешь? Ли Юнлун медленно качает головой:

— Теперь государство принудили кое-что нам давать, — говорит он наконец. — Нам выдают эти лекарства и еще по десять юаней [доллар двадцать центов] в месяц, это вроде платы за молчание.

Пиньцюн. Нищета. Вот что заставляло нас сдавать кровь за деньги, — продолжает Ли Юнлун. Он говорит с заметным хэнаньским акцентом. — Вот в чем причина. А главная причина нашей нищеты — в том, что местные налоги слишком высокие. Чиновники облагают налогом все подряд. Только о деньгах и думают.

— Местные чиновники во всем видят способ нажиться, — поясняет Ху Цзя. — Это китайская традиция. Стал чиновником — наживаешься. Чиновники жиреют, народ сохнет.

Здесь в Хэнани самая заметная проблема — СПИД. В других районах Китая — другие пагубные проблемы наряду с проблемами помельче. Но коренная беда повсюду одна: из-за всесилия местных чиновников и коррупции село превращается в кипящий котел, где разгорается народный гнев, подпитываемый лишениями.

Ли Юнлун говорит, что жизнь крестьянства тяжела во всех отношениях. Взять хоть планирование семьи. В деревнях многие не хотят ограничиваться одним ребенком и готовы нарушать государственную политику "одна семья — один ребенок", говорит он.

— Но если твоя жена снова забеременеет, а они дознаются, ее заставят сделать аборт. Если ускользнешь из-под надзора инспекции по планированию семьи и ребенок родится, тебя крупно оштрафуют. Когда у меня родился второй ребенок, мне было вообще нечем платить штраф, и тогда у меня забрали трактор, а мне на трактор надо несколько лет зарабатывать.

Остальные сидят и молчат, глядя в пол.

— И вы никак не можете добиться справедливости от властей, привлечь их к ответственности за содеянное? — спрашиваю я.

— Никак, — говорит Чжан. — Будешь им перечить, все равно в чем, тебя просто посадят.

Я должен задать им еще один вопрос, хотя и предвижу ответ заранее.

— Центральное правительство заговорило о правовом государстве. Обещают принять меры, чтобы все делалось по закону. Может быть, вам следует нанять юриста?

— Во всем уезде нет ни одного юриста, — говорит Ли Чжэнда. — А если бы и был, простых людей защищать не стал бы. Он был бы не разлей вода с чиновниками.

Ху Цзя сообщает, что у нас назначена еще одна встреча, на другой окраине города. Залезаю вслед за ним в кабину моторикши. Никак не могу подобрать слов для прощания с тремя мужчинами, которым, возможно, остался год жизни.

Приезжаем в другой крестьянский дом, и Ху снова выскакивает проверить, не следит ли кто. Здесь нас ждет целая группа больных СПИДом. Страшная картина. Человек пятнадцать — сидят и молчат. Простые крестьяне, обреченные на смерть из-за жадности чиновников, а теперь — из-за черствости властей. Ху знакомит меня с 34-летним Дэн Сяомином. Его жена умерла от СПИДа в 2000 году. Он тоже инфицирован. На прошлой неделе скончалась его шестилетняя дочь, и Дэн безутешен. Он говорит, что девочка очень плохо себя чувствовала. Однажды ночью у нее началась рвота, и он отвез ее в больницу. На вторые сутки после госпитализации дочь умерла.

Дэн стал ругаться с руководителями больницы, обвинил этих людей в смерти дочери — им двигало отчаяние и ярость, он всю семью потерял. Дэн рассказывает, что отнес тело дочери в вестибюль и положил на самое видное место, чтобы все видели. Администрация больницы велела ему убрать тело, пригрозила арестом. Он созвал на помощь родственников и друзей, но в тот же вечер за телом приехали пятьдесят полицейских. Сказали, что повезут кремировать. За тело ребенка разгорелась настоящая битва, заметил Ху Цзя.

Дэн настолько подавлен случившимся, что все чувства отключились: ни на что нет душевных сил. Ху вместо Дэна делает вывод из этой истории: местные власти просто ждут, пока все перемрут, тогда никто уже не будет качать права и портить репутацию Шанцая.

В этот момент я пламенно ненавижу Китай и все, с ним связанное. Спрашиваю Ху, не следует ли нам наведаться в больницу и приструнить администрацию, но он объясняет, что это бесполезно. Крестьян, с которыми мы встретились, немедленно арестуют, да и нам придется ночевать в полицейском участке. Все присутствующие рассказывают страшные вещи о столкновениях с чиновниками. А если вспомнить, при каких обстоятельствах они заразились...

— Никого из нас не берут на работу, и нам не на что учить детей, — говорит мужчина средних лет по фамилии Хуан.

— Да что там, когда наши дети едут в другие места искать работу, им нелегко, — добавляет женщина лет сорока с лишним по фамилии Чжан. — Когда работодатели слышат, что они из Шанцая, сразу отказывают. Так что им приходится врать, будто они из другого города.

Еще немного побеседовав с людьми, я покидаю деревню так, как приехал, в задрапированной кабине моторикши. Водитель останавливается в условленном месте в окрестностях Шанцая, где уже ждет мое такси. Я спешно ныряю в машину, но немного опускаю стекло, чтобы высунуть руку для рукопожатия с Ху Цзя. Он улыбается мне улыбкой заговорщика – горячей, сочувственной. Потом вскакивает назад в кабину, и моторикша уезжает.

На всякий случай я вынимаю из диктофона мини-диск с интервью и засовываю в плавки, а на место настоящего диска вставляю обманку. Отъехав от Шанцая, а затем от местного главного города на безопасное расстояние, шлю СМС – мол, уехал благополучно. Ху отвечает, что едет на север в столицу провинции, Чжэнчжоу, а оттуда вернется поездом в Пекин. Через несколько дней Ху написал мне по электронной почте: когда мы уже уехали, местная госбезопасность узнала о нашем визите, и людей, с которыми мы встречались, допросили. Но никто не сознался, что с нами разговаривал, и полиция ушла ни с чем.

На обратном пути в Синьян я долго скрипел зубами от злости. Таксист монотонно жаловался на то, что места уж очень захолустные:

– Дороги плохие, современных домов нет.

Раньше я не мог и помыслить, что буду рад вернуться в Синьян. Там, где трасса 107 на древнем перепутье сходится с трассой 312, стоит рекламный щит с нелепой в своей беспомощности надписью:

ПРОФИЛАКТИКА СПИДА – ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО

А чуть подальше – форменное издевательство. Новый лозунг КПК, словно бы придуманный маркетологами для завлечения потребителей: “И жэнь вэй бэнь” – “Все во имя человека”. <...>

Глава 9
Разговоры в пути

Гора Хуашань–Сиань

В автобусе ко мне подходит кондуктор. Доброжелательный на грани фамильярности дядька. Его легче было бы воспринимать серьезно, если бы у него на голове не красовалось вчетверо сложенное мокрое полотенце. Иногда он снимает полотенце с макушки, утирает с лица испарину и водружает

полотенце обратно. Он спрашивает, из какой я страны, и начинается стандартная беседа – примечательно лишь, что кондуктор весьма одобрительно отзывается о Британии.

– В Гонконге хорошо, потому что раньше им правили ваши, – заявляет он.

В ряду передо мной, по ту сторону прохода, сидит моложавый, стриженный под ежик китаец в начищенных до блеска ботинках. Похоже, военный в гражданской одежде. Он уязвлен словами кондуктора.

– Ты что, думаешь, Британия должна править всем Китаем, а? – орет он на Господина Мокрое Полотенце.

– Конечно. Хуже, чем у этих, не получится, – отвечает тот с вызовом, не упоминая партию.

– Послушай, я сам партийных не люблю, – говорит Блестящие Ботинки (дает понять, что, во-первых, кое-что понимает в жизни и, во-вторых, не принадлежит к числу чиновников-взяточников), – но нельзя же быть таким пессимистом.

Но Мистера Мокрое Полотенце патриотизмом не возьмешь. Покончив с обилечиванием пассажиров, он усаживается на сиденье у кабины, лицом к салону, и, не считаясь с аргументами Блестящих Ботинок, заявляет:

– Еще бы не быть пессимистом. Поживи в этой стране... Коррупция – дальше ехать некуда.

Бурный спор длится минут пять, никто не ввязывается. Наконец оба спорщика капитулируют и умолкают. В салон входят еще несколько пассажиров, и автобус трогается. <...>

Ланьчжоу—Сяхэ

Только в отеле, раскрыв путеводитель по провинции Ганьсу, понимаю, что до Тибетского нагорья совсем недалеко. Я не планировал отклоняться от трассы 312 к югу, но соблазн слишком велик. Город Сяхэ, расположенный на краю Тибетского нагорья в 170 милях юго-западнее Ланьчжоу, – крупнейшее после Лхасы скопление буддийских монастырей.

Если вам нужна точная дорожная карта Китая, бегите прямо в типографию и хватайте самую свежую, на которой еще не просохла краска. Но даже новенькая карта окажется устаревшей. Дороги здесь строят феноменально быстро и поразительно качественно.

На юг от Ланьчжоу ведет новая четырехполосная скоростная магистраль, которая стала сюрпризом и для меня, и для моей карты. Блестящее гудронированное покрытие, огороженное стальными заборами, выделяется на фоне желтой

полупустыни. Здесь борьба человека с природой становится более яростной, и на склонах многих холмов устроены полятеррасы: местные жители пытаются хоть что-то вырастить на неблагодарной лёссовой почве.

В салоне крутят ди-ви-ди с патриотическими песнями. Видеоряд — фотографии мужчин и женщин в форме Народно-освободительной армии Китая образца 50-х годов. Похоже, эти военные объясняют национальным меньшинствам, как хорошо быть гражданами Китая. Одна песня — о монголах, другая — о Тибетском нагорье. По экрану ползут титры с текстом песен — вдруг кто захочет подпеть?

Громкость ди-ви-ди-проигрывателя — на несколько сотен децибелов выше, чем допустимый уровень шума на заводах в Америке. Правда, сперва я этого не заметил. И только когда малыш, мой сосед сзади, уцепился за спинку кресла рядом со мной и запел, я сообразил, что постепенно приобрел иммунитет к китайскому шуму. Раньше я раздражался: "Эй, мальчик, ты что творишь — распеваешь как бог на душу положит, да еще над самым моим ухом? И о чем только думает водитель — ну зачем врубать музыку на всю катушку?" Теперь я сам себе удивляюсь: поощрительно улыбаюсь ребенку, словно его безголосое верещание меня радует.

Так действует на людей Китай. Возвращаешься в Америку или Европу, и все дивятся, отчего ты не вскипаешь от негодования, столкнувшись с легким шумом или маленьким неудобством. А ты смотришь на них и думаешь: "Нашли из-за чего дергаться!" В нашем уютном западном мире у людей слишком быстро истощается терпение. (Беда в том, что отвыкаешь также, например, от западных норм безопасности на дорогах или этикета за столом.)

Ланьчжоу — многонациональный город, но с виду — вполне китайский. Маленькая долина Линься, всего в ста милях южнее, — первое место на моем пути, где ничто не напоминает культуру китайцев-хань. По разным районам Китая, в том числе на востоке, разбросаны маленькие мусульманские общины, но в Линься ислам исповедуют почти сто процентов населения. В каждой деревне есть мечеть. Все мужчины — в белых мусульманских шапочках, с жидкими бородками. Женщины прячут волосы под платками. Эти люди принадлежат к народности хуэй. Их предки — воины, купцы и ремесленники, которые в VII—XIII веках перебрались в Китай из Персии и Центральной Азии. Они смешались с ханьцами путем межнациональных браков, их родным языком стал китайский (правда, некоторые все еще владеют арабским). Но хуэй сохранили свое вероисповедание и до сих пор не едят свинины. У ханьцев отношения с хуэй

намного лучше, чем с другими мусульманскими народностями на северо-западе Китая, например, уйгурами. И все же религия хуэй создает широкую пропасть между ними и ханьцами. <...>

В городе Линься я пересаживаюсь на другой автобус. Атмосфера пограничья: в магазинах полно кинжалов, мехов и седел. В автобусе до Сяхэ — толкотня, суматоха, табачный дым столбом. Сам автобус — другой модели, намного более дешевый. Вот и хорошо: в Китае обычно чем хуже автобус, тем добросердечнее пассажиры. Я пробираюсь в хвост на свободное место, перелезая через сумки и вытянутые ноги. Большинство моих попутчиков — тибетцы. Мужчина, рядом с которым я уселся, сообщил по-китайски, но с каким-то несусветным акцентом, что принадлежит к национальному меньшинству, о котором я даже не слышал, — к дунсянам, одной из самых малочисленных народностей Китая. На территории Китайской Народной Республики проживают пятьдесят пять национальных меньшинств, официально признанных таковыми, и еще примерно четыреста непризнанных. По утверждениям Пекина, все эти люди — чжун го жэнь: народ Срединного Царства, китайцы. Но если спросить их "Кто вы?", они обычно тут же упоминают о своей этнической принадлежности. На свете только 300 тысяч дунсян, и все они живут в Линься и окрестностях. Дунсяне исповедуют ислам, но свою родословную возводят к монголам тех времен, когда в XIII веке по этим местам пронесся Чингисхан.

— У вас свой язык? А письменность есть? — спрашиваю я дунсяна.

— Язык у нас свой, письменности нет. Язык похож на монгольский, — говорит он. — Но я вообще неграмотный, мне без разницы.

За минуту до отправления автобуса в салон входят две китаянки-хань, одетые с некоторым шиком. Я уже видел их в автобусе, который шел из Ланьчжоу. Жеманно ступая, начинают пробираться к свободным местам. Мне вспоминается фильм "В джазе только девушки": как Джек Леммон с Тони Кёртисом, переодетые женщинами, садились в поезд.

Эти дамы выделяются из толпы даже больше, чем я. Свои одинаковые ярко-розовые чемоданы они засовывают на багажную полку между огромным арбузом и исполинским дерюжным мешком с неведомым содержимым. Готов поклясться: дотоле эту полку не осчастливливал своим присутствием еще ни один розовый чемоданчик. Дамы занимают места в хвостовом ряду, по диагонали от меня. Прежде чем усесться, отряхивают кресла.

Та, что поменьше ростом, — вся в белом: крайне неудачный выбор для путешествия по этой местности. Волосы у нее

завитые, коротко стриженные, слегка подкрашенные. Самая поразительная деталь — ее очки: оправа светло-розовая, толстые дужки усыпаны стразами.

Ее подруга — скорее женщина-вамп. Она одета во все черное: этакий Гари Купер женского пола едет покорять просторы Дикого Запада. Черный полиэстеровый топ с поясом, обвешанным мелкими блестками, такие же брюки — с блестками, болтающимися у щиколоток. Волосы слегка мелированы — среди черных прядей попадаются каштановые. В хвосте автобуса среди тибетских крестьян эта парочка смотрится довольно нелепо.

Устраиваясь поудобнее, они щебечут на северокитайском диалекте. Женщина-Вамп достает упаковку детских влажных салфеток и с мелодраматичной демонстративностью утирает лицо. Передает салфетки подруге, и та с царственным видом вытирает руки. Использованную салфетку бросает на пол (впрочем, уже замусоренный).

— Фи-и-и-и. Ну и грязь в этом автобусе, — пищит Женщина-Вамп.

Принцесса Розочка кивает. Обе достают гламурные мобильные телефоны и начинают набирать СМС.

За окном автобуса мелькают саманные дома, а также транспаранты, рекламирующие повсеместную, но ускользающую цель — сяокан, средний достаток. Другие щиты зазывают крестьян провинции Ганьсу в XXI век:

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ

Если уж внедрять в этом районе технику, меняющую жизнь, лучше бы начали с элементарной механизации сельского хозяйства, думаю я.

Дорогу между Линься и Сяхэ расширяют — возможно, надеются на рост турпотока. Поэтому иногда автобус съезжает на ухабистый проселок, идущий параллельно шоссе. Гигантский арбуз, о котором я упоминал выше, из-за тряски скатывается с полки и падает на голову ребенку. Ребенок вопит, но, кажется, серьезно не пострадал. Никто не возмущается. Никто не грозится подать в суд. В Китае падение арбузов — просто одно из возможных неудобств, сопряженных с путешествием.

Наконец, я решаю завести разговор с роскошными дамами в хвостовом ряду, хотя и стесняюсь своей замызганной одежды.

— Мы едем в Сяхэ, — отвечает на мой вопрос Принцесса Розочка.

— Надолго?

— Наверно, останемся только на ночь, и дальше — в Хэцзо.

— Едете в отпуск?

— Вроде того, — сообщает Женщина-Вамп, — отпуск плюс работа.

— А в какой области вы работаете?

— Косметика.

Выясняется, что обе — сотрудницы шанхайской компании "Мэйсу", которая в этом году открыла офис в Ланьчжоу, а теперь и магазины в Сяхэ и Хэцзо, административном центре южной части Ганьсу. Эти женщины — миссионеры от макияжа.

— "Мэйсу" есть везде, где есть женщины, — говорит с улыбкой Принцесса Розочка. — Наш слоган.

— Значит, у тибеток косметика востребована?

— Нет, только у хань, — отвечает она. — Меньшинства не особенно интересуются такими вещами.

— А что продается в ваших магазинах? Просто помада, румяна, все как везде?

— Да, а еще — широкий ассортимент отбеливающих кремов для кожи. Смуглая кожа — это гадко.

Я рассказываю ей, что на Западе женщины покупают средства для искусственного загара, чтобы кожа выглядела темнее. Мою собеседницу прямо передергивает от отвращения. Ее определенно не смущает, что в автобусе вокруг все смуглолицы — и тибетцы, и хуэй, да и крестьяне-хань, целыми днями работающие на солнцепеке.

— Смуглая кожа — это уродство. Белая кожа — красота, — заявляет она.

И беспардонно спрашивает своего соседа, молодого тибетца, отчего он такой смуглый.

— Не знаю, — учтиво отвечает он на безупречном китайском. — Мы, тибетцы, такими рождаемся.

Автобус въезжает в деревянную арку. Это Тумэньгуань, врата южной Ганьсу. Моментально, чуть ли не сразу после ворот, пейзаж становится зеленее, в деревнях и на холмах виднеются храмы: кажется, мы, словно в сказочной Нарнии, мигом переместились в другую страну.

Высказываю это наблюдение вслух, и молодой тибетец, которого только что допрашивали об особенностях его кожи, включается в беседу:

— Мы въезжаем в Ганьнань. Это Тибетский автономный район.

— Как здесь обстоят дела? — спрашиваю я у него.

— Налаживаются. С инвестициями стало лучше. Теперь здесь есть два завода. Один производит лекарства. На другом перерабатывают молоко.

— А местное население стремится к сяокану? К среднему достатку? Ну, знаете, как в правительственных лозунгах.

Собеседник недоуменно смотрит на меня:

— Конечно.

Даже иностранец, долго проживший в Китае и знающий, что проблема Тибета не так проста, как ее иногда изображают, все же верит, будто национальная идентичность важнее прогресса.

Выясняется, что молодой человек (он сообщил, что его китайское имя — Сяо Линь) — учитель. Он окончил университет в Ланьчжоу и теперь возвращается в свой родной город, расположенный еще южнее Сяхэ.

— А что вы преподаете?

— Китайский язык.

У меня глаза лезут на лоб:

— Вы преподаете китайский? Кому?

— Тибетцам, в школе старшей ступени.

— Вы тибетец и учите тибетских детей китайскому языку?

— Верно, — отвечает он с улыбкой.

Я пытаюсь прочесть по его лицу, как он относится к своей профессии. Он непроницаем — впрочем, рядом сидят две китаянки-хань. Но он почти неуловимо улыбается мне и не отказывается дать номер своего мобильника. Вручая бумажку с телефоном, слегка поднимает бровь, точно намекая: "Звоните, поговорим поподробнее".

Сяо Линь говорит, что сойдет не доезжая Сяхэ: надо заглянуть к другу. И повторяет: "Позвоните мне". Я обещаю позвонить, и он спрыгивает с подножки — тибетец весьма современного вида, выделяющийся в толпе крестьян.

Повсюду, куда ни глянь, — лозунги, лозунги, лозунги, часто прямо на обшарпанных кирпичных или саманных стенах придорожных домов. Местный отдел планирования семьи не поленился перевести преимущества малодетной семьи на деньги. Правда, неясно, что это за сумма: то ли штраф за неположенного ребенка, то ли расходы на лишний рот. В этих местах годовой доход многих крестьян на индивидуальных наделах невелик — не больше тысячи юаней:

ОДНИМ РЕБЕНКОМ МЕНЬШЕ —
ЭКОНОМИШЬ ТРИ–ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ[1]

1. 400–600 долларов по курсу 2004 года. (*Прим. автора.*)

Тут же — другие агитки, обнадеживающие, добрые:

УСКОРИМ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ
УСКОРИМ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ

ПРОВОДА НА СТОЛБАХ У ШОССЕ НЕ СОДЕРЖАТ МЕДИ
ВОРЫ БУДУТ СУРОВО НАКАЗАНЫ

Но большая часть транспарантов объединена одной темой — призывает получать образование. В старые времена цивилизаторская миссия китайцев состояла в том, чтобы распространять среди варваров китайскую культуру, административное устройство и конфуцианскую модель общества. Китайцы доныне смотрят свысока на национальные меньшинства окраинных областей. Но с приходом "заморских людей" китайцы выкинули собственную цивилизацию на помойку, и формулировка китайской миссии по отношению к народам Внутренней Азии тоже изменилась. Науку и прогресс — вот что теперь несут китайцы отсталым варварам с задворок цивилизации.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — КЛЮЧ К ВОЗРОЖДЕНИЮ НАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ — ЛУЧШИЙ СПОСОБ ДОСТИГНУТЬ СРЕДНЕГО ДОСТАТКА

ЗНАНИЕ — СИЛА

Глава 13
Монахи и кочевники

Я позвонил Сяо Линю, учителю-тибетцу, с которым познакомился по дороге в Сяхэ, и мы договорились на завтра встретиться. До вечера я отдыхал и бродил по городу. Смотрел, как тибетцы-паломники в ярких халатах с меховой опушкой бережно вращают сотни молитвенных колес у монастыря Лабранг — словно пытаются повернуть время вспять. Наблюдал в Интернет-кафе за тибетцами в монашеских рясах: они лазали по Сети и играли в компьютерные игры. Съездил на крохотном мотоцикле на красивые горные луга чуть выше Сяхэ — просто покатался туда-сюда, вдыхая чистый воздух. Там стоит несколько тибетских шатров, где могут переночевать китайские туристы, — этакий тематический парк, наводящий на подозрение,

что в Тибет вот-вот нагрянут орды любителей достопримечательностей. Большинство кочевников из тибетских степей переходит на оседлый образ жизни, древние обычаи меняются. Возможно, скоро вообще ни одного кочевника не останется.

Вечером я поужинал в ресторане на крыше, с видом на Лабранг. Мой сосед, монах в просторной бордовой рясе, почти беспрерывно разговаривал по мобильному телефону "Нокия". Разговаривал по-тибетски.

— Я из деревни к югу от Сяхэ, — сказал он мне по-китайски с сильным акцентом. — В таких семьях, как моя, ребенок может получить образование, только если пойдет в монахи.

На следующий день я распрощался с Сяхэ и встретился с Сяо Линем в мусульманском городе Линься, где два дня назад делал пересадку. Мы пошли обедать в лапшевню у автовокзала. Похоже, Сяо Линь заранее знал, что речь пойдет о щекотливых вопросах, — попросил отдельный кабинет. В Китае такие кабинеты есть даже в небольших ресторанчиках.

Я сообщил Сяо Линю, что пишу книгу, и поинтересовался, не согласится ли он откровенно ответить на несколько вопросов. Он улыбнулся и кивнул. Я заранее предупредил, что не укажу его настоящего имени.

— Вы — тибетец. Но вы получили образование в китайской системе. И теперь вернулись на родину, чтобы учить своих соотечественников языку, который многие тибетцы называют языком угнетателей. Неужели вас это ничуть не коробит?

— Мэй баньфа. Ничего не поделаешь. Какой у меня выбор?

Он рассказывает свою биографию: вырос в районе, населенном преимущественно тибетцами, в тибетской школе неизменно был первым учеником в классе. Поэтому его, как всех способных детей, перевели в школу с обучением на китайском языке, и там он тоже стал круглым отличником. Это означало хорошие перспективы на высшее образование, и, действительно, его приняли в один из лучших университетов на западе Китая. В его школе было сто выпускников, но только пять, включая Сяо, поступили в вузы. Его родители, малообразованные тибетцы, заставляли его говорить по-китайски и дома, чтобы увеличить шансы на успех.

— Никто меня ни в чем не обвиняет, — поясняет он. — Выбора нет. Единственный способ заявить, что я во всем этом участвовать не стану, — не учить китайский и отвергнуть всю китайскую систему. Но тогда я был бы обречен на нищету. На хорошую работу не устроишься, уровень жизни не повысишь. — Он по-прежнему смотрит на меня спокойным взглядом и говорит, не повышая голоса, хотя определенно осознает тра-

гедию своего народа: — Естественно, наша культура растворяется. Необходимость учить китайский, приток китайцев в наши районы... Это печально. Но частично культура сохраняется. Есть незыблемые принципы. Например, я ни за что не женюсь на китаянке-хань. И от своей буддийской веры не откажусь.

— А как же образ жизни? Ведь тибетцы — кочевники.

— Во-первых, в кочевой жизни нет никакой романтики. Она очень тяжела. Во-вторых, мне кажется, кочевники сознают, что у их образа жизни нет будущего. Просто так сегодня устроен мир. Современный мир. Глобализация. Сомневаюсь, что в этом стоит винить только китайцев.

Некоторое время мы молчим, просто едим лапшу. Такое впечатление, что все вывернулось наизнанку. Ханьцы навязали кочевникам-тибетцам оседлость, стреножили их. А теперь сами ханьцы впервые стали отчасти кочевниками, бросают насиженные места.

— А как же политика? Далай-лама? Независимость Тибета?

— Я не хочу говорить о политике. Что касается Далай-ламы, я предпочитаю сохранять нейтралитет. Я лично никогда не стану поддерживать независимость Тибета.

Он умолкает. Я киваю. Мы едим лапшу. Это трагедия, но развивается она неспешно. Людей больше не убивают, монастыри не уничтожают, некоторые принудительные меры отменены. Теперь главная угроза для тибетской национальной идентичности обусловлена не политическими, а экономическими обстоятельствами. Но даже в самом Тибете ориентиры ощутимо меняются, граждан интересует только развитие экономики. Число арестованных за политические преступления (читай, за протесты против власти китайцев) значительно сократилось. Видимо, люди теперь делают ставку на что-то другое. Думаю, многие, особенно молодежь и горожане, смирились с тем, что Тибет никогда не обретет независимость, и стараются улучшать свою жизнь всеми доступными средствами.

В худшем случае тибетская культура настолько выветрится, что все ее своеобразие исчезнет. Возможно, какие-то элементы — религия, национальные обычаи — уцелеют, но Тибет постепенно подвергнется китаизации, растворится в китайской империи. Правда, движущей силой ассимиляции будет не мощь китайской культуры или китайского оружия, а власть китайского юаня: многие тибетцы позволяют себя подкупить.

Чуть более позитивный сценарий: Тибет (а также Синьцзян, преимущественно мусульманский регион на северо-западе, куда я держу путь по трассе 312) станут чем-то вроде Шотландии в составе Соединенного Королевства. Шотландцы сохранили свою идентичность и нелюбовь к англичанам,

но так долго прожили в стране, где господствуют англичане, и Англия с Шотландией настолько интегрированы, что шотландские партии, ратующие за независимость, традиционно не пользуются особой популярностью даже на выборах. Впрочем, к нынешнему положению дел шотландцы шли триста лет.

Как бы то ни было, в Тибете и районах вокруг него, населенных преимущественно тибетцами, происходят неизбежные перемены — не только китаизация, но и глобализация. Конечно, для экономики было бы полезно, если бы нововведения приносили выгоду не только китайцам, но и тибетцам. Беда в том, что тибетская культура уже превращается в некое подобие индейской. Чувствуешь себя в этнопарке, где разрешаются и даже поощряются сугубо внешние элементы культуры аборигенов, если, конечно, они вписываются в культуру завоевателей. Переговоры Пекина с представителями стареющего Далай-ламы (планировалось достичь соглашения, которое отчасти спасет тибетскую культуру), застопорились. А однажды — наверное, совсем скоро — Далай-лама умрет, его преемника отыщут под руководством китайцев, и всё.

Итак, процессы китаизации и глобализации наверняка продолжатся. И тибетцам придется выбирать: либо нонконформизм и национальная самобытность в нищете, либо интеграция, частичная потеря идентичности и вступление на путь среднего достатка. Какую дорогу выбрал Сяо Линь, очевидно. Я благодарю его за откровенность, и мы прощаемся на автовокзале.

Я еду назад в Ланьчжоу — погуляю по городу и по берегам Хуанхэ, а затем отправлюсь на северо-запад, в пустыню Гоби.

В ожидании автобуса я наблюдаю, как обедают шоферы. Все они — мусульмане-хуэй. Они хохочут, перешучиваются, подкалывают друг друга, а затем и меня, когда я заговариваю с ними по-китайски. Даже когда разговор неизбежно скатывается на англо-американское вторжение в Ирак и политику на Ближнем Востоке, никакой неприязни ко мне лично я не чувствую.

— Ваш премьер-министр и этот злой президент Буш убивают в Ираке наших тунбао. Наших братьев, — говорит один из шоферов, молодой, круглолицый, в грязных ботинках. Он сообщает мне, что его дядя работает в Багдаде, водит грузовик. Поманив меня пальцем, достает из кармана и показывает мне под столом ламинированное фото Усамы бен Ладена.

— Вам нравится Усама? — спрашиваю я.

— Да, — говорит он с улыбкой. — Нам нравится Усама. <...>

Глава 15
"Мы *хотим жить*!"

Я всегда применял к Китаю теорию Вуди Аллена. Помните слова этого самого знаменитого из нью-йоркских пессимистов: "Восемьдесят процентов успеха — в том, чтобы просто прийти на работу". С современным Китаем то же самое: достаточно туда приехать. Пусть хоть один репортер попытается написать о Китае занудно — все равно не получится! В Китае почти все ошеломляет и завораживает, в том числе потому, что страна абсолютно не походит на твои ожидания. Жизнь в этой стране — прекрасная возможность не только заполнить страницы своей записной книжки на буквы Ц и Ч, но и вверить себя счастливому случаю: утром выходишь на улицу, ничего толком не планируя, и действуешь по обстоятельствам. И почти всегда оказываешься в совершенно непредсказуемом месте.

Когда я говорил пекинским друзьям, что прокачусь по трассе 312 с востока на запад, меня иногда спрашивали, много ли встреч и интервью я загодя назначил. И действительно, кое-кому я звонил заранее, постарался организовать интервью на темы, которые непременно хотел осветить. Если бы не занятость, я бы, наверно, подготовился основательнее. Но в любом случае от дефицита впечатлений не страдал бы: смотри вокруг да пиши. В основном я просто садился в автобус, такси, на верблюда — и вперед.

На китайских дорогах может случиться все что угодно, да, собственно, и случается. Правда, день на день не приходится. Один из самых необычайных двенадцатичасовых промежутков моей поездки начался долгим летним днем в грязном гостиничном номере без полотенец, в центре города Миньцинь.

Я знал, что выезжать надо спозаранку, а потому не задернул занавески на ночь. Кондиционера в номере не имелось, ночь выдалась душная, но рисовая водка помогла крепко заснуть. Оранжевое зарево зари, постепенно заполнившее небо над этим незапоминающимся городом, расшевелило меня не сразу. Я принял холодный душ (горячей воды тоже не имелось), расплатился и отправился на автовокзал. Автовокзалы всегда просыпаются рано.

Шоферы перебивают друг у друга клиентов. Некоторые уже грузят багаж на крышу своих автобусов. Пассажиры сидят у маленьких лотков с едой перед главным корпусом автовокзала: в ожидании рейса едят жареные пирожки с бобовой

начинкой или вареные пельмени. Валит пар от котлов и воков[1] бродячих торговцев.

Из Миньциня можно уехать только в одну сторону — на юг, по узкому коридору зеленой плодородной земли, который упирается в трассу 312. Присутствие пустыни тут ощущается: она словно бы за углом, словно бы подстерегает повсюду, — но только полоумный, или монгол-кочевник, или полоумный монгол-кочевник найдет причину отправиться из Миньциня на север, вглубь пустыни Гоби.

Автобус идет в город Цзинчан — это на трассе 312 к северо-западу, поэтому вместо того чтобы доехать до Увэя и повернуть направо, он описывает по сельской местности гипотенузу: катит по узкой дороге, обсаженной длинными и тонкими деревьями. Иногда попадаются саманные домики: льнут к дороге, точно железные опилки к магниту. Выбрав место наудачу, я оказался соседом местного жителя лет сорока. У него свое небольшое дело: торгует в Миньцине и Цзинчане пшеницей и рисом. Выясняется, что я первый иностранец, с которым ему довелось познакомиться. Он мужественно терпит полторы минуты, но все-таки начинает с любопытством теребить светлые волоски у меня на руке. Следует обычный набор вопросов — мол, нравится ли мне в Китае. Вскоре заходит разговор о том, сколько у меня детей.

— Двое.

— А еще детей собираетесь завести? — спрашивает он.

— Может быть.

— Значит, в вашей стране не ограничивают количество детей на семью?

— Нет, это каждый решает сам, — говорю я. — В нашей стране государство не может вмешиваться в частную жизнь граждан. — На таких вещах я всегда стараюсь сделать упор: вношу свой скромный вклад в приближение революции.

И тут вмешивается женщина, сидящая по ту сторону прохода. Она, как и остальные пассажиры, прислушивалась к моей беседе с соседом.

— Иметь больше двух детей неправильно, — говорит она.

— Простите, что вы сказали? — переспрашиваю я самым фальшиво-учтивым тоном, на который способен.

— Иметь больше двух детей неправильно, — повторяет она.

— Мне кажется, вы могли бы сказать, что не одобряете этого или что сами не стали бы рожать больше двоих. Но нельзя говорить, что это неправильно, — и я улыбаюсь ей.

1. Вок — глубокая чугунная сковорода для приготовления традиционных китайских блюд, жаренных в масле.

Она улыбается в ответ — так улыбаются многие немолодые китайцы, прежде чем снисходительно разъяснить иностранцу его ошибку. Волосы у нее крашеные, черные, коротко стриженные, у корней седые. Одета незатейливо, в коричневую блузку и брюки. Типичная благонамеренная китаянка средних лет из "потерянного поколения" культурной революции. Ей то ли сорок пять лет, то ли все пятьдесят пять. Приветлива, но категорична. Нет сомнения, сейчас она прочтет мне нотацию о моральной распущенности на Западе, или о том, как мне воспитывать моих детей, или, как в данном случае, о том, сколько детей следует иметь.

— Почему вы говорите, что это неправильно? — интересуюсь я.

— Потому что я работаю в отделе планирования семьи, — отвечает она с гордостью.

— Значит, вы врач?

— Да, я ведаю планированием семьи в этом уезде.

— И вы ездите и проводите в жизнь политику "одна семья — один ребенок"?

— Да.

До меня начинает доходить, что именно входит в ее профессиональные обязанности. Ее сопровождают две молодые медсестры, лет двадцати шести — тридцати двух. Одна сидит рядом с врачом и держится очень чинно, другая за спиной у врача, вся подалась вперед: жаждет включиться в нашу беседу.

— Значит... вы ездите и осматриваете женщин? — я понемногу подбираюсь к теме, которая занимает меня по-настоящему.

— Да. Сейчас как раз для этого и едем.

— А что происходит, если вы обнаруживаете беременных женщин, которым не положено быть беременными?

— Пытаемся убедить их сделать аборт.

— А если они не соглашаются?

— Приходится заставлять, — говорит она и, немного помедлив, продолжает: — Видите ли, чжун го жэнь тай до лэ — китайцев слишком много.

В Китае так говорят все. Не спорю, так оно и есть, китайцев действительно слишком много. Вот только эта мысль вколочена в головы многолетней пропагандой и стала настоящей мантрой. Вдобавок моя собеседница не просто считает, что китайцев чересчур много, но и решает эту проблему по долгу службы.

— Но как вы их заставляете? Что, если они не соглашаются идти в больницу?

— В каждом городе или уезде есть специальный отдел полиции, который обязывает людей выполнять законы о планировании семьи. Полицейские идут к женщине домой, и, если она не идет добровольно, ведут ее в больницу силой.

В крупных городах, да и в маленьких, многие чиновники из управлений планирования семьи сознают: обсуждать подобные темы с иностранцами не следует. Они знают (хотя и не всегда понимают почему), что на Западе эта политика воспринимается болезненно и навлекает на Китай критику. Но моя собеседница высказывается без стеснения.

— Но что, если женщина, которой не положено беременеть, уже на девятом месяце? — спрашиваю я.

— Ей... — моя собеседница взмахивает руками перед своим животом: словно бы что-то смывает потоком воды.

— Но это живой ребенок, он мог бы родиться и выжить, — и у меня перехватывает горло.

Женщина, передернув плечами, едва заметно улыбается:

— Чжун го жэнь тай до лэ. Китайцев слишком много.

О таких случаях я наслышан. Собственно, общеизвестно, что с тех пор, как на рубеже 70—80-х ввели политику "одна семья — один ребенок", принудительные аборты (даже в третьем триместре беременности) и стерилизация стали обычным явлением. Но я еще не встречал никого, кто бы собственноручно проводил эти операции.

— Значит, вам приходится делать эту операцию самой?

Похоже, ее не коробят мои вопросы.

— Да, — говорит она с легким смешком.

Китайский смех многозначен. Не поймешь, что выражает ее смешок — то ли гордость, что благодаря ее усилиям население Китая не выходит за лимит, то ли стыд, что приходится заниматься такими вещами.

— Но разве вам не кажется, что это... немного жестоко? — задавая этот вопрос, я невольно морщусь.

Она снова улыбается:

— Ши бияо дэ. Так надо. Чжун го жэнь тай до лэ. Китайцев слишком много.

Я оборачиваюсь к молодым медсестрам, надеясь прочесть на их лицах, что они-то не причастны к подобным зверствам. Может быть, они просто присутствуют, но не участвуют.

— Но как вы, собственно, это делаете? Как убить восьмимесячного ребенка?

Одна из медсестер нерешительно поясняет:

— Делаем укол в матку матери, и он убивает ребенка.

— Но она все равно должна его родить, правда?

— Да. Иногда ребенок не умирает в матке и рождается еще живым. Но мы его не трогаем... и он...

Медсестра (позднее я узнаю, что у нее самой есть маленький ребенок) слегка морщится и умолкает не договорив, словно разрывается между материнскими чувствами и тем, что, как ей объяснили, составляет ее долг перед страной.

Я цепенею от ужаса. Очевидно, я в этом не одинок. Щуплый остроносый мужчина, похожий на мышонка, — мой сосед сзади — слышал весь разговор с начала до конца.

— Чжун го жэнь хуай то лэ, — бормочет он. — Китайцы слишком злые.

— Простите? — мне кажется, что я ослышался.

Он лишь качает головой — не хочет ввязываться в спор — и отворачивается к окну, смотрит на чахлые кустарники пустыни, крепко обнимая за плечи восьмилетнего мальчика, что сидит рядом.

— И часто вам приходится это делать? — снова оборачиваюсь я к врачу.

— Намного реже, чем раньше. В 80-х делали все время. Теперь люди мыслят по-другому, сами не хотят иметь много детей. Осознают преимущества.

— Но в последнее время вы такие операции делали? — допытываюсь я.

— За последние две недели — нет.

Она не сознает, что выдает секретную информацию. В ее глазах все, чем она занимается, — разумно, патриотично, добродетельно. Когда я спрашиваю, не противоречит ли это ее материнским чувствам (у нее двое взрослых детей, сообщила она мне, они появились на свет тогда, когда рождаемость еще не ограничивали), она даже не понимает моего вопроса. Китайцы смотрят на Запад — на беременности несовершеннолетних и все, что это влечет за собой, — и дивятся: о чем мы только думаем, зачем допускаем то, что можно предотвратить несложной медицинской процедурой?

От знакомых китайцев из деревень я слышал (хотя фактическими доказательствами не располагаю), что чиновники из отдела планирования семьи держат в операционной, где делают принудительные аборты, ведра с водой и что детей, которых не убил укол, в этих ведрах топят. Я уже собираюсь спросить врача об этом, но тут автобус резко тормозит, и все три женщины — врач и месдестры — встают и направляются к дверям, улыбнувшись мне на прощанье.

Меня подмывает броситься вслед за ними, но они уже выходят. Это маленькая захолустная деревня. Мне пришлось бы забрать из багажного отсека рюкзак и уговорить их, что-

бы они взяли меня с собой в больницу. Вряд ли они согласятся. Приедут полицейские, попросят паспорт, а в паспорте у меня журналистская виза. Пока я колеблюсь, автобус трогается. Выглядываю в окно: мои попутчицы уже подхватывают сумки.

Сижу, злюсь, жалею, что не сошел вместе с ними.

Пожалуй, больше всего меня шокирует то, что врач — самая обычная женщина средних лет. С виду в ней нет ничего злодейского или бесчеловечного. У нее есть дети. Возможно, есть и внуки. Но она прилежно проводит в жизнь жестокую политику, и, кажется, на душе у нее совершенно спокойно: точно она, к примеру, планирует пропускную способность дорог. Каким образом китайские власти заставляют людей творить такое? Что побуждает мать двоих детей забыть о гуманности и думать, будто, убивая нерожденных детей, она выполняет свой патриотический долг?

Несмотря на все перемены, несмотря на яркие огни Шанхая, Нанкина и Сианя, государство в Китае по-прежнему превыше всего, и в тех вопросах, которые для государства важны, граждане ему повинуются безоговорочно. Права личности в Китае по-прежнему мало что значат.

Автобус, дребезжа, катит дальше по краю пустыни, а внутри у меня все кипит от ненависти к Китаю. Это один из тех моментов, когда я искренне рад, что уезжаю отсюда. <...>

В Цзинчане, еще одном жалком городке посреди пустыни, я пересаживаюсь на другой автобус. Еще два часа — и я в Юнчане, в нескольких милях от деревни, жители которой рассказывают удивительные истории о своей родословной.

В древние времена Шелковый путь к западу от Ланьчжоу представлял собой просто дорогу посреди голой степи. Сыны Желтого Императора не покидали обжитых мест в Восточном Китае, а здесь, на западе, где кончалась так называемая цивилизация и начиналось так называемое варварство, ханьцы обосновывались редко — разве что их сюда ссылали. Зато другие народы постоянно мигрировали, и переселения по Шелковому пути превратили северо-западный Китай в настоящий водоворот этносов. Пожалуй, самые интригующие истории о родословной можно услышать в одной деревеньке в центре провинции Ганьсу, в тени западного отрезка Великой Китайской стены. Деревня — она, кстати, совсем неподалеку от трассы 312 — называется Лицянь. А ведь именно так древние китайцы называли Рим. Некоторые историки, а теперь и некоторые местные жители, утверждают: лицяньцы —

потомки римлян из легиона, который занесло в Китай две тысячи лет назад.

Впервые эту версию высказал оксфордский профессор, носивший гордое прозвание Гомер Гейзенпфлаг Дабз[1]. В 1955 году он прочел в Китайском обществе в Лондоне лекцию, где утверждал, что в 53 году до нашей эры, когда парфяне разбили римлян в битве при Каррах (это на современной территории Турции), некоторых римских легионеров взяли в плен и увели в Центральную Азию, где их, в свою очередь, захватили китайцы и отправили в Китай.

Всю эту теорию Дабз основывал на паре довольно расплывчатых упоминаний в трудах китайских историков. Во-первых, на том, что в Китае использовалось боевое построение войск, похожее на древнеримское, во-вторых, на схожем типе построек. Увы, других доказательств не нашлось.

Но о "пропавшем легионе" писала даже официальная китайская пресса: его восхваляли как свидетельство контакта двух великих цивилизаций две тысячи лет назад. Вот я и решил заглянуть в Лицянь.

Лицянь — маленькая пыльная деревушка с немощеными дорогами. Мне попался мужчина, который ехал на синем тракторе с прицепом, отравляя чистый деревенский воздух дымом. Я помахал ему, он притормозил. Волосы у него были чуть светлее, чем у большинства китайцев, нос — не то, чтобы орлиный, но с горбинкой. Тракторист уставился на меня необычайно зелеными глазами.

С моего языка едва не слетает: "Ave. Civis Romanus sum"[2].

Но вместо этого я интересуюсь:

— Извините, вы случайно не римлянин?

— Шэммэ? — изумляется тракторист, щурится, внимательно разглядывая меня против солнца. — Что вы сказали?

— Ну, знаете, римляне, у них глаза зеленые и тому подобное, — упорствую я.

— А, римляне, — тут до него доходит. — Кэнэн. Может быть.

— Кэнэн, но вы не уверены? — переспросил я.

— Во-во, — и он чуть шутовски улыбается. — Ю жэнь шо. Так люди говорят.

Больше ему сказать нечего.

1. Гомер Гейзенпфлаг Дабз (1892–1969) — американский ученый, один из основоположников синологии в США, переводчик. Преподавал в университетах США, а затем в Оксфордском университете.

2. "Приветствую. Я — римский гражданин" (*лат*). Формула "Я — римский гражданин" в античную эпоху заключала в себе самоутверждение римского гражданина как носителя неотъемлемых гражданских прав. "Возглас: 'Я — римский гражданин' многим на краю света среди варваров приносил помощь и спасение", — писал Цицерон.

Я опросил еще нескольких прохожих, и все они имели не более четкие представления о своих гипотетических древнеримских корнях. Античным — да и то с большой натяжкой — в этой деревне был лишь жалкий маленький портик, воздвигнутый местной администрацией: ложноклассические колонны и каменная стела, на которой высечена китайскими иероглифами краткая история "пропавшего римского легиона в Китае".

Очевидно, это лишь смелая попытка оксфордского профессора и кучки амбициозных чиновников доказать былые связи великих империй. Сам я заметил лишь, что у многих лицяньцев зеленые глаза — как, впрочем, и у многих таджиков, уйгуров, персов и пуштунов. Подвернув, так сказать, тогу, чтобы не путалась в ногах, я снова забрался в такси и вернулся в Юнчан, а оттуда отправился на маршрутном такси в Чжанъе. <...>

На арке у въезда в город написано "Золотой Чжанъе". Это, пожалуй, перебор, но, несмотря на изолированное местоположение посреди пустыни Гоби, Чжанъе (население 114 тысяч человек) не выглядит отсталым. Типичный китайский город средней величины. В магазинах полки ломятся от товаров широкого потребления (правда, не столь сверхсовременных и дорогих, как на востоке), по улицам ездят легковые машины, строятся новые многоэтажки, в ресторанах все столики заняты. Вдобавок повсюду висят огромные рекламные щиты с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли — афиша их нового фильма "Мистер и миссис Смит". Итак, Чжанъе — симпатичный, деловитый при всей своей изолированности город-оазис, живое свидетельство возрождения Шелкового пути.

Марко Поло писал, что жил в Чжанъе (он называет его то Канчипу, то Канчипион). Было это на излете предыдущего расцвета Шелкового пути — в XIII веке. Затем в Китай проложили более короткие пути, и караванная дорога захирела. Марко Поло сообщил, что прожил здесь целый год. Не знаю уж, чем он занимался. Я собирался провести в этом городе только вечер и ночь. Но вечер оказался волшебный.

Моторикша отвез меня с автовокзала в отель "Чжанъе". Покровительственным тоном белого человека спрашиваю у портье, понимает ли он, что я имею в виду под словами "Мне нужно воспользоваться Интернетом".

— В каждом номере широкополосный доступ, сэр, — отвечает он.

Забрасываю рюкзак в номер и опять выхожу на улицу — ищу, где бы поужинать.

В Чжанъе я увидел, наверно, самую громадную городскую площадь, если не считать Тяньаньмэнь. Неподалеку возводится большая католическая церковь — уже почти готова. Интересно, кто финансирует строительство? В тени церкви, на обочине дороги, какая-то старушка сжигает жертвенные бумажные деньги. За ней наблюдает ребенок — внук, наверное. Вероятно, сегодня какой-то особый день поминовения.

Я останавливаюсь. Ко мне подходят двое мужчин.

— Вы у себя такого не делаете, в своей Америке? — спрашивает один (меня вечно принимают за американца), указывая на костер из жертвенных денег, пылающий на асфальте.

— Не делаем, — подтверждаю я. — И до сегодняшнего дня я не видел, чтобы такое делалось у вас в Китае.

— И все же старые обычаи отмирают медленно, — улыбается второй.

Им обоим лет по тридцать. Для города-оазиса посреди Гоби они одеты, пожалуй, слишком чопорно — в костюмах, при галстуках. Очевидно, куда-то идут по делу. Тот, что старше и посмелее, представляется:

— Мы — местные торговые представители "Ань Ли".

— "Ань Ли"?

Он показывает мне свою сумку. На ней значатся китайские иероглифы "Ань Ли", а ниже — название компании по-английски, "Амвэй"[1].

— "Амвэй"? Американская "Амвэй"? Прямые продажи?

— Да, — широко ухмыляется он. — Вы знаете нашу компанию!?

— Конечно, знаю, просто я не ожидал встретить представителей "Амвэй" посреди Гоби.

— Наш офис появился здесь всего три года назад, — сообщает он. — Но дело пошло очень хорошо.

Я говорю им, что еще не ужинал, и спрашиваю, не желают ли они составить мне компанию. Как водится у китайцев, они вызываются меня угостить, и мы направляемся в лапшевню, где подают сунь цзи чао пао, местное фирменное блюдо вроде лапши с рубленым мясом. Свободных столиков нет, усаживаемся за огромный круглый стол: наша троица с одного бока, какое-то семейство — с другого. Вскоре приносят лапшу, присыпанную тонко нарезанным мясом.

Старший представляется: его зовут Жэнь Вэй, он ханец, ему тридцать пять лет. У него широкий лоб, копна густых черных волос и лицо прилежного школьника. Жэнь вырос в

1. Американская компания, торгующая косметическими и гигиеническими средствами, хозяйственными товарами по принципу прямых продаж.

Синьцзяне — это еще дальше к северо-западу вдоль трассы 312. Пять лет проработал на заводе в своем родном городе, еще более захолустном, чем Чжанъе. Там много лет прослужил его отец. Но, как и многие китайцы из маленьких городков, Жэнь стремился к большему. "Там я не мог реализовать свой потенциал", — поясняет он.

Жэнь переселился в Чжанъе и стал торговать пиратскими ди-ви-ди по юаню штука. Ему нравилось, что он сам себе хозяин. Накопил немного денег.

А потом совершил крупную оплошность — вложил все сбережения в туризм: соорудил юрты и шатры, где могли бы останавливаться туристы. Фирма прогорела, и он вернулся в Чжанъе искать работу. Работал в самых разных компаниях, в том числе очень известных — "Вахаха", "Цзяньлибао", даже в "Спрайте", но его это совершенно не устраивало. Даже если благодаря ему прибыль компании росла, сам он с этого ничего не имел.

Об "Амвэй" Жэнь услышал от друга, увязался за ним на собрание торговых представителей. Это было всего девять месяцев назад, но он уже привязался к компании всей душой. Чуть ли не трепеща от предвкушения, говорит о своей новой карьере — о том, сколько можно заработать, какие возможности открываются.

Достает свою государственную лицензию на работу и взмахивает ею.

— Вот мой офис! — восклицает он с улыбкой, одним жестом перечеркивая шестьдесят лет плановой экономики. — Эта бумага — все, что мне нужно.

Его друг Ли Цайцзинь, которому всего двадцать шесть, — щуплый и тихий. Раньше он работал в конторе государственной железнодорожной компании. Говорит, что приходил на работу и читал газеты, пил чай: почти весь день сидел сложа руки, как очень многие служащие государственных организаций. Он тоже пришел в "Амвэй" недавно. А вот их наставник — Жэнь и Ли называют его "учитель Ху" — теперь, после всего трех лет стажа, зарабатывает две-три тысячи долларов (в пересчете на китайские деньги) в месяц, колоссальная сумма для любого района Китая.

— Он ездит отдыхать, куда захочет, у него новый дом, отличная машина. Потрясающе, — говорит Жэнь и достает из сумки каталог товаров "Амвэй", которые продаются в Китае. — Конечно, у нас не такой широкий ассортимент, как в Штатах, — поясняет он, — но он быстро растет, а производятся все товары в Китае, на фабрике в Гуандуне, это очень удобно.

Он вынимает из кармана спрей-ароматизатор дыхания.

— Мы, китайцы, любим есть цельный чеснок, знаете ли, — сообщает он. Неужели думает, будто иностранцы этого не замечают? — Купите спрей-ароматизатор дыхания "Амвэй", и он уничтожит запах.

Он прыскает в рот немного спрея, прячет флакончик и снова принимается за лапшу, обильно сдобренную чесноком.

Повисает недолгая пауза. Мы все придвигаемся к столу, подносим к губам миски, хлебаем горячий мясной навар.

— А о чем вы мечтаете? — спрашиваю я Жэня.

— Я мечтаю быть таким, как вы, — отвечает он. — Постоянно вижу ваших — молодых западных людей, туристов с рюкзаками. Вы совсем молодые, но очень независимые, и у вас нет никаких забот. Просто путешествуете с рюкзаками по Китаю. Вот чем я хочу заняться. Поехать путешествовать по вашей стране и по всему миру.

Ли настроен прагматичнее. Он говорит, что его мечта — распространить товары "Амвэй" во всем мире:

— Мы говорим друг другу: "Амвэй" родилась в США, получила развитие в Японии, достигла зрелости в приморских городах Китая, но своего подлинного хуэйхуан — зенита — она достигнет во Внутреннем Китае, в городах вроде Чжанъе. Этот рынок — воистину перспективный.

Он говорит с чуть ли не проповедническим пылом, и я осознаю, что мечта прорваться на рынок Китая, дезодорировать два миллиарда подмышек и освежить дыхание миллиарда едоков чеснока свойственна не только западным бизнесменам. Китайским бизнесменам она тоже не чужда.

Мы одновременно подносим миски ко рту и дохлебываем остатки: шумно, в унисон. Ужин съеден. Жэнь спрашивает, не хочу ли я зайти к ним в офис, это неподалеку. Сегодня у них собрание. Я соглашаюсь — в Китае я вообще не отказываюсь от приглашений, куда бы ни звали. Жэнь настаивает на том, что заплатит за всех, и мы уходим.

— Кстати, — спрашиваю я, — а что это за мясо подавали с лапшой?

— Мясо осла.

Мы идем в офис "Амвэй" мимо афиш с Брэдом и Анджелиной. Офис на четвертом этаже в доме без лифта. Там уже ожидают еще шесть торговых представителей: трое мужчин и три женщины, такие же рьяные, как Жэнь Вэй. Все мужчины одеты одинаково: элегантные рубашки с галстуками, темные брюки. Женщины в менее унифицированной одежде, но стиль единый: неброские брючные костюмы. Насколько я

могу судить, китаянки редко носят юбки. Здесь же Учитель Ху — видимо, тот самый человек, благодаря которому "Амвэй" пришла в Чжанъе. Все жмут мне руку, приветствуют, говорят: "Присаживайтесь, пожалуйста". Оказывается, сегодня собрание для вербовки новичков: каждый торговый представитель привел одного или нескольких друзей.

Начинается нечто экстраординарное. Торговые представители один за другим встают, рассказывают, чем занимались прежде, и заявляют, что только узнав об "Амвэй", открыли для себя свое настоящее призвание: теперь они зарабатывают по тысяче долларов в месяц. Слушатели выкрикивают: "Дуй! Дуй!" ("Да! Да"), точно верующие — "Аминь!"

Наконец встает сам Учитель Ху, а Жэнь Вэй начинает ритмично хлопать в ладоши, точно на бейсбольном матче: "Раз-два... раз-два-три... раз-два-три-четыре... хлоп-хлоп".

— Нельзя выбрать себе место рождения, но можно выбрать себе будущее, — басит Учитель Ху, его паства вполголоса вторит: "Дуй! Дуй!"

— Не соглашайтесь на чабудо — на "более-менее нормально", — говорит он. — Вы достойны большего.

Два десятка китайцев в запущенном офисном здании в маленьком городке в пустыне Гоби сидят и слушают, как пожилой бывший учитель проповедует им Великую Китайскую Мечту:

— Вам это тоже по силам. Вы тоже можете преуспеть. Вы тоже можете стать хозяевами своей жизни. Вы тоже можете приобрести машину, квартиру, уважение.

Слушатели внимают и мотают на ус, а завтра с утра станут трудиться ради воплощения принципов, о которых узнали здесь. Для тех, кто ловит за хвост удачу, эти принципы — одна из примет колоссальных перемен в Китае. Отныне можно не только мечтать, но и воплощать мечты в жизнь. Именно эта возможность начинает преображать Китай: мало-помалу, одного человека за другим. Преображать страну, формировать новую нацию: нацию индивидов, которые постепенно становятся хозяевами своей судьбы.

Под конец все аплодируют друг другу. Учитель Ху благодарит собравшихся за участие и объявляет, что теперь мы разобъемся на группы по пять человек, перезнакомимся и обсудим результаты собрания.

— Время поделиться своими ощущениями, — говорит он.

Два с половиной тысячелетия конфуцианства и шестьдесят лет коммунистической власти означают, что китайцы не привыкли делиться своими ощущениями в том смысле, в ка-

ком это совершенно естественно для американцев. Китайцы — наподобие британцев, если не хуже: начисто избегают распространяться о своих подлинных чувствах. Возможно, потому-то многие британцы и оседают в Китае надолго: им приятно, что на свете нашелся еще один патологически замкнутый народ.

Четыре группы по пять человек (и один слегка ошалевший от увиденного иностранец) расходятся по разным углам, собираются в кучки и начинают делиться ощущениями.

Женщина с длинными черными волосами, в больших очках, говорит, что пришла сюда впервые и ей очень интересно. Другая женщина так оробела, что двух слов связать не может. Один из мужчин говорит, что теперь яснее видит свои недостатки, произносит совершенно нехарактерный для китайца монолог — признает, что ему нужно дерзнуть и ухватить свой шанс, поработать на себя. Я кратко рассказываю о целях своего путешествия и прошу разрешения описать моих собеседников в книге. Похоже, эта перспектива всех воодушевляет, и я благодарю присутствующих за гостеприимный прием.

Когда собрание заканчивается, Жэнь Вэй и Ли Цайцзинь провожают меня по лестнице до выхода на улицу.

— Нет-нет, я и сам дойду, — говорю я, но они с подлинной, отменной китайской учтивостью настаивают на своем.

— То что вы здесь делаете — очень здорово, — говорю я им. И ничуть не лукавлю: меня захватила пылкая атмосфера вечера.

— Понимаете, — говорит Ли, сжимая мой локоть чуть крепче, чем следовало бы, пока мы спускаемся по лестнице и шаги гулко отдаются в пустоте, — мы хотим жить. Сейчас у нас не жизнь, а всего лишь шэнцунь — *существование*. Мы хотим шэнхо. Мы хотим жить! Понимаете? Мы хотим жить по-настоящему!

Эта фраза врезалась в мою память крепче всего другого, услышанного в путешествии. Вряд ли можно лучше резюмировать задачи нынешней фантасмагорической китайской революции XXI века.

— О'кей, значит, увидимся в Нью-Йорке, или в Лондоне, или в Париже! — я улыбаюсь им, и мы пожимаем друг другу руки. Собеседники улыбаются в ответ, и у подъезда мы расстаемся. Я возвращаюсь в отель, вдыхая теплый вечерний воздух, спрашивая себя: "Зачем я только уезжаю из этой замечательной страны?", размышляя о Великой Китайской Мечте и о Великой Американской: возможно, первая приняла эстафету у второй? <...>

Глава 16
Уважение

Шоссе отделено от полупустыни колючей проволокой. За изгородью бродят небольшими стайками люди, глядящие себе под ноги. Иногда наклоняются и выдирают из сухой земли какие-то зеленые кустики.

— Что они делают? — спрашиваю я.

— Собирают фацай, — отвечает мне один из попутчиков, молодой агент по торговле семенами. Он вынужден кричать: окна открыты, по салону автобуса гуляет теплый ветер. — Такая съедобная трава. Ее поставляют в Гонконг.

— Вкусная?

— Не очень. Но ее название созвучно со словом "богатеть" на кантонском диалекте, и гонконгцы любят ее жевать. Они очень суеверные.

По салону ходит кондукторша, собирает деньги за билеты. Ногти у нее разрисованы замысловатым узором из множества завитушек, лицо красиво накрашено, и вообще она выглядит слишком шикарно, чтобы продавать билеты в междугороднем автобусе в пустыне Гоби. Родись она не здесь, снималась бы в Голливуде. Ловлю на себе взгляд молодой женщины с маленьким ребенком: она на меня оглядывается. Женщина застенчиво улыбается.

— Ваш ребенок такой толстый! — говорю я ей.

Ее лицо светится от гордости.

— Что вы думаете о Китае? — неожиданно спрашивает у меня второй агент по торговле семенами, постарше. Он представился как Чжоу. Лысоватый, лицо добродушное.

— Во хэнь сихуань, — отвечаю я, глупо улыбаясь. — Мне тут нравится.

— А что думает о Китае большинство людей на Западе? — интересуется молодой. Я объясняю, что Запад слегка озадачен: казалось бы, совершенно капиталистическая страна, но у власти компартия.

— Мы все озадачены, — замечает Чжоу, улыбаясь. — Для многих сейчас время путаницы. Столько перемен.

Повисает пауза. Мне надоело задавать всем одни и те же вопросы, и я пытаюсь придумать что-нибудь новенькое.

— Чего бы вам больше всего хотелось от Запада? — спрашиваю я у Чжоу.

Он отвечает без раздумий:

— Больше всего мы хотим уважения, — выпаливает он, точно всю жизнь дожидался, пока об этом спросит какой-нибудь

иностранец в автобусе. — Да, больше всего на свете мы хотим уважения. Я хочу поехать за границу, точно так же, как вы приезжаете сюда. Вы приезжаете в Китай, и мы вас уважаем, потому что вы богатые и цивилизованные. Я тоже так хочу. Я хочу поехать в вашу страну, и чтобы меня там уважали, и взяли бы на хорошую работу, и чтобы не смотрели на меня свысока.

Пожилые супруги, сидящие по соседству, словно бы слегка ошарашены пылом и красноречием Чжоу, но одобрительно кивают. И все другие пассажиры — тоже.

Снова пауза. За окном тянется пустыня. Качество нового шоссе — и на этом отрезке, и по всей протяженности трассы — уже подсознательно рождает во мне что-то вроде уважения, которого жаждет Чжоу.

— А еще мы хотим мира, — добавляет он.

— Вы, американцы, любите наживаться на войне, правда? — внезапно спрашивает пожилая дама.

Я пытаюсь разъяснить, что на Западе большинство людей не хочет наживаться на войне — они зарабатывают на жизнь в поте лица. Правительства, затевая войны, преследуют некие цели, которые, по сути, не имеют никакого отношения к простым людям. Рядовые люди тоже хотят мира. В Америке и Европе многие выступали против войны в Ираке, сообщаю я.

Собеседница смотрит на меня пристально, сурово: ей явно мерещатся раненые мирные иракцы, которых все время показывают в новостях по китайскому государственному телевидению.

Молодой торговый агент оборачивается и улыбается мне:

— Мы, китайцы, изобрели порох, но это вы, западные люди, изобрели пушку и пришли сюда с пушками нас убивать. Мы, китайцы, изобрели компас, но вы, западные люди, воспользовались им, чтобы приплыть на восток и оккупировать наши земли.

Пассажиры снова улыбаются и кивают. В голосе молодого человека и в кивках окружающих нет ни малейшей враждебности. История есть история. Историю не изменишь.

— Как, по-вашему, Китай постепенно начинают уважать? — спрашиваю я у Чжоу.

— Да, но потребуется еще очень много времени.

— Сколько?

— Не меньше двадцати лет, — отвечает он.

Вокруг снова молча кивают.

— Китайцы — люди очень терпеливые, правда? — предполагаю я.

— Да, терпеливые, — подтверждает Чжоу.

Китай жаждет уважения, и одно из самых ярких олицетворений этого — космодром Цзюцюань. Сами посудите: в октябре 2003 года Китай запустил человека в космос — совершил то, что прежде удалось лишь двум странам, да и то сверхдержавам "холодной войны": СССР и США. Если вам нужны доказательства того, что Китай хочет сделаться новой сверхдержавой во времена, когда сто миллионов китайских граждан все еще живут максимум на доллар в день, а остальные страны сокращают свои космические программы, то запуск пилотируемого космического корабля — это весьма символично.

"Цзюцюань" значит "источник с вином": странное название для города в пустыне на краю Центральной Азии, населенной преимущественно мусульманами. На старом Шелковом пути он играл важную роль как оазис, где останавливались отдохнуть. Теперь же люди здесь обосновываются и пользуются новыми возможностями благодаря колоссальному космодрому в пустыне, в ста милях от города. Здесь тоже стремятся к среднему достатку. Предместья Цзюцюаня — этакие джунгли из строительных кранов и новых микрорайонов. В витринах универмагов полно мобильных телефонов. Есть Интернет-кафе. Каждый житель постоянно на связи.

Один из резонов космической программы Китая — несомненно, опасения, что развернется гонка вооружений в космосе. Паранойя застарелая: наследие "опиумных войн", когда Китай дорогой ценой усвоил, что армия всегда должна быть готова отразить агрессию.

Но не менее важен и тот факт, что космические исследования — сфера престижная. Китайцы словно бы заявляют: "Вы там, на Западе, можете запускать людей в космос, а? Ну, а наша цивилизация — древнейшая в мире. Мы изобрели порох, компас и печатный станок, и человека в космос тоже запустить можем. Можем тягаться с вами в вашей собственной игре". Это помогает пробудить патриотическую гордость за свою страну и, следовательно, за компартию во времена, когда КПК утратила свою идеологическую легитимность.

Но не все китайцы уверены, что космические исследования так уж необходимы. А многие об этом судьбоносном достижении даже не знают. Когда в 2003 году на околоземную орбиту был выведен "Шэньчжоу-5" — первый китайский пилотируемый космический корабль, я взял вполне предсказуемые интервью у молодых китайских патриотов в пекинских университетах: распираемые гордостью, они говорили, что этот полет — яркий символ высокоразвитости и перспектив Китая. А потом я отъехал от Пекина на пятьдесят миль и

спросил у крестьянок, которые лущили кукурузные початки: "Что вы думаете о запуске 'Шэньчжоу-5'?"

— А что такое "Шэньчжоу-5"? — ответили вопросом на вопрос несколько женщин.

Я рассказал эту историю своему пекинскому коллеге, и он засмеялся:

— Я тебе кое-что почище расскажу!

Он отъехал от Пекина на сто миль и поинтересовался у пожилой четы крестьян, что они думают о полете китайцев в космос. Старик вытаращил глаза и спросил:

— А что такое космос?

Глава 19
Терпение

Я снова еду по трассе 312 на запад. Здесь она имеет всего одну полосу. Есть также заасфальтированная обочина для стоянки на случай, если, Боже упаси, случится поломка. Жалкая белая каемка пытается отделить асфальт от пустыни, но не всегда успешно. Скоро пересечем границу Синьцзян-Уйгурского автономного округа, который раньше называли Китайским Туркестаном. Иногда нас обгоняют автобусы или небольшие синие грузовики. Попадаются и громадные фуры, в три раза длиннее своих синих собратьев. Когда они проносятся мимо, воздушная волна сотрясает утлый "фольксваген", на котором меня везет таксист. Вдруг я вижу фуру, которая валяется на боку у дороги, в небольшом овраге, — точно кит выбросился на берег песчаного океана.

— Наверно, шофер заснул за рулем, — говорит таксист. В тени поверженной фуры сидят на корточках двое дальнобойщиков.

— Может, остановимся? Что, если им нужна помощь?

— Нет. К ним наверняка уже едут.

"Моя хата с краю" — таково и сегодня главное правило жизни в Китае. <...>

Пустыня здесь совсем другая: ни барханов из мелкого песка, которые я видел в Поющих Песках в Дуньхуане, ни голой затвердевшей почвы бежевого цвета, характерной для восточных районов Гоби. Земля здесь присыпана чем-то черным.

— Хэйша, — говорит таксист. Дословно "черный песок". — Это железная руда, — поясняет он. — Для переработки не годится: низкое качество, но кое-где тут ее все-таки добывают.

Он указывает на пустынные просторы к северу от дороги:

— Олово, алюминий, медь, железная руда, золото.

Нефть и газ уже перекачивают на восток — это топливо китайского экономического бума. Если тут будут обнаружены новые месторождения, они очень пригодятся Китаю: спрос на энергоносители только растет.

Синьцзян (что значит "новая граница") равен по площади Калифорнии, Техасу, Монтане и Колорадо, вместе взятым (или, если хотите, Великобритании, Франции, Германии и Испании). Будь он независимым государством, он занимал бы шестнадцатое место по площади в мире, но здесь всего двадцать миллионов жителей, преимущественно уйгуры — национальное меньшинство, с которым у Пекина больше всего сложностей.

Государственная пропаганда все та же, но язык другой. Две тысячи миль на дорожных указателях царили китайские иероглифы. А теперь они потеснились, уступая часть щитов арабским письменам — географическим названиям на уйгурском.

АКТИВНЕЕ РАЗВИВАЙТЕ ЭКОНОМИКУ ХАМИ[1]

БЕРЕГИТЕ ПОДЗЕМНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ НАШЕЙ РОДИНЫ

ЛЮБИТЕ СВОИХ ДОЧЕРЕЙ

Мой мобильник вибрирует: в Китае так всегда бывает на границе двух провинций. Пришло СМС: "Добро пожаловать в Синьцзян". И еще одно: "Ищете подарок? Хотанский нефрит — идеальный подарок на любой случай. Звоните немедленно".

Вскоре я прибываю в крохотный городок Синсинся — Звездное Ущелье (этот момент я уже описывал во введении). Здесь находился один из самых знаменитых пресноводных колодцев на Шелковом пути. Прогулявшись по ущелью, которому город обязан своим именем, захожу пообедать в придорожную закусочную. Синсинся мало похож на оазис: кажется, будто земля тут абсолютно бесплодна.

Хозяину закусочной, Лао Чжану, сорок пять лет, но выглядит он старше. Эту закусочную для дальнобойщиков он держит уже десять лет. Он ханец, родом из Турфана — города еще дальше к западу по трассе 312. Лао Чжан — человек жизнерадостный. Не требуется особого повода, чтобы его пухло-

1. Хами — город и округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

ватые губы раздвинулись в широкой улыбке, а живот затрясся от смеха.

Когда я вхожу, Лао Чжан готовит обед для двух дальнобойщиков. Он выглядывает в зал, улыбается мне, и я решаю зайти на кухню и поболтать с ним у газовой плиты. Окно широко распахнуто, но на кухне все равно жарко, как в аду, синие язычки пламени взбегают по бокам закопченного черного вока.

Я пристраиваюсь у открытого окна и задаю банальный вопрос:

— Как дела?

И тут Лао Чжана прорывает.

— Как дела? Как дела? Плохо, вот как. И знаете почему? Чиновники замуровали наш колодец. Колодец, который веками снабжал Синсинся водой, залили бетоном.

Он поднимает глаза от вока, подливает в масло соевый соус. Жаркое громко шипит.

— Здесь чиновники такие злые, такие подлые, просто не верится.

— Но зачем им понадобилось замуровывать колодец?

— А затем... — он снова умолкает, снимает вок с плиты, отходит в сторону. И, глядя мне в глаза, сообщает: — А затем, что ихняя фирма торгует водой. Вот они и хотят всех заставить покупать ихнюю воду.

От подобных историй столбенеешь, даже когда продажность китайских чиновников тебе давно не в новинку. Лао Чжан говорит, что пытался протестовать, но чиновники даже не стали слушать. Воспользовались классическим аргументом, который после 11 сентября 2001 года стал для властей Синьцзяна прямо-таки волшебной палочкой: здесь живет много мусульман. Они сказали: если я не замолчу, меня арестуют как террориста.

Когда в Китае тебя арестовывают по подозрению в терроризме, помощи ждать неоткуда. Даже на услуги адвоката не рассчитывай. Итак, Лао Чжан поневоле замолчал. Но воду, которой торгует подконтрольная чиновникам фирма, не покупает из принципа.

Блюдо готово. Он перекладывает его в миску и ныряет за грязную занавеску, подать дальнобойщикам. Возвращается, вытирает руки полотенцем, которое еще грязнее занавески, замирает и смотрит на меня, словно прикидывает, чего я стою.

Он сварил мне лапши, посидел со мной за столиком в крохотном обшарпанном зале.

Взгляд у Лао Чжана горящий — в Китае это встретишь нечасто. На типичного содержателя кафе этот человек не похож. Наверно, в другие времена он был бы революционером, а теперь живет себе в пустыне и пытается прокормить себя, жену и ребенка.

— Моя дочь хочет поступить на службу в полицию, когда вырастет, — говорит он, — чтобы приструнить продажных чиновников.

Дальнобойщики отобедали и уехали. Мы с Лао Чжаном беседовали еще полчаса. В закусочной очень жарко, но еще жарче негодование Лао Чжана. Он рассказывает и другие истории о коррупции властей, изливает гнев на местную администрацию, повествует о злоупотреблениях. Такое можно услышать в любой шоферской закусочной, в любой деревне, в любом маленьком городе любой китайской провинции. Лао Чжан сердито машет руками. Очевидно, рад выговориться.

— Значит, вы ничего не можете поделать? — спрашиваю я наконец.

Он пристально смотрит на меня. По его вискам медленно катятся капельки пота. Затем он выставляет два пальца:

— Делать можно лишь одно, и я вам скажу что. В этом слове два иероглифа.

Глаза у него горят, в голосе слышится едва сдерживаемый гнев, и я уже жду, что сейчас он скажет: гэ мин (революция).

Но он произносит другое слово.

— Жэнь шоу, — шипит он сквозь зубы. — Терпеть. Вот все, что мы можем сделать. Жэнь шоу. Мы можем только терпеть. Придется терпеть. Ничего другого нам никогда не оставалось.

Глядя на него, я медленно качаю головой. Он только что резюмировал несколько тысячелетий китайской истории. Терпеть — вот все, что оставалось делать "старым ста фамилиям". Да, в зажиточных областях Китая большой прогресс, но сотни миллионов простых людей в деревнях или на бедном востоке по-прежнему не видят для себя перспектив, кроме примирения с обстоятельствами.

На протяжении китайской истории иногда случались кризисные моменты, и терпеть становилось невмоготу: чаша переполнялась, вулкан извергался. Революция свергала очередную правящую династию, но систему не меняла. На престол возводили нового императора, и в итоге новую династию тоже разлагала коррупция. В Китае никогда не было и намека на разделение властей, никаких линейных перемен, ничего подобного Великой хартии вольностей. Только централизация власти в руках кучки чиновников — заложников замкнутого исторического цикла.

Через несколько месяцев я прочел в книге Милдред Кейбл и Франчески Френч[1] "За нефритовыми воротами и в Центральной Азии" запись, сделанную ими в Звездном Ущелье в 1920-е годы. Неразлучное трио миссионеров застряло там по пути в Урумчи: местный гарнизон никого не пропускал. На постоялом дворе, где остановились Кейбл и сестры Френч, арестовали группу молодых людей. Ранее эти парни были насильно мобилизованы в армию. Полдюжины парней выпороли, по-видимому, за дезертирство. "Здесь царил дух полной безысходности, — написали Кейбл и Френч. А затем, основываясь на тридцатилетнем опыте жизни в Китае, вывели обобщение: Китайцы — многотерпеливый народ; они с трогательным смирением выносят тиранию своих угнетателей и господство хищнической власти, но грядет час, когда они восстанут и отомстят за несправедливости, накопившиеся за много поколений. В такой час никакое проявление насилия не сочтут чрезмерным и расправятся с угнетателями по-своему".

Это написано в 1926 году. В 50-е годы, когда в Китае установился коммунистический режим, пророчество Кейбл и Френч осуществилось: новые крестьянские вожди безжалостно казнили землевладельцев и представителей "правящих классов".

Назревает ли новое восстание? Люди типа Лао Чжана кое-как сводят концы с концами. Если год от года твой уровень жизни повышается, пусть ненамного, с коррупцией еще можно смириться. Но едва начнется экономическая рецессия, в Китае найдется предостаточно недовольных, которые готовы мстить хищнической власти за несправедливость. Мне все время вспоминаются слова Мао из работы 1927 года: "От малой искры занимается пожаром степь". А в этих степях, как и во многих других, трава суха, точно трут.

В глазах Лао Чжана только что пылал огонь. Но вот Лао Чжан излил душу и теперь смотрит отрешенно, качает головой. Возможно, скоро его ярость навсегда перегорит, сменится равнодушием.

Я расплачиваюсь за лапшу и спрашиваю, нельзя ли взглянуть на колодец. Лао Чжан ведет меня к водопропускной трубе в низине, под полотном трассы 312 у въезда в город. Труба забетонирована — ее словно заткнули толстой пробкой. Да

1. Милдред Кейбл (1878–1952) и Франческа Френч (1871–1960) — англичанки, много лет занимались христианской миссионерской деятельностью и путешествовали в Центральной Азии вместе с Эванджелиной Френч, сестрой Франчески. Авторы нескольких книг о своих путешествиях по Гоби и другим труднодоступным местам.

уж, впечатляющая картина. Лао Чжан сердито бормочет что-то сквозь зубы и отворачивается. Я прощаюсь с ним и поднимаюсь на шоссе, чтобы поискать попутную машину до следующего крупного города — Хами.

Вот так я оказался у бензоколонки в Звездном Ущелье и разговорился с дальнобойщиками. Мы стояли и болтали, дожидаясь, пока уедет полицейская машина, которая ожидала в засаде совсем неподалеку. Шоферы рассказали мне, как играют в кошки-мышки с полицией по всей трассе 312. Некоторые из них едут из Шанхая, другие — из Гуанчжоу (это на крайнем юге Китая), один — из Пекина.

У бензоколонки висит транспарант:

ИСКОРЕНЯЙТЕ ТРИ ПРОИЗВОЛА

— Какие такие "три произвола"? — спрашиваю я.

— Бу яо луань шоу фэй, луань шэ ган, луань фа куань. Не взимать плату за проезд самочинно, не перекрывать дорогу самочинно, не штрафовать самочинно, — поясняет один из шоферов. Это кампания против коррупции в полиции и местной администрации.

— Забавно, — замечаю я, — что полицейская машина поджидает вас, чтобы самочинно оштрафовать в нескольких сотнях ярдов от официального транспаранта, который это запрещает.

Дальнобойщик улыбается устало, как все китайцы. Эта улыбка означает попросту: "Вы — иностранец, а Китай есть Китай".

Тут разносится весть, что полицейская машина уехала, шоферы расходятся по машинам, и Лю Цян, о котором я подробно рассказал во введении, вызывается подвезти меня на своем большом синем грузовике "Ист винд".

— Нам нужна многопартийная система, — говорит Лю, возвращаясь к теме коррупции на местах. — Нужны сдержки и противовесы. Коррупционеры совсем распоясались.

В его словах звучит та же ненависть к местным чиновникам, как и у Лао Чжана. Лю рассказывает мне истории о коррумпированных чиновниках во всех провинциях. Бесконечный список служебных злоупотреблений, которые, говоря по справедливости, имеют место в большинстве развивающихся стран. Но, в отличие от граждан многих других развивающихся стран, Лю, как вообще большинство китайцев, сохраняет вековую конфуцианскую веру в то, что коррумпировано только местное начальство, но высшие руководители страны — люди порядочные. Если американцы уважают местную власть и не доверяют центральной, то у китайцев все наоборот. <...>

Глава 21
"Китай – это колониальная держава"

– Как вас зовут? – спрашивает молодой небритый уйгур и присаживается за мой столик в маленьком, но симпатичном ресторанчике в Турфане.

– Роберт, – представляюсь я. (В Азии многим трудно выговорить "Роб" – сокращенный вариант моего имени).

– Как Роберт Брюс? – спрашивает он по-английски, выгнув бровь.

– Да! – восклицаю я. – Ну и ну, откуда вы знаете Роберта Брюса?

Мой тезка, шотландский король XIV века, после нескольких поражений от англичан укрылся в пещере. И там, как известно каждому британскому школьнику, он увидел паука, который долго пытался сплести паутину. Никак не получалось, но потом паук все-таки сумел, сильно раскачавшись на нити, закончить работу, убедив своим упорством Брюса: нельзя отступать, пока не разгромишь англичан. И в 1314 году в битве при Бэннокбёрне Брюс все-таки разбил врагов, отстояв независимость Шотландии.

– Читал о нем в книге, – сообщает мой новый друг.

Я делаю комплимент его познаниям в британской истории и делюсь своей гипотезой, что Синьцзян и Тибет – вроде Шотландии. Возможно, они повторят судьбу северной соседки Англии в составе Соединенного Королевства: запертые в пределах страны, с которой не хотят объединяться, спустя несколько веков они уже не пожелают или не смогут добиться отделения. Уйгур внимательно слушает.

– А шотландцы до сих пор говорят на собственном языке? А свои обычаи сохранили? – спрашивает он.

– Язык не сохранили, но некоторые обычаи – да. И килты, конечно.

– Что?

– Килты. Это вроде юбок. В Шотландии мужчины носят юбки.

– Вот видите, – говорит он. – Значит, у нас дело обстоит лучше, чем у шотландцев. У нас до сих пор есть свой язык. И юбок наши мужчины не носят.

Уйгур завоевал мою симпатию с первого взгляда. Он представился: "Мурат". Ему лет двадцать пять, внешность у него среднеазиатская – нос с горбинкой, высокие скулы, – резко выделяющая его среди многочисленных китайцев на улицах Турфана.

Мы моментально завели серьезный разговор начистоту о взаимоотношениях уйгуров с ханьцами и о будущем уйгурского народа.

— Здесь жизнь становится хуже, — признается он, делая ставку (впрочем, риск невелик) на то, что я не донесу на него первому попавшемуся китайскому полицейскому.

— В каком отношении — хуже? — уточняю я, предполагая, что он подразумевает непосредственное, физическое угнетение уйгуров ханьцами.

— Все больше уйгуров предпочитают отдавать детей в китайские школы. Не по принуждению, добровольно. Знают: за китайскими школами будущее. Да и в уйгурских школах дети учат китайский с первого класса. Раньше учили с третьего. Через двадцать, тридцать, пятьдесят лет, возможно, уже никто не сможет говорить или писать по-уйгурски. Совсем как у шотландцев. Мы потеряем свой язык. Уже сейчас многие дети только говорят по-уйгурски, писать не умеют.

За столик неподалеку усаживается какая-то компания, и Мурат понижает голос.

Среди уйгуров распространено мнение, что на Западе их бедам сочувствуют. Точно так же считают тибетцы и обычно справедливо. Причин тому несколько: во-первых, на Западе принято болеть за слабейшего из соперников, во-вторых, западным людям не нравится, когда компартия угнетает кого бы то ни было: ханьцев ли, уйгуров ли, тибетцев ли. А, может быть, дело еще и в том, что и у нас, и у уйгуров, в отличие от китайцев, растет борода. Я исподтишка сравниваю щетину Мурата со своей, и он, подозреваю, тоже.

Минут тридцать мы болтаем о Синьцзяне, Америке и Европе.

— Я всегда мечтал провести ночь в пустыне вдали от человеческого жилья. Куда посоветуете съездить? — говорю я.

Мурат улыбается — идея понравилась, смотрит на часы:

— Я потолкую с братом.

Мы обмениваемся телефонами и договариваемся созвониться ближе к вечеру.

Турфанская котловина — самая глубокая низина в Китае и вторая по глубине в мире (после впадины, где находится Мертвое море). Ее глубина — 426 футов ниже уровня моря. Для Китая это также полюс зноя: абсолютный температурный рекорд, зафиксированный здесь метеорологами, — +49 градусов по Цельсию. Площадь Турфанской котловины — без малого двадцать тысяч квадратных миль, население — сто

семьдесят тысяч человек, три четверти из них — уйгуры, остальные — ханьцы.

Главная сельскохозяйственная культура здесь — виноград. Я попал в Турфан как раз в начале сбора винограда. На улицах — грузовики со свежесорванными зелеными гроздьями, на обочинах расставлены корзины: идет сортировка продукции. Кое-где над тротуарами сооружены шпалеры для виноградных лоз. Очень приятно гулять по этим тенистым галереям, защищающим от палящего летнего солнца.

Хотя вокруг Турфана — пустыня, гость найдет здесь на удивление много интересного. Прежде всего, это старинная ирригационная система — кяризы, что по-уйгурски значит "колодцы". Она изобретена более двух тысяч лет назад, Турфан обязан ей своим существованием. Десятки длинных подземных туннелей соединяют основной источник в горах к северу от Турфана с городом и сельскохозяйственными угодьями в низине. Не нужны ни насосы, ни современная техника, ни стройматериалы. Вода течет, просто повинуясь земной гравитации, — под уклон. А чтобы драгоценная влага не испарялась, каналы упрятали под землю.

В маленьком туристическом комплексе у кяризов остро чувствуется, что отношения между ханьцами и уйгурами напряженные. Ощущаешь себя в этнопарке — все равно как в поселке североамериканских индейцев, где якобы можно приобщиться к индейской культуре. Добро пожаловать в "Уйгурленд"! Сфотографируйтесь с настоящей уйгурской танцовщицей! Она прикинется, будто кормит вас виноградом!

Спускаешься для осмотра подземных ручьев, стекающих с гор в город, а потом выходишь на псевдобазар, где между прилавками расставлены с одинаковыми интервалами группы уйгурок. Все женщины красивые, густо накрашенные, в нарядных национальных костюмах. Когда приближается очередная группа туристов-ханьцев, женщины встают в заданную позу, совсем как дрессированные животные. Одна кладет себе на макушку гроздь винограда, точно позируя художнику Ренессанса. Еще три сидят за столом, накрытым словно бы для древнеримского пиршества, и тоже держат виноград наготове. Две женщины, лениво развалившись, слушают уйгурскую музыку, но едва подойдут туристы, вскочат и пустятся в пляс. Китайские национальные меньшинства только и делают, что танцуют. По крайней мере, так считают ханьцы. Китайцы смотрят на мусульманские народы через призму стереотипов, как прежде (а может быть, и до сих пор) смотрел Запад.

Лоточники, как и повсюду, зазывают туристов. Останавливаюсь взглянуть на красивые шали-пашмины, и меня мгно-

венно берут в кольцо. За шали просят до нелепости дорого. Тут я замечаю, что все торговцы — ханьцы, и в припадке раздражения и солидарности с уйгурами решаю ничего не покупать. Если в Синьцзяне мне кто-нибудь и всучит дешевку втридорога, то пусть это будет уйгур.

Мурат звонит мне и сообщает, что сегодня вечером можно поехать в барханы. Он приезжает со своим другом-братом-кузеном (именует его то так, то сяк) на старом "фольксвагене". Друг-брат-кузен за рулем. Китайским он владеет неважно, английским — еще хуже. Мурат, сидя на переднем сиденье, все время оборачивается ко мне:

— Я взял ковры, будем на них спать. Может, купим еды и бутылку вина?

— Вина? Разве вы не мусульманин?

— Я пью, наверно, раз в месяц, — ухмыляется он. — Вообще-то я вчера немного выпил, но сегодня ради вас сделаю исключение.

Мы выезжаем из города на восток, назад к трассе 312.

Минуем Пылающие Горы: красноватые, изборожденные вертикальными расселинами. Если ранним вечером смотреть издали, расселины — точно языки пламени, взбегающие по склонам.

— Вот это видите? — сердито кричит мне Мурат сквозь свист ветра (мы едем с опущенными стеклами). Указывает рукой на десятки станков-качалок, которые трудятся вдоль шоссе у подножия Пылающих Гор. — Скважины — почти две мили глубиной. Выкачивают десять тонн нефти в день. И куда идет вся эта нефть? Я вам скажу куда. На восток, ханьцам. Сколько нашей собственной нефти нам дают? Ни капли. Сколько уйгуров нанимают нефтяные компании? Ни одного. Земля, которую они доят, — наша, но мы с этого ни гроша не имеем.

Он рассказывает мне о газопроводе, проложенном с юга Синьцзяна в Шанхай, прокачивающем "голубое топливо" с запада на восток. А затем произносит фразу, которая с самого начала вертелась на языке у меня.

— Китай — это колониальная держава, — говорит он. — Она нас оккупировала и выгребает дочиста наши природные богатства.

Такие вещи никому не позволено говорить публично. Правда, я вполне уверен, что в своем кругу уйгуры постоянно обмениваются подобными замечаниями. Пекинское руководство клянет западный империализм и колониализм и сочтет кощунством, если китайский гражданин даже обиняком обвинит Китай в сходных преступлениях. Но Мурат мчит на машине в обществе старого приятеля-уйгура и любознательно-

го западного гостя, и запреты его не волнуют: кому тут подслушивать, кроме ветра?

После часа езды, когда небосвод уже темнеет, мы паркуемся, разуваемся, переходим босиком русло пересохшей реки. И буквально штурмуем барханы. Местная пустыня — в основном голая каменистая земля, закованная в твердый желтый панцирь. Но здесь барханы — первые на моем пути после Дуньхуана.

Закат великолепный, и я предлагаю, чтобы не пропустить зрелище, сделать передышку. Мы присаживаемся на песок на полпути к вершине. Достаю из сумки бутылку местного вина "Лоулань", штопор и три пластиковых стаканчика. Фантастика: сидеть на бархане в Гоби и распивать красное вино с двумя мусульманами! Поднимаю тост за всех уйгуров. Мои спутники улыбаются, и мы втроем молча сидим и смотрим, как солнце тонет в неправдоподобно рыжем мареве.

Потом друг-брат-кузен Мурата возвращается к машине, где он и переночует, а мы вдвоем продолжаем карабкаться по склону. Чем выше залезаешь, тем сильнее ветер. Ныряем в ложбинку между двумя барханами, раскладываем ковры в нескольких футах друг от друга и укладываемся.

Луна над пустыней, как всегда, прекрасна: она белее, круглее, крупнее, чем где бы то ни было. Глядя на луну, я задаю Мурату самые щекотливые вопросы об уйгурах и об их сопротивлении китайцам, пусть даже чисто психологическом.

— Не думайте, что все так уж трагично, — говорит он. — Нет никаких законов, которые бы нас принуждали. Мы добровольно содействуем гибели своего народа.

— Но ведь у вас нет выбора?

— Выбора нет. Единственный способ воспротивиться ассимиляции — не учиться в китайской школе. Но если ты не окончишь китайскую школу, то в жизни не преуспеешь, на хорошую работу не возьмут. Посмотрите на меня: по-китайски я говорю и пишу не очень хорошо. Когда читаю газету, понимаю лишь шестьдесят процентов. Умей я писать и читать, нашел бы себе работу получше.

Примерно то же самое я услышал несколькими неделями раньше от тибетца-учителя.

Повисает пауза, полная немой печали.

— Это медленная смерть, — говорит он наконец, — это трагедия, но что мы можем сделать? Я вот заставляю своего младшего брата доучиться в школе: пусть получит образование, которого я не получил, поступит в хороший университет, но знаниями пусть пользуется на благо уйгурского народа, а не китайцев. Нам нельзя замыкаться в себе, надо

общаться с внешним миром и с ханьцами, но при этом наша культура неизбежно растворяется. Сможем ли мы применить все это в наших интересах?

— И чем, по-вашему, стоит заняться вашему брату?

— Возможно, стать врачом, вернуться сюда и лечить уйгуров.

Сделав очередное заявление, Мурат надолго умолкает. Спешить некуда. Есть время обдумать услышанное. Как редко мне представляется такая возможность.

— А что вы думаете о сепаратистах, которые берут в руки оружие и воюют с китайскими властями?

В последнее время таких инцидентов стало меньше, но вспышки иногда случаются.

— Я не такой храбрый, чтобы вступать в их ряды. Мне надо думать о родителях. Надо помогать младшему брату. Но я считаю их храбрыми, восхищаюсь храбрыми.

— Они храбры, но их дело безнадежно, верно?

Мурат задумывается. Тьма сгущается. Воздух все еще ласковый, теплый, но сквозь тонкий ковер я ощущаю, как холоден песок, который всего несколько часов назад жег ноги.

— Да, их дело безнадежно, — вторит мне Мурат. — Мы должны смириться с реальностью. Надежды на независимость Синьцзяна больше нет, я уже об этом говорил. Давайте признаем этот факт и успокоимся, и постараемся извлечь всю пользу из того, что уже имеем в нынешних обстоятельствах.

Глава 22
От моря до моря

В Урумчи я отправляюсь на уйгурский базар Эрдаоцяо, что означает "Мост двух дорог". Пытаюсь разыскать старинный лабиринт из лавчонок и жилых домов на главном базаре, где побывал в 2002 году. Тогда я искал местных мусульман, которые согласились бы откровенно поговорить об Усаме бен Ладене, атаках террористов на Америку и гонениях китайских властей на уйгуров после 11 сентября. Просто ходил по грязному рынку от прилавка к прилавку и вполголоса спрашивал у торговцев, согласятся ли они со мной побеседовать.

Примерно в четвертой лавке на моем пути — обветшалой, волшебной, битком набитой всевозможными орехами и сухофруктами, хозяин-уйгур опасливо огляделся со сторонам, а потом велел мне на ломаном китайском подождать минутку. Вскоре он вернулся с молодым уйгуром лет двадцати двух-двадцати трех, который прекрасно владел китайским. Этот па-

рень, так и не назвавший мне своего настоящего имени, на целую неделю стал моим гидом. Он водил меня по лабиринтам переулков то к брату, то к кузену, то к приятелю. Мы петляли по базару, стараясь сбить со следа возможных соглядатаев, и в конце концов пришли в надежное место, где проводник без утайки рассказал мне, что уйгуры пламенно ненавидят ханьцев и обожают американцев.

Однако вскоре администрация США изменила курс. Большинство уйгуров-мусульман исповедуют суфизм — умеренное, мистическое течение ислама, и в 90-е годы американская сторона критиковала различные нарушения прав человека в Китае и требовала для уйгуров свободы вероисповедания. Но после 11 сентября американцы схватили горстку уйгуров-экстремистов, которые воевали в рядах талибов на севере Афганистана. К тому же Вашингтону понадобилось, чтобы Пекин поддержал в ООН "войну с террором". Итак, летом 2002 года администрация Джорджа У. Буша согласилась включить дотоле безвестную уйгурскую организацию "Исламское движение Восточного Туркестана" в список террористических группировок.

Об этой уйгурской организации тогда, да и ныне, мало кто слышал, но решение США дает Пекину карт-бланш, чтобы, не опасаясь упреков Вашингтона, под предлогом борьбы с терроризмом подавлять все виды инакомыслия в Синьцзяне. Для китайского руководства 11 сентября стало негаданной удачей. США не просто перестали считать Китай грядущим врагом Америки — сам президент Буш назвал КНР партнером по войне с террором. Взамен на сотрудничество с администрацией Буша Пекин сумел выторговать попустительство своей политике в Синьцзяне. Правозащитники говорят, что администрация США продала уйгуров в рабство.

Подъезжаю к Эрдаоцяо на такси. Оглядываюсь по сторонам. Первая мысль — видно, таксист ошибся. Старого базара нигде не видно. Обращаюсь к продавцу в магазине ковров. Он поясняет на ломаном китайском, что старый базар снесли. Вместо него — новенькое современное здание в усредненно-китайском стиле, именующее себя прежним именем Эрдаоцяо. Перед зданием — пруд с мостиком и несколько бронзовых фигур типичных уйгуров, которые пекут лепешки и играют на своих народных инструментах. Другими словами, процветающий, чисто уйгурский, чисто мусульманский урумчийский базар превращен в китайский торговый центр с уйгурской спецификой.

Будем справедливы к китайцам: как отметил мой друг Мурат, происходит не только китаизация, но и глобализация, и

затрагивает она всю планету. Развивая экономику Синьцзяна, китайцы отчасти руководствуются добрыми намерениями — искренне хотят, чтобы уровень жизни местного населения вырос. Но поскольку для уйгуров проводники модернизации — китайцы, она воспринимается с особой горечью.

Из соображений госбезопасности легко понять, зачем китайцы сносят старые районы города и возводят новые торговые центры. Лабиринты жилых домов и лавок на старом базаре были для меня самым подходящим местом, чтобы петлять и таиться, шептаться и строить козни, когда я искал уйгуров, недовольных властью. Сегодня я несколько часов бродил по сверкающему новизной рынку Эрдаоцяо в поисках человека, который откровенно обсудил бы со мной отношения ханьцев с уйгурами, и никто не соглашался. Яркий неон вывесок и прозрачные витрины — помеха любому заговору. Разумеется, именно этого китайцы и добивались. <...>

На закате автобус выезжает с автовокзала Урумчи, начиная свой шестнадцатичасовой путь к границе с Казахстаном. Ди-ви-ди-плеер уже оглушает всех звуками битвы — показывают боевик о мастерах кунг-фу. Автобус оборудован двухъярусными койками. На койке подо мной сидит, скрестив ноги, старик-уйгур с жидкой бородкой, воздевает руки к небу: совершает вечернюю молитву. Почти все пассажиры — уйгуры, и, когда я с ними общаюсь, мне слегка неловко: я ведь принуждаю их говорить по-китайски. Косые лучи солнца освещают целые горы помидоров у дороги: богатый урожай. Возможно, именно эти помидоры попадут на столы американцев в виде кетчупа.

Через несколько часов четырехполосное шоссе сужается до двухполосного, придорожные деревеньки жмутся к нему близко-близко. В потемках трасса пробирается на запад. Позади узких клочков земли, населенных людьми, и в промежутках между этими клочками — только голая пустыня. В восточной половине Китая сотни миллионов теснятся, как сельди в бочке, а эта часть страны почти безлюдна. Меркнущее небо гасит последние отблески дня, и я в последний раз за путешествие провожу ночь в дороге.

Когда я просыпаюсь, пустыни нет как нет, вдоль шоссе тянется длинное озеро с зеленоватой водой. Трасса 312 наконец-то углубилась в живописные горы. До границы совсем близко. Конечно, эта картина не сравнится со зрелищем Тихого океана, которое разворачивается перед тобой в Санта-Монике в конце 66-го шоссе, но после полутора тысяч миль пустошей — долгожданное разнообразие. Огромный водоем — озеро Сайрам, за ним — дивные горы.

Лежу на верхней койке, любуюсь видом, но тут автобус сбавляет скорость, вздрагивает, резко останавливается. Опять поломка, прямо на берегу озера. Синие грузовики "Ист винд" обгоняют наш раненый автобус, сигналя. Меня снедает нетерпение: скорее бы граница. Пока шоферы обсуждают, что теперь делать, я осуществляю обычный резервный план — забираю свой рюкзак и продолжаю путь автостопом.

Меня подбирает дальнобойщик — ханец, почти что близнец шофера Лю, подвозившего меня из Звездного Ущелья. Его фамилия Му, он тоже едет из самого Шанхая.

Дорога вьется серпантином, спускаясь с гор. По одну сторону — железное ограждение, чтобы машины не падали в пропасть. Вдоль шоссе — темно-зеленые сосновые леса. Удивительно смотреть на них, когда глаза привыкли к слепящему солнцу пустыни.

Наконец, мы в Коргазе, унылом городке, который существует лишь благодаря КПП на границе с Казахстаном. Время еще раннее, на улицах тишина. Я прошел около мили от автовокзала до КПП пешком — мимо войсковой части, по улице со вполне логичным названием "Я оу лу" — "Евразийская".

За дорогой, прямо у КПП, — просторный пустырь и щит, оповещающий, что здесь из руин восстанет международный торговый центр "Коргаз". Похоже, с амбициями у города все в порядке:

УДОБНЫЙ ПУТЬ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫХОДА КИТАЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Сам КПП не очень-то впечатляет: железные ворота — большие, старые, белые с красным, перед невысокой постройкой, облицованной белой плиткой. На крыше — большие золотые китайские иероглифы, означающие "Пограничный переход Коргаз". За воротами дежурят двое китайцев в зеленой форме с красными погонами, пропускают лишь тех, кто следует в Казахстан. Справа от ворот — небольшой рынок: торгуют ювелирными изделиями и безделушками, кинжалами и мехами, русскими продуктами и китайскими игрушками. Но даже здесь чувствуется энергия, надежда на перемены к лучшему, которой, по моим (возможно, несправедливым) представлениям, нет за нейтральной полосой в Казахстане.

Я подхожу к красно-белым воротам, оборачиваюсь и осознаю: финиш! Путь пройден: трасса 312 закончилась. На белом километровом столбе у шоссе значится: 4824 км. Выехав из Шанхая, я преодолел почти три тысячи миль. Каким долгим, каким необычайным оказалось путешествие!

Эта дорога повидала все: нищету селений, обогащение городов и, конечно, людей, которые по ней странствуют. Конвейер надежды и отчаяния, приносящий спасение и право выбора в места, где и то, и другое всегда были в дефиците.

Трасса 312 изменила и меня самого, обнажила многое, о чем я не подозревал. Но у меня положение особое, сравнения неуместны. Мне полюбилась трасса 312 со всей ее шизофренической раздвоенностью, но я для нее — посторонний. Я могу уехать. Собственно, я действительно уезжаю из Китая. Для тех, кто вынужден здесь оставаться, все не столь романтично.

Я подсознательно ожидал, что этот момент будет грандиознее — возможно, издалека зазвучит музыка. Но вместо музыки — лишь крики торговцев, рекламирующих товар, да шепоток менял: хуань цянь, хуань цянь (меняем деньги, меняем деньги).

Внезапно меня захлестывают эмоции: я прошел путь до самого конца и фактически подвел черту под китайским периодом своей жизни. Стою, припоминаю путешествие и всех, кого повстречал. Не верится, что все позади. Возможно, так чувствовали себя те, кто в Америке 90-х годов XIX века ехал на запад. Не знаешь, что ждет в будущем прекрасные земли, которые ты только что повидал, но ощущаешь: тебе выпала великая честь своими глазами наблюдать поступь истории, преображение нации, зарождение новой державы — то, что случается лишь раз в три-четыре поколения. И, чтобы ни сталось с Китаем впоследствии, я расскажу об этом путешествии своим внукам (если, конечно, доживу до их появления). "Дедушка, ты правда-правда был там? Ты видел взлет Китая?" — спросят они. "Да, был и видел", — отвечу я.

И тут я осознаю, что больше ни секунды не хочу здесь торчать. Скорее прочь отсюда, сесть в самолет, увидеться с родными. Швыряю рюкзак в такси оборотистого мигранта из Хэнани (провинции на востоке, в двух тысячах миль отсюда), и он везет меня за пятьдесят миль в Инин, в аэропорт: меня ждет долгий перелет обратно в Изумрудный Город — Шанхай.

Исабель Гарсиа Лорка

Память моя, память

Воспоминания о брате

Главы из книги

Перевод с испанского и вступление Н. Малиновской

Исабель Гарсиа Лорка. Мадрид, 1999

© Isabel García Lorca, 2002
© Н. Малиновская. Перевод, вступление, 2010

Сестра Федерико Гарсиа Лорки Исабель только в 75 лет решилась взяться за мемуары — после долгого молчания и колебаний.

Уже наполовину написанные, ее воспоминания оставались без названия, и тогда редактор Ана Гурричага предложила взять строку из Унамуно "Согрей меня, память моя, память". Должно быть, донье Исабель поэтическая строка на титуле показалась слишком претенциозной и, заметив: "Это, пожалуй, перебор", она, приглушив отсылку, согласилась оставить концовку.

Против ожиданий она не упомянула в заглавии имени брата, как это сделали Ана Мария Дали ("Сальвадор Дали глазами сестры"[1]) и другой брат Исабели — Франсиско, назвавший свои мемуары "Федерико и его мир"[2]. Почему? Во всяком случае, не из желания оказаться в центре повествования, хотя нельзя сказать, что донья Исабель намеренно отходит в тень.

Это не автобиография, хотя личность мемуаристки ощутима в каждой строке. И не исповедь, хотя слышно, как прерывается ее голос. И все же Исабель Гарсиа Лорка не просто рассказывает свою жизнь. Здесь другой импульс — воскресить исчезнувшее: тот мир, о котором уже некому вспомнить, сад, что цвел почти сто лет назад — и был растоптан, мелодию, отзвучавшую "в те баснословные года". Это память чувств — тех фундаментальных и элементарных пяти чувств, которыми человек наделен от природы. А ведь, по свидетельству Федерико Гарсиа Лорки, способность ощущать (в буквальном смысле) мир — корень поэтического дара: "Поэт обязан быть знатоком своих пяти чувств. Важны все пять, но в таком порядке: зрение, осязание, слух, обоняние, вкус". Естественно здесь же упомянуть Пруста, знавшего силу памяти чувств и перенесшего ее на страницы "Утраченного времени". Скажи кто донье Исабель про эти параллели, она бы, наверное, тоже обронила: "Это уж слишком", хотя, читая ее "Память", слышишь эхо колыбельной и препирательства няни Долорес с мамой в патио, откуда протянулась в детскую ленточка света с парящими пылинками.

Исабель Гарсиа Лорка почти ничего не пишет о брате впрямую, но ее окольный, интуитивно найденный путь неизбежно приводит к нему. И оказывается вернее. Донья Исабель охотно и куда подробнее, чем о брате, рассказывает о других людях — родных и не очень, местных чудаках и соседях, нередко становившихся прототипами его пьес. Ей они так же интересны, как были интересны брату: "Он мог их слушать часами!" — и как раз в этом дело, в этом родство. Она тоже зоркая и тоже умеет слушать.

Между той, что писала воспоминания, и девочкой, которую Федерико учил музыке, целая жизнь: утрата родных и потеря родины, долгая горечь эмиграции и одиночество возвращения, и — другая, тоже оказавшаяся

1. Ана Мария Дали. Сальвадор Дали — Федерико Гарсиа Лорка. — М.: Эксмо, 2003.
2. Франсиско Гарсиа Лорка. Федерико и его мир. — М.: Радуга, 1987.

долгой, жизнь в другой Испании. Между ней и той девочкой такая же пропасть времени, что между нею и так рано погибшим братом, которого она, младшая, стала в два раза старше. Они оба так далеко от нее, дожившей до нового века, — и так близко. Все, что могло и не могло перемениться, переменилось — и осталось нерушимо.

Неужели и правда, только памятью держится пресловутая самоидентификация, а если нет, то что же еще связывает Исабелиту с доньей Исабель, когда она, вглядываясь в глубь прошлого — и не прошедшего — времени, видит ту девочку у пианино, и сад за окном, завешенным кисеей, шелестящей под утренним ветром...

В публикуемых главах — только детство, их общая жизнь с братом. Впереди юность, ученье в коллеже, университете и множество людей — друзей брата, компания "Ла Барраки". А после рокового августа 1936-го изгнание: Брюссель, Нью-Йорк и спустя двадцать лет — снова Испания.

Но пока мы в самом начале, в детстве, — на первых страницах.

...застит небо и сердце
туман прожитого.

Рафаэль Хуарес[1]

Часть первая

1

У меня сейчас одно-единственное дело: я вспоминаю. И это все — все, что могу. А память то высветит вдруг что-то пронзительно ясно, то укроет пеленой тумана. Плутая *в мареве сна*[2] (какое точное слово нашел Габриэль Миро!), ищешь осколки былого — вслепую, на ощупь, и вдруг слово Федерико рассекает пелену и уже не во сне — в яви возвращает мне драгоценные миги прожитой жизни. Не устаю этому удивляться и снова беру его книгу и раскрываю наугад, всякий раз поражаясь гармонии его натуры: как созвучны поэзия Федерико, его жизнь и он сам. Но как же трудно объяснить или хотя бы дать понять, каким он был...

Навести порядок в воспоминаниях трудно и вряд ли удастся, но все же попытаюсь. Многое из того, что помню, свя-

1. Рафаэль Хуарес (р. 1956) — испанский поэт. Исабель Гарсиа Лорка цитирует строку из его стихотворения "Рана". *(Здесь и далее – прим. перев.)*
2. Здесь и далее – курсив автора: Исабель Гарсиа Лорка выделяет строки или фразы из произведений брата и других авторов, "домашние словечки" и т. п. "Марево сна" – роман испанского писателя Габриэля Миро (1879–1930).

зано с нашим гранадским домом на набережной Дарро — Асера-дель-Дарро, дом 60, где я родилась и прожила первые восемь лет. Большой просторный дом с окнами на реку, тогда еще не заключенную в тоннель. Перед домом сад — кедр, кипарисы, а за рекой, в вышине, над городом, садом и домом — горы, укрытые вечными снегами. В саду за ветками белеет колонна и тихо-тихо что-то шепчет фонтан — *прыгучий ручеек*, как говорят у нас в Гранаде.

Сад полон цветов, но все равно сумрачен и печален. В одной из главок "Впечатлений и пейзажей"[1] Федерико сказал, что *от печали всегда веет садом*. Наш сад, как и полагается истинно гранадскому саду, невелик: увитая виноградом арка при входе, легкая фонтанная струйка, пляшущая над каменной чашей, и четыре клумбы, с боков окаймленные миртовыми деревцами.

Помню, как у нас в саду появились анемоны. Садовник соседней усадьбы (он присматривал и за нашими растениями) рассказал маме о новых цветах: "Называются анемоны — ни у кого в Гранаде таких нет". Имя меня просто заворожило. А с каким нетерпением и трепетом мы ежеутрене вглядывались в тугие коконы бутонов, стиснутых зелеными листками! И вот однажды сад озарился: простые венчики шелковистых лепестков — синих, розовых, голубых, лиловых — светились в темной листве живым светом, как светлячки. Федерико в стихах не раз упоминает об анемонах. Не понимаю, почему их всегда соотносят со смертью; я ощущаю эти цветы иначе. Хотя, услышав спустя много лет, строчки из *Легенды о времени*[2]:

О, как закат поет!
Как холодны анемоны у синих вод![3] —

сразу вспомнила наш сад. Те первые анемоны в памяти моей и сейчас неотделимы от этих строк.

А вода? Сколько воспоминаний связано с этой излюбленной темой (употребляю это слово как музыкальный термин)

1. "Впечатления и пейзажи" — первая публикация Федерико Гарсиа Лорки, сборник путевых очерков и пейзажных зарисовок, изданный в 1918 г.
2. "Легенда о времени" — подзаголовок пьесы Ф. Гарсиа Лорки "Когда пройдет пять лет" (1929–1930), в постановке которой летом 1936 г. поэт принимал горячее участие, но постановка вследствие начала войны не состоялась.
3. Ф. Гарсиа Лорка. Избранные произведения. Т. 2. — М.: Худож. лит., 1986. — С. 178. Стихи Лорки даются, кроме специально оговоренных случаев, в переводе А. Гелескула.

поэзии Федерико. Живые впечатления, виденное своими глазами, запавшее в память — из этого рождались его образы. Вот хотя бы призрачная

вода подземелий мертвых,
которой не выйти к морю.

У нас в патио за одной из облицованных гранитом колонн (всего их было четыре) стоял громадный сосуд. Подходить к нему (не говоря уж о том, чтобы взобраться на лесенку) не дозволялось под страхом самых серьезных наказаний, по крайней мере мне, потому что, как рассказывала, всякий раз ужасаясь, няня, "здесь вот, в соседнем доме, девочка не послушалась, сдвинула крышку, заглянула туда — и утонула". Как же я боялась и сосуда, и крышки, и запертой *воды, которой не выйти к морю*! Боялась, но ведь забыла напрочь, и только услышав стихотворение о девочке, утонувшей в колодце, из "Поэта в Нью-Йорке"[1] вспомнила, и снова жалость и страх стиснули сердце:

Падая в мою память — капля, звезда, омега, —
все плывешь ты, слезинка,
краем конского глаза.
...не выйти к морю...

Но тянешь ты в глубь колодца
повитые мхом ручонки,
негаданная русалка в неведенье непорочном.
... не выйти к морю.

И все мое далекое, позабытое детство ожило в одно мгновенье и встало передо мной во весь рост — живое, саднящее, как рана. Вот он, наш сад. Я вижу его мучительно ясно, во всех подробностях вплоть до последней песчинки, до капельки росы. Такова сила поэзии, способной остановить мгновенье и одарить им всякого и каждого. Но когда в таком вечном миге узнаешь частицу своего детства...

В том саду, где мы были так счастливы, кроме нас обитали еще две черепашки и замечательный кот — большой, светло-рыжий. А однажды мне подарили еще и лягушонка. Я решила, что нашему новому домочадцу лучше всего жить в фонта-

1. Стихи, впоследствии собранные в книгу "Поэт в Нью-Йорке", были написаны в Нью-Йорке и на Кубе в 1929—1930 гг. Сборник опубликован посмертно в Мексике в 1940 г.

не — туда я его и запустила, вскоре ушла по своим делам, а коту вздумалось поиграть с новым жильцом — и увы! — зверь наш увлекся и лягушонка съел.

Наш сад на набережной Дарро вспомнился мне еще раз — когда я прочла стихотворение "1910. Интермедия", тоже из "Поэта в Нью-Йорке". "Те глаза мои девятьсот десятого года..."[1] А ведь в девятьсот десятом я появилась на свет и увидела мир:

> Те глаза мои все еще бродят по конским холкам,
> по ковчегу, в котором уснула святая Роса,
> по крышам любви, где заломлены свежие руки,
> по заглохшему саду, где коты поедают лягушек[2].

Это наш сад, наш дом, наше детство — Гранада и Фуэнте-Вакерос. Мама не раз рассказывала, как сильно Федерико испугался, когда его пытались посадить на лошадь — "отбивался как мог". А конскую холку — запомнил. И святая Роса в комнате няни Долорес смотрела на нас с дешевой, пронзительно яркой олеографии над кроватью. "Крыши любви" — это башенки за рекой, где, как поговаривали в Гранаде, назначали тайные любовные свиданья, а коты, пожирающие лягушек, — это, конечно же, наш любимый кот, выловивший из *прыгучего ручейка* бедолагу-лягушку. Ищу и не нахожу слов, чтобы описать потрясение, которое охватывает, когда в мгновении, запечатленном на века "в настоящих словах, которых так мало на свете" (цитирую дона Антонио Мачадо), узнаешь свою жизнь...

Один вихрь кружит и стихи, и жизнь, и, когда я думаю об этом, на память приходит фраза, сказанная Федерико в интервью, которое взял у него Хуан Чабас[3]: "Культура — одно, а свет — другое. И нужен свет[4]". И правда — свет. Всякий раз, вспоминая Федерико, я чувствую, что становится светлее. Он входил — и все озарялось. Он появлялся — и все становилось ясно. Вестник, луч. Как-то он сказал, что в детстве был капризным ребенком. Не помню его таким. В нем не было ни вздорности, ни самодовольства, ни фанаберий. Во "Впечатлениях и пейзажах" (для меня эта книга необычайно важна) Федерико обмолвился: "Это у дурака за душой одни фанаберии".

1. Ф. Гарсиа Лорка. Избранные произведения. Т. 2. С. 7.
2. Там же. С. 8.
3. Хуан Чабас (1900–1954) — испанский писатель и литературовед.
4. Ф. Гарсиа Лорка. "Самая печальная радость..." — М.: Прогресс, 1986. С. 288.

Исабель Гарсиа Лорка. 1918

Мы замечали по временам, что он рассеян и вместе с тем сосредоточен, рядом — и не здесь. А через минуту, словно очнувшись ото сна, Федерико опять смеялся, и вся наша жизнь снова уже кружилась вокруг него. Мне не раз приходилось слышать, что ребенок — одно из важных действующих лиц поэзии и драматургии Федерико, и это, конечно, так. Его самого не раз сравнивали с ребенком. И правда — я ловлю себя на том, что всякий раз при мысли о Федерико меня охватывает та особенная радость, то изумление и восторг, какие испытываешь, когда дитя произносит свои первые слова — начинает разговор с миром. Не знаю даже с чем сравнить такие минуты, когда явственно ощущаешь присутствие дуэнде[1]. Такое бывает раз в жизни. Федерико говорил об этом: "Дуэнде

1. В образе духа земли дуэнде, исходя из фольклорных представлений (дуэнде по испанским поверьям — подземный дух, стерегущий клады; позднее обрел некоторые черты домового) и андалузского идиоматического выражения "tener duende" ("с искрой божьей"), Лорка персонифицирует творческое начало (гётевский "творящий дух"). Эти представления изложены в его лекции "Дуэнде. Тема с вариациями", впервые прочитанной в Буэнос-Айресе 20 октября 1933 года.

не повторяется, как облик штормового моря"[1]. Эти слова с полным правом можно отнести и к нему самому.

В годы моего детства нам жилось весело, по крайней мере, так мне казалось. В доме всегда было многолюдно. Спортом не увлекался никто, если не причислять к спорту неспешные прогулки, более располагавшие к созерцанию. Потому ли что росли мы в Гранаде, одном из красивейших городов, или потому, что душой и режиссером наших забав всегда оказывался Федерико, наши игры развивали в первую очередь воображение. Наверное, из-за того что я была маленькая, братья мои, уже почти взрослые, продолжали играть. Мама, качая головой, улыбалась: "Ну и дети у меня! Никак наиграться не могут!" Помню одну из таких забав. Братья усаживаются друг против друга и, склонив головы, погружаются в печаль, а я должна их развеселить — расцеловать и так, и эдак: цветочком, снежинкой, дождевой капелькой — дождинкой. Иногда к нашей игре с самым серьезным видом присоединялся отец. И вот недавно, разбирая юношеские стихи брата, я наткнулась на стихотворение 1917 года:

Все как завязь плода.
И любой поцелуй
возвращается в душу
соцветьем.

Еще мы придумали игру, которую Федерико называл *Эспронседины страсти*. Суть в том, что мы представляли некую пантомиму, закатывали глаза и театрально заламывали руки, стараясь изо всех сил, чтоб зритель догадался, какую именно из пьес Эспронседы[2] ему показывают.

Еще мы, как, наверно, все дети на свете, прятали какую-нибудь вещицу, а кто-нибудь должен был ее отыскать. Неведомо почему игра эта называлась "секретка", а вещицей чаще всего оказывалось мамино колечко. Пако и Конча[3] прятали колечко невероятно изобретательно, а отыскивали методич-

1. Ф. Гарсиа Лорка. "Самая печальная радость..." С. 111.
2. Хосе де Эспронседа-и-Дельгадо (1808–1842) — испанский поэт-романтик.
3. Пако, Франсиско Гарсиа Лорка (1902–1976) — брат поэта, дипломат Испанской республики, литературовед, профессор филологии ряда университетов США, автор многих исследований, посвященных испанской литературе, и в том числе мемуарно-литературоведческой книги "Федерико и его мир" (М.: Радуга, 1987). Конча, Кончита Гарсиа Лорка (1904–1962) — сестра поэта и жена его друга Мануэля Фернандеса Монтесиноса Лустау (1900–1936), врача и гранадского алькальда социалистических убеждений, расстрелянного фалангистами.

но, как настоящие детективы. Федерико же *играть в секретку* не любил. Кольцо он не находил никогда — потому что *искать* ему было куда интереснее, чем находить: начав поиски, он тут же забывал о том, что ищет. В "Идиллии" из "Песен"[1] есть такие строки:

Я как ель и весенней порою
я секретов весны не открою.
Лишь бессчетные пальцы хвоинок
вновь укажут на сотни тропинок.

И правда, *секрет* не для Федерико, его стихией, даже в игре, была *тайна*. Он часто говорил: "Тайна не снаружи, она в сердце, внутри". Или еще: "У всего на свете есть своя тайна, тайна эта и есть поэзия. Она — рядом. Поэзия бродит по улицам, проходит мимо, ждет тебя на пороге..."[2] Иными словами, тайна — это сама жизнь. Никогда я не видела Федерико равнодушным, безразличным. Все, к чему он прикасался, становилось искусством, озарялось огнем творчества. Отголосок нашей *игры в секретку* слышен в "Сокровенной балладе" из "Книги стихотворений"[3]:

Холода, холода,
холодеет вода.

Горячей, горячей,
горячится ручей —

эти присказки полагалось произносить во время поисков. "Холодеет вода" означало, что ищущий удаляется от цели, а "горячей, горячей" — что колечко совсем близко.

Хочу обязательно упомянуть и о религии. Церковные обряды и праздники много значили для нашей семьи; говорить об этом можно долго, но я ограничусь двумя эпизодами. В прологе к "Впечатлениям и пейзажам" Федерико пишет: "Нужно веровать в Бога и быть язычником. Слить мистику готических соборов с древнегреческим чудом. Суметь все разглядеть. Все ощутить". Религия и красота с самого детства были для нас едины. Сейчас я понимаю, что это мамина заслуга. Помню ее

1. "Песни" — второй поэтический сборник Лорки, опубликованный в 1927 г. в Малаге.
2. Ф. Гарсиа Лорка. "Самая печальная радость..." С. 118.
3. "Книга стихотворений" — первый поэтический сборник Лорки, изданный в Мадриде летом 1921 г.

фразу: "В ту церковь мы не ходим — она некрасивая". Имелась в виду громадная церковь ордена иезуитов на Гран Виа.

Помню, как-то раз мы с мамой и сестрой Кончей, направляясь в церковь, столкнулись в дверях с отцом.

— Куда собрались?

— На мессу.

— Ну, вы там недолго!

Мы, естественно, рассмеялись. Отец понял, что сказал что-то не то и счел нужным пояснить: "И в хорошем месте незачем целый день сидеть!" Так что к Церкви у нас в доме всегда относились с почтением, но без экзальтации. Веру нам никто не навязывал, она была чем-то само собой разумеющимся, хоть и не главным в жизни. Так что напутствие "Вы там недолго!" прозвучало все же не случайно. Наша семья в отличие от большинства состоятельных гранадских семей была чужда религиозного фанатизма: никто из нас не поспешал за советом к священнику по всякому поводу. Мы и здесь были исключением.

Очень редко все мы молились вместе. Разве что в мае, месяце Мадонны. И Федерико всякий раз с удовольствием наблюдал, как Пако и Конча — изобретательности и воображения им тоже было не занимать — воздвигали на столе сооружение из книг и коробок, накрывали синим шелком, а поверх — кружевной накидкой. Получалось подобие алтаря, вроде тех, что мы видели в монастырях Альбайсина[1]. Ставили свечи, вазы с розами и сиренью. После трапезы женщины молились, но ни отец, ни братья никогда к нам не присоединялись. Мама читала молитву на латыни, потом доставала книгу (надо сказать, довольно сквернную, каким-то чудом сохранившуюся до сих пор) и по ней читала о чудесах Богоматери.

Балкон на время молитвы закрывали, шторы задергивали, но солнечный луч, хоть один, все равно пробивался сквозь занавеску. Этот дневной сумрак, аромат роз и сирени, трепетное пламя свечей и мамин голос, повторяющий столько раз слышанные слова, навевали покой, баюкали душу. Но стоило появиться Федерико — а он приходил иногда в самом начале молитвы, — и Божьей благодати как не бывало. Федерико немедленно начинал представление — читал проповедь, подражая любимцу наших прихожанок отцу Аркойя. При первых словах проповеди служанки, и Долорес первая, пускали слезу, мама же, улыбаясь, замолкала, а я не знала что

1. Альбайсин — старинный квартал на севере Гранады, отделенный от Альгамбры рекой Дарро.

и делать — плакать или смеяться. Но так или иначе никто не возмущался и не перебивал Федерико. И хотя это был театр, мне кажется, Федерико проповедовал всерьез, и голос его потихоньку нас завораживал.

А еще мы вместе молились в грозу, читая особую молитву Пресвятой Троице. И уж тут Федерико участвовал в ритуале с самого начала. В Гранаде грозы сильные, особенно по весне, но бушуют недолго. И едва набегали тучи, Долорес торопилась к маме: "Надо читать молитву!" Тут же закрывали все окна, двери и балкон, задергивали шторы и к моей несказанной радости зажигали особую свечу, удивительно ароматную, из пасечного воска. Долорес свято верила, что огарочек чудодейственной свечи, горевшей в церкви в чистый четверг и с тех пор благоговейно хранимый на случай бури[1], всенепременно спасет и сохранит от грозы — от прочих свечей в грозу никакого толку. Нас же исправно защищал увесистый огарок громадной свечи с вьющейся красной надписью "Федерико Гарсиа" (ежегодно такая свеча, посланная отцом, горела в Страстной четверг в нашей церкви). Молитву Пресвятой Троице мама читала с большим чувством, и не по книге, а наизусть. Я до сих пор помню начальную строфу:

Славил Троицу Исайя
и восславил ее в песне,
этой песне в поднебесье
вторит ангельская стая.

Едва мама смолкала, как все мы подхватывали:

Ангелы реют над нею
И повторяют: Святая...[2]

Вот откуда взялась концовка "Мученичества святой Олайи" в "Цыганском романсеро"[3].

1. Исабель Гарсиа Лорка ошибается, приписывая вышеописанное чудодейственное свойство пасхальной свече. Им, по народным поверьям, принято наделять свечи, освященные на Сретенье. Именно их хранят на случай бури и зажигают во время грозы. Возможно также, что в Андалузии способность оберегать от грозы приписывают и четверговой свече, освященной на Страстной неделе.
2. Ф. Гарсиа Лорка. Избранные произведения. Т. 1. С. 192.
3. Олайя (Эулалия; ум. в 304 г.) — католическая святая, дева и мученица, покровительница Мериды (Эстремадура), где, по преданию, была сожжена римлянами. Праздник в ее честь отмечается 10 декабря. В Андалузии святую Олайю отождествляют со святой Агедой (сицилианкой, казненной римлянами в 251 г.). Канонически изображается с пальмовой ветвью и блюдом, на котором стоят ее отсеченные груди.
"Цыганское Романсеро" — самая известная поэтическая книга Лорки, опубликованная в Мадриде в 1928 г.

2

Долорес – Щеглиха

У мамы с няней Долорес были совершенно особенные отношения. Долорес появилась у нас в доме, когда родился мой брат Пако, и навсегда осталась если не с нами, то в наших сердцах. Нас разлучила война и эмиграция[1], но после окончательного возвращения нашей семьи в Мадрид в 1951 году мы отыскали Долорес и с тех пор помогали ей, как могли. Особенно Пако. Когда Долорес умерла, он заказал для нее пышное надгробие – такое в точности, как ей нравилось. Долорес не любила разговоров о смерти, хотя не раз повторяла, что хочет, чтоб ее похоронили "как положено – со всеми почестями". Пако был поражен, когда узнал, что Долорес продумала и предусмотрела все до мелочей, даже оплатила счета – все до единого. Оказывается, всю жизнь она откладывала на похороны.

Мама звала Долорес на "вы", что при обращении хозяйки к служанке в ту пору в Гранаде было редкостью. Они друг в друге души не чаяли. С той лишь разницей, что любовь Долорес проявлялась не только в поступках, но и в словах, а мамина, по сдержанности натуры, – только в поступках. Когда я родилась, Долорес служила у нас кухаркой. *Глядела за домом*, как говорят в Гранаде, другая служанка; она убирала комнаты и подавала на стол. Стирка и глажка входили в обязанности приходящей прислуги – Ньевес (до сих пор помню ее заячью губу). Но Долорес была главной – и с этим никто не спорил. А я так и норовила по всякому поводу забежать на кухню, где самодержавно правила Долорес. Я не ходила в коллеж и потому много времени проводила дома, с Долорес, которую все просто обожали. Я звала ее ласково "Лолитес", а она меня – "детка моя".

Обрывочные сведения о ее жизни постепенно сложились в подобие биографии. Так, если верить рассказам, отец Долорес, добрейший из людей, ничтоже сумняшеся принял евангельскую фразу "...погребать своих мертвецов"[2] за руководство к действию и почел своим долгом собственноручно обряжать всякого, кто умирал, за что получил прозвище *Римский Папа*. Долорес последовала отцовскому примеру – и по-

1. После гибели поэта вся его семья покинула Испанию и провела долгие годы эмиграции в США.
2. Евангелие от Мафея. 8:22.

лучила прозвище *Римская Мама*, но в конце концов ее все же стали звать *Щеглихой*, в честь первого мужа, который, как и муж Понсии из "Дома Бернарды Альбы"[1], держал себе на радость певчих щеглов. Но не думаю, что Долорес расправилась с бедными птахами, как описано в пьесе:

Понсия. Я у твоей матери хорошую школу прошла. Сказал мне муж что-то поперек, уж и не помню что, так я его певуньям — всем! — шеи посвертывала.

Оставшись вдовой с четырьмя детьми, Долорес снова вышла замуж, но и на этот раз жизнь у нее не заладилась. Отчим поднял руку на падчерицу, а Долорес не стерпела и, не долго думая, ушла от него, поступила к нам, а дочек отдала в приют. Их не хотели брать, но Долорес, как всегда, добилась своего — упросила монашек. Каждое воскресенье она отправлялась навестить дочек с огромной корзиной еды, всякий раз призывая маму убедиться, что в корзине лежит только то, что "хозяйка дала ей собственноручно". Далее следовали ритуальные препирательства — они бранились в точности как Тетушка с Кормилицей в "Донье Росите"[2]. Наконец мама произносила сакраментальную фразу: "Не знаю, почему я это терплю!" Остается добавить, что, кроме еды, мама давала Долорес и одежду для девочек. Странное дело — Долорес, обожавшая своих дочек, которых, поселившись у нас, вынуждена была отдать в приют, полюбила и нас, хозяйских балованных детей, ни в чем не знавших недостатка.

Все мы, и прежде всего мама, сроднились с Долорес. Няня не умела ни читать, ни писать, не знала, сколько ей лет, и, когда спрашивали, отвечала: "Столько же, сколько хозяйке". Пако довольно подробно с большой нежностью описал Долорес в своих воспоминаниях "Федерико и его мир", мои заметки только дополняют его рассказ. Справедливости ради скажу, что и у нас в семье были люди, не любившие Долорес, — отцовские сестры. "Совсем сумасшедшая!" — говорили они, поджимая губы. Наверно, тетушек раздражала наша любовь к Долорес и ее собственническое к нам отношение.

1. "Дом Бернарды Альбы" — последняя законченная пьеса Ф. Гарсиа Лорки, прочитанная им друзьям в июне 1936 г. Впервые была поставлена великой актрисой Маргаритой Ксиргу уже после смерти поэта в Буэнос-Айресе в 1945 г. Маргарита Ксиргу (1888–1969) — испанская актриса, после поражения Республики жила в эмиграции.
2. Имеется в виду пьеса "Донья Росита, девица, или Язык цветов", задуманная еще в 1924 г., а написанная десять лет спустя и поставленная в декабре 1935 г. в Барселоне труппой Маргариты Ксиргу.

Долорес

От природы суровая, нам она позволяла все и потакала всем нашим капризам. К маме Долорес относилась уважительно и в то же время по-свойски, может, потому, что обе они были родом из Гранады. Помню такой случай. Гроза. Я, маленькая, сижу у мамы на коленях в столовой, вдруг распахивается дверь и вбегает Долорес: "Хозяйка! Если уж умирать, то вместе с вами!"

— Успокойся, Долорес! Никто умирать не собирается. По крайней мере сейчас.

И Долорес бежит дальше — прямехонько в церковь: опасность требует незамедлительной молитвы Пресвятой Деве в храме.

Религиозность Долорес прекрасно уживалась в ней с презрением к священникам. Ее послушать, так все они поголовно лицемеры и развратники. А вот к ветхозаветным праведникам, которых теперь мало кто поминает, она относилась с благоговейной нежностью, следила, чтоб в лампадках под образами не переводилась масло, и, молясь, неизменно препоручала себя их заступничеству. Помню, когда Долорес на удивление быстро оправилась после перелома шейки бедра и тяжелой операции, хирург (по ее словам) сказал ей на прощанье: "Знаете, Долорес, а я, кажется, начинаю верить в покро-

вительство пророка Иезекииля!" При этом Долорес никогда не ходила к мессе и вообще появлялась в церкви только по случаю каких-либо несчастий или жизненных затруднений, зато никогда не пропускала праздничных процессий. Сколько торжественных церковных шествий видела я по ее милости! Пререкаясь со стражами порядка — конными гвардейцами, — она протискивалась вместе со мной вперед, откуда было все видно.

Особенно памятно мне Сретенье, когда Долорес водила нас в одну из самых красивых гранадских церквей — Санто Доминго, любимую мамину церковь, ту самую, где ее крестили. Этот праздник до сих пор стоит у меня перед глазами. Младенец Иисус, Богоматерь, святой Иосиф и, самое главное, три горлицы — жертва Богоматери, принесенная во храм. Под восторженные возгласы собравшихся горлиц выпускали у самого алтаря, и птицы — и мы вместе с ними — взмывали под купол, в *надмирную* высь. И в ту самую минуту, солнечный луч озарял церковный сумрак — чудо сотворялось на наших глазах. Счастливые и потрясенные, мы возвращались домой.

Федерико Гарсиа Лорка. 1918

Однажды мама, выслушав наш восторженный рассказ, бог весть почему, спросила Долорес: "Ну а проповедь?" Что тут началось! "И не говорите мне о проповеди! Стыда на них нет! До чего обнаглели! Святой Иосиф, говорит, — *мысленный отец* младенца Иисуса! *Мысленный*, прости Господи! Не о чем тут *мыслить*!" Мама рассмеялась и начала было объяснять про церковную терминологию, но Долорес еще долго не унималась.

Долорес не признавала никакого распорядка — ни обедов, ни ужинов, но зато по десять раз на дню пила кофе с молоком. К тому же она была полуночницей. "Сколько раз, — говорила мама, — далеко за полночь я заставала их с Федерико, а когда и втроем с Пако, за картами у очага! Отберу карты — и в огонь, да все без толку. Как ночь, опять сидят, колоду тасуют да кофе свое попивают — то самое, что Федерико называл *кофе с огонечком* — то есть с каплей-другой водки". Однако Долорес, страстной и умелой картежнице, так и не удалось приохотить братьев к картам. Играли они только с ней, и, конечно, не в картах заключалась прелесть этих ночных посиделок. Думаю, что играли они в туте, потому что именно этой игре братья научили меня и как равную приняли в свою компанию.

Долорес, с маминого молчаливого согласия, командовала остальной прислугой — горничной и прачкой Ньевес, с так запомнившейся мне заячьей губой. В общем, относилась она к ним хорошо, но прав своих никому не уступала. Помните, в "Донье Росите" тетушка говорит, что кормилица, в сущности, не служанка? Именно так: наш дом стал для Долорес родным домом, мы — почти что ее собственными детьми, и в первую очередь Пако, которого она называла мой Пако — не иначе. А мама, чуть иронизируя, подтверждала: "Твой Пако, твой — а то чей же?"

Однажды, когда мама читала молитву, Долорес услышала созвучие с именем Федерико: "Ныне отпущаеши, Владыко..." И с тех пор по особым случаям обращалась к брату торжественно — *Федерико-владыко*. Забавно, что и я, по малолетству ничего не поняв, тоже стала звать его *Федерико-владыко*, чем доставила брату несомненное удовольствие. Но когда Федерико вздумалось обыграть на религиозный манер ее имя — *Долорес, роза среди роз*, — няня, должно быть, вспомнив о цветке целомудрия, с достоинством ответствовала: "Себя соблюсти — не пол подмести!" — и гордо удалилась. Произнести, не сбившись, мудреные церковные слова, к примеру, "акафист" было выше ее сил. И когда Долорес вздумалось *серьезно погово-*

рить с монахинями из коллежа, где училась Конча (задета была, как полагала Долорес, наша семейная честь!), Федерико придумал фразу, с которой няня и обратилась к сестре-наставнице: "Высокочтимая мать-настоятельница, к вашему сведению, не кто иная, как форменная фарисейка! И нечего со мной спорить!" С тех пор *форменная фарисейка* стала ее любимым ругательством.

Страстная неделя повсюду начинается Вербным воскресеньем, но в Гранаде его называют иначе — Лазаревым днем или Лазаревым воскресеньем — и в честь праздника угощают друг друга особыми крендельками. Пекут их по большей части из муки грубого помола, замешивая густое сладкое тесто, но в ходу и бисквиты, и пирожные с розами из крема и прочими излишествами вроде сказочных птиц в разноцветных перьях (точно такие же перышки я потом увидала на рисунках Федерико — он смастерил из них крылья архангелу). На Вербное алтарь покрывают лиловой тканью, священники надевают лиловые облаченья, и весь день по городу неспешно и плавно от церкви к церкви движется нескончаемый людской поток.

В Гранаде с давних пор существует Приют святого Лазаря — лепрозорий и при нем больница для обреченных. В Вербное — Лазарево — воскресенье принято навещать болящих, и Долорес в этот день неизменно отправлялась в лепрозорий с огромной корзиной, которую они с мамой доверху наполняли вкусной едой. Мне очень хотелось пойти с няней, но страх брал верх. Я восхищалась силой духа Долорес, преклонялась перед ее мужеством и бесстрашием: рискуя заразиться ужасной болезнью, она шла в лепрозорий, исполняя безусловный нравственный долг. Причем для нее это был инстинктивный, естественный порыв, а вовсе не долг, что внушало еще большее уважение. Следуя тому же порыву, она всегда шла обряжать покойника, даже если почти не знала ни его, ни семью. Это няня обмыла и обрядила соседскую девочку, мою ровесницу, когда та умерла от удушья, проглотив улитку с раковинкой. Подробности этого несчастья сильно меня впечатлили, думаю, и Федерико тоже.

Долорес нравилось надевать мне бусы — тогда в моде были яркие, синие и красные сверкающие камешки. Я вечно тащила бусины в рот, что мне запрещали — боялись, что нитка порвется, я проглочу бусину и задохнусь. Кончилось тем, что мне вообще запретили носить бусы. Я огорчилась, но не сильно, понимая в глубине души, что запрет диктуют любовь и забота, так необходимые ребенку.

Весь наш дом — большие комнаты и маленький сад — был для меня одной огромной игрушкой. Наверное, поэтому от детства, первых моих семи лет, и осталось ощущение безоблачного счастья.

К нам домой поговорить с отцом приходил крестьянин из Ильоры, *приятель Салюстиано*, как называл его отец. Невысокий, крепкого сложения, всегда в коричневой куртке, казавшейся мне верхом элегантности, — как же он мне нравился! А светлые волосы и голубые глаза просто приводили меня в восторг. Салюстиано всегда угощал нас лесными орехами (вкуснее этих орехов я в жизни не пробовала) и рассказывал изумительные истории: про ручных овечек в красных жилетиках, про свой сад с крохотными деревцами, увешанными крохотными фруктами: раз укусишь — и яблочка нет! Салюстиано рассказывал так вдохновенно и подробно, что и овечки, и жилетики, и крохотные деревца так и вставали перед глазами. До сих пор я их помню. Я знала, конечно, что все это выдумки, но все равно верила, как веришь сказкам.

Салюстиано дружил не только с нами, но и с Долорес. Не знаю, какие дела были у него с отцом, но после их бесед Долорес всегда зазывала Салюстиано к себе на кухню и угощала кофе с молоком, гренками и всем прочим — *перекусить чем бог послал*. Может быть, потому, что сказки он рассказывал нам на кухне, я всегда вспоминаю их вместе — Долорес и Салюстиано. Каких бы сказок он насочинял, случись ему стать писателем! Но в книгах таких сказок нет, и только в моей памяти живут эти удивительные истории, совсем не похожие на приключения Красной Шапочки и Серого Волка. То были живые сказки, рождавшиеся на наших глазах, — рассказы потрясенного и благодарного свидетеля чуда. Я знала, что все это выдумки, но все равно просила Салюстиано повести меня в тот чудесный сад, где пасутся его овечки в жилетиках. Долорес тоже слушала его раскрыв рот, а может, подыгрывала ради полноты моих впечатлений; не знаю, да и не в том дело. Я бесконечно благодарна им обоим за душевную щедрость и доброту.

Долорес, простая крестьянская женщина, наделенная от природы здравым умом и практической сметкой, делила людей не на богатых и бедных, а на добрых и злых. Это и понятно — столь яркая индивидуальность органически не способна мыслить такими категориями, как *слуга* и *хозяин*.

О том что Долорес пробудила творческую фантазию Федерико, тысячу раз сказано, написано и переписано. Я же осмелюсь утверждать нечто прямо противоположное: это Федерико раскрыл творческий дар Долорес. Потому она и

слушалась его беспрекословно, потому играла все назначенные ей роли, даже весьма рискованные. Так, Федерико, нарядив ее немыслимым образом, спорил на что угодно, что Долорес *не пойдет в таком виде на Театральную площадь к началу спектакля* — на всеобщее обозрение. А Долорес пошла и в знак того, что действительно была на Театральной площади, принесла пакетик орешков с вензелем тамошней лавки. Впрочем, доказательств не требовалось: Федерико и Пако наблюдали за подвигами Долорес, спрятавшись за тем самым ларьком.

Как-то Федерико и Пако устроили домашний спектакль — в костюмах и гриме, за которым Долорес специально ходила в лавку на площади Пасьегас. Вместе со служанками они представляли сцены из "Жемчужного замка"[1] Вильяэспесы. Тетя Исабель, постоянная зрительница нашего домашнего театра, уверяла меня, что на спектаклях *вынуждена была дышать через платок* — ее обоняние не выдерживало аромата дешевых румян и белил. Долорес исполняла назначенную ей роль не просто серьезно — самозабвенно, братья же представляли творение Вильяэспесы, которого ни в грош не ставили, с изрядной долей издевки, стараясь при этом не задевать чувств Долорес.

На той же грани иронии и благоговения балансировали и проповеди, которые *выдавал*, как говорили служанки, Федерико. Всерьез или в шутку? Какие там шутки, когда его слушали затаив дыхание, а у него на глазах я не раз замечала слезы. Что-то удивительное, таинственное происходило с нами в те минуты. Да, это было представление, в каком-то смысле пародия, но и здесь Федерико исхитрялся, точнее это выходило у него само собой, не задеть религиозных чувств Долорес. Он был органически не способен ее обидеть, настолько тонко и точно они с Долорес чувствовали друг друга.

А мама, пока Федерико *проповедовал*, только улыбалась. Очень трудно рассказывать о том, что сплеталось из шутки и глубокого искреннего чувства и держалось на зыбкой грани игры и молитвы. Может быть, это единство и есть главный корень искусства? Не знаю, но его силу и магию мы ощутили тогда в полной мере.

1. "Жемчужный замок" (1911) — пьеса модного в начале XX века испанского драматурга Франсиско Вильяэспесы (1877–1936), имевшего, по мнению Лорки, особое пристрастие "к восточному колориту, звонкому стиху и рванью страстей на сцене".

3

Набережная Дарро, дом 60

Большая широкая дверь. Звонка нет, вместо него колокольчик. Когда гости звонят, распахивается окно: “Кто там?” Обычно отвечают: “Свои”, и дверь открывается. Из просторной прихожей выходишь в патио, выложенное наподобие

Набережная Дарро. Здесь семья жила с 1909 по 1916 годы

шахматной доски серой и белой плиткой. За колоннами, облицованными гранитом, в кадке растет пальма, а в расписных горшках — темнолистые аспидистры. Кованая ограда отделяет патио от сада.

Рядом с входной дверью справа чулан, где летом хранят ковры, а зимой циновки (боясь сырости, полы у нас в доме всегда закрывали). Слева лесенка — там комнатка, которую Пако превратил в голубятню. (Как много голубок в стихах Федерико!) Здесь же пристенный фонтан; стекая в чашу, чуть слышно журчит вода. И по сию пору Гранада неотделима для меня от этого звука — говора воды...

Справа большая лестница, ведущая в комнаты. На верхней площадке большие напольные часы с эмалевой картинкой. Идиллия, изображенная на часах — прелестные дети в зеленом лесу, — нравится мне необычайно. Из прихожей (теперь ее именуют *холлом*), по коридору можно пройти в туалет и на кухню, отделенную кованой решеткой от сада, где живут наши черепахи, — вместе с рыжим котом мы часами наблюдаем за их неспешной прогулкой или просто сидим у открытого очага, подбрасывая в огонь сухие ветки или солому. Еду во времена моего детства готовили прямо на огне, и воду для умывания тоже приходилось греть — в доме еще не было ванной.

В кухне под большим колпаком очаг, слева узкое окно, справа лесенка в прачечную, там два больших сосуда с водой, два каменных корыта и запас дров.

Рядом с кухней столовая с двумя балконами и окнами на солнечную сторону, в сад. Над камином, облицованным серым мрамором, большое зеркало. Зимой камин горит целый день, и вся жизнь проходит здесь, в столовой, где теплее всего. Помню потертые зеленые кресла, старинный буфет, еще какие-то мелочи.

Из кухни выходишь прямо в сад, а из большой гостиной с ковром в серо-зеленых тонах — в патио. В гостиной два дивана. Один большой, с плетеной спинкой, второй маленький (он до сих пор стоит у меня в комнате), две качалки, два пуфа и множество горшков с цветами. На стенах картины. Здесь же, в гостиной, пианино, на котором учатся играть Конча и Федерико. Рядом гостиная поменьше с лоджией, откуда видно улицу. Здесь, в моей *стеклянной башенке*, стоит мой любимый диван, обитый красным бархатом, а пол застлан ковром изумительной красоты: багряные и сизые листья разбросаны по светлому фону. На полке теснятся фарфоровые фигурки, вполне обыкновенные, но на мой тогдашний взгляд, просто

замечательные. Особенно нравились мне *маленькие бродяжки* – двое детей в лохмотьях переливчатых кофейных оттенков. Там, в *стеклянной башенке* на любимом диване, глядя на реку, горы, кипарисы и стоянку экипажей внизу, я могла просидеть целый день.

Здесь я пряталась, подстригала все короче и короче ненавистную челку или, открыв окно, бросала что-нибудь вниз, на улицу – когда картофелину, а когда и чашку. Только затем, чтобы посмотреть, как оно будет падать, больше низачем! Я знала, что поступаю безобразно, но так упоительно остры были ощущения, что удержаться я не могла. Долго это оставалось моей тайной, но всему приходит конец.

Однажды на голову случайного прохожего – надо же ему было именно в ту минуту оказаться под нашим окном! – я *выронила* довольно увесистую связку маминых ключей. Ушибленный сеньор пришел в бешенство, чуть не оборвал дверной колокольчик, бурно негодуя, – и все открылось. Меня отругали самым серьезным образом. И когда я, разобиженная, вся в слезах, осталась одна в коридоре, вдруг открылась дверь кабинета, и появился Федерико. Утешая, он взял меня на руки, отнес в свою комнату, посадил на диван, вытер слезы. Я хорошо помню, как покойно мне стало, когда Федерико защитил меня и утешил – прежде так покойно бывало только с мамой. Наверно, тогда я и полюбила брата по-настоящему. Ведь он понял, что в этой глупости мне чудился какой-то смысл – непонятный, но тем более притягательный.

Если подняться по лестнице на площадку, где стоят часы, увидишь сразу несколько дверей. Они ведут в комнаты. Правая – в спальню родителей, за ней – наша комната с Кончей. Наши окна тоже выходят на улицу, а через стеклянную стену верхнего холла открывается вид сверху на патио. Здесь же, наверху, комната горничной. Слева – комната братьев. Еще одна дверь ведет в комнату моей любимой тети Исабель, папиной младшей сестры (она жила с нами до замужества). Помню такую забавную подробность. Каждый вечер тетя наливала в бутылку родниковую воду и клала под подушку. "Чтоб была хорошая кожа, – говорила она, – умываться надо не горячей и не холодной водой, а теплой – согретой до температуры тела". Что сама она и делала неукоснительным образом.

В детстве я никогда не скучала – дом у нас был открытый и гостеприимный. Все звали меня по-разному. Отец почему-то "чурочкой", тетя "ягненочком" и "деткой", а мама и Федерико – Исабелитой, а Кончу – Кончитой. К Федерико, как я уже сказала, мы с сестренкой обращались торжественно: *Владыко*

Федерико! Никто и никогда не звал его уменьшительным именем. Уж не знаю почему, Рафаэль Мартинес Надаль[1] уверяет, что наш отец обращался к сыну "Федерикито". Нет, нет и нет. Пако все называли Пакито, а Федерико – только Федерико.

Конча и Пако (в особенности Пако!) изрядно поиздевались надо мной в детстве. У меня были (увы – были!) большие красивые глаза, и брат с сестрой десять раз на дню восклицали при виде меня: "Очи чудные, распрекрасные!", а я злилась и выходила из себя. В конце концов Пако нарисовал *распрекрасные очи* на картонке, пришпилил ее к стене, и всякий, кто проходил мимо, стал чуть ли не машинально бормотать: "Очи чудные..." Это оказалось еще обиднее, уж и не знаю почему, а Пако – знал, заранее знал, потому и нарисовал *чудные очи.*

Я была, по общему мнению, покладистым, некапризным ребенком. А может, так казалось, потому что мне не было нужды капризничать – все мои высказанные и невысказанные желания исполнялись словно сами собой. Журила меня, не часто и всегда за дело, только мама, а ее огорчение было худшим из наказаний. Мама судила по справедливости, чего не могу сказать об отце. Сердился он бурно и, выйдя из себя, срывал зло на первом встречном – конечно же, ни в чем не виноватом! Накричав, тут же успокаивался и навеки забывал и о проступке, и о наказании. Понятно, что мы старались не попадаться ему под горячую руку, тем более что надо было всего-навсего переждать. В сущности, я не знаю человека добрее и великодушнее отца. Вот уж кто не помнил зла!

Думаю, надо обязательно рассказать об одном его поступке. Нашей семье принадлежал пустырь на краю селенья, и отцу пришло в голову выстроить там дома для сдачи в наем. Так он и сделал, но вскоре обнаружилось, что за аренду никто не платит: у одних нет денег, у других некому зарабатывать, третьим некуда деваться. И отец просто-напросто передал дома в собственность жильцам. С тех пор этот поселок так и называют – *Квартал дона Федерико*[2]. И даже при Франко так называли.

Когда в 1954 году я вернулась в наше селенье в гранадской долине, душевное потрясение было так велико, что я в полном смысле слова лишилась дара речи. За сутки я не произ-

1. Рафаэль Мартинес Надаль (1904–2001) – один из самых близких и давних (с 20-х гг.) друзей Лорки, автор мемуарно-литературоведческой книги "Публика. Последняя пьеса Лорки". Преподавал испанский язык и литературу в Лондонском университете.
2. Дон Федерико – Федерико Гарсиа Родригес (1859–1945) – отец поэта, землевладелец.

несла ни слова. Да и как иначе, когда передо мной одна за другой вставали тени, тени былого... Я иду, открывается дверь, и появляется человек из того, канувшего времени. Молча обнимает меня или просто берет за плечи, смотрит в глаза, быстро отворачивается, чтобы скрыть слезы, и не говорит ни слова. Любое слово в эту минуту показалось бы жалким и неуместным. Только одна старуха тихо сказала: "Сегодня мне снова снилась твоя мать".

На всю жизнь я запомню это возвращение. Тогда я поняла, что и я для тех, кто вышел ко мне навстречу, — только тень былого, напоминание о невозвратном. На какой-то миг все показалось мне призрачным, нереальным: детство вернулось словно только затем, чтоб оборваться и вновь со всей жестокостью напомнить о том, что смело нашу жизнь. Я знаю, в тот день люди шли навстречу не мне, а своему прошлому. Для них я была *дочерью моего отца*, дочерью главы "изумительной чудесной семьи" (так Федерико надписал отцу первое издание "Цыганского Романсеро").

Нет почестей выше тех, что воздали крестьяне нашего селенья в то лучезарное утро моему отцу. Свет его жизни коснулся в ту минуту всех нас и стал памятью — как при последнем прощании. И я не знаю, что это было — смерть или воскресение.

В селенье мы всегда приезжали на сбор урожая, после того как отгремят фейерверки праздника Тела Господня[1], одного из главных праздников года. Еще в апреле мы нанимали экипаж для поездок по окрестностям, на корриду и на концерты в Альгамбру[2]. Так было принято. Ездили мы и на бульвар, к Салону, и, остановившись у эстрады, где играл муниципальный оркестр, слушали музыку и глядели по сторонам. От этих

1. Праздник Тела Господня (Корпус Кристи) — один из самых торжественных испанских праздников, учрежденный в XIII в. (далее в авторском тексте хронологическая неточность) и призванный напомнить верующим о сущности католического догмата причастия (евхаристии). Главную часть праздника составляют шествия, в которых участвуют "великаны" и "карлики". Гигантские (до четырех метров) фигуры изображают библейских или аллегорических персонажей (семь смертных грехов), а также римских императоров Нерона и Калигулу, мавританского царя и царицу и даже испанского национального героя Сида Воителя, героя "Песни о моем Сиде". Непременный участник этих шествий — сказочный дракон Тараска, карнавальный атрибут романской Европы. Согласно легенде это чудовище, обитавшее в королевском дворце Тараскона, было укрощено святой Мартой. Несмотря на запрещение шествий с Тараской еще в 1780 г., обычай этот жив и поныне.

2. Альгамбра — дворец и крепость мусульманских правителей Гранады, шедевр мавританского зодчества. Возведена в 1250–1350 гг. В 1526 г. внутри Альгамбры Карл Пятый начал строить дворец, но сооружение, чуждое архитектурному ансамблю, осталось незавершенным.

прогулок с остановками у нас в обиходе осталось словечко: "Стоп, машина!" Обычно эта фраза означала приглашение полюбоваться пейзажем или панорамой города.

Ходить пешком в Гранаде не принято: поездки заменяли прогулки. У нас в семье прогулки были исключительно женским времяпрепровождением. Ни отец, ни братья никогда не ездили с нами. Как-то разом все это кончилось — ушло то время, смолкли колокола.

Мама, к слову сказать, как и Федерико, различала звоны всех местных церквей. Я еще кое-как отличу колокола Велы[1] от колоколов собора, а она, заслышав звон, сразу определяла: "Это у Скорбящей, а это монастырские, а вот и у Матфея зазвонили!" Сколько колоколов в стихах Федерико! И в наши домашние спектакли или просто игры Федерико всегда вводил перезвон колокольчиков или курантов как элемент сценической выразительности. Большие часы на лестничной площадке играли три мелодии: одна предваряла бой, другая отмечала четверть часа, третья — половину. Случалось, Федерико ради нужной мелодии переводил часы — сбивал ход времени, а заодно и распорядок домашней жизни, и Долорес, вечно витавшая в облаках, вполне могла, посчитав удары, подать ужин через час после завтрака.

В детстве для нас очень много значил театр, впрочем, речь не совсем о театре. Мама до семнадцати лет воспитывалась в монастыре и потому знала наизусть все молитвы и чин мессы. Отец же вообще в церковь не ходил, а Федерико, по родительским воспоминаниям, с самого раннего детства *играл в мессу*. Сама я этого по малолетству не помню, но зато своими глазами видела церковный (или, если угодно, театральный) реквизит этой игры: в деревянном ящичке лежали подсвечники, псалтирь и маленькая дарохранительница. Федерико не раз говорил (а точнее повторял вслед за Кларином[2]), что из ребенка, играющего в мессу, выйдет или дурачок, или поэт. Мама рассказывала, что Федерико самозабвенно играл в церковь и вообще любил мессу — как зрелище, как драму, как таинство (вот три ключевых слова для его творчества). А что церковь, обряд и театр растут от одного корня, так это общеизвестно.

Праздник Тела Господня для меня — одно из самых красочных, врезавшихся в память событий детства. Ежегодно мы смотрели на праздничные процессии с балкона шляпной

1. Вела — надвратная башня Альгамбры.
2. Кларин (букв.: рожок) — псевдоним испанского писателя, литературного критика и публициста Леопольдо Аласа-и-Уреньи (1852–1901).

мастерской Энрике Прието, что на улице Католической Четы[1]. (Энрике приходился кузеном владельцу книжного магазина на улице Месонес, самого лучшего в Гранаде.) Дорогу, по которой двигалась процессия, зрители забрасывали ворохами цветущей мяты, а над окнами и балконами, как паруса, вздымались белые квадраты холщовых навесов, врезанных в ослепительную летнюю синь. Не зря Федерико назвал этот праздник синим: "Синий Корпус. Белые Святки"[2]. Именно так: Рождество — белое, а Праздник Тела Господня — синий.

Я помню его во всех подробностях. День жаркий, прозрачный неподвижный воздух напоен ароматом трав. Процессию возглавляет странное существо — разряженный по последней моде Тараска. Вернее, картина выглядит так: застыв в живописном извиве, к повозке припадает дракон, изрыгающий пламя изо всех семи пастей (это, собственно, и есть чудище по имени Тараска), а на нем, попирая змия своей единственной ногой, стоит обыкновенный портновский манекен, разнаряженный так пошло и пышно, что и описать невозможно. В Гранаде сей манекен тоже заодно именуют Тараской. За описанной композицией следуют посрамленные силы зла: великаны и мавританский царь с царицей. Они шествуют величественно, а карлики с огромными головами из папье-маше гоняют ребятню, размахивая надутыми бычьими пузырями. За великанами и *голованами* идут церковные общины, а в самом конце несут носилки с дарохранительницей (у нас в Гранаде она простая, серебряная, без особых украшений). Зрители осыпают носилки с Чашей лепестками роз. Ради такого случая и мы запасали преизрядное количество розовых лепестков. За дарохранительницей следует епископ, за ним несут обитый красным бархатом епископский трон, дабы иерарх мог передохнуть, когда процессия остановится. За троном несут гербы — Гранадский и Католической

1. Католическая Чета — титул, дарованный Римским Папой Александром VI в 1494 г., вместе с Золотой розой, королевской чете, объединившей Испанию, — Фернандо V Арагонскому (1452–1516) и Исабели I Кастильской (1451–1504) в знак признания их заслуг перед католической церковью и в ознаменование отвоевания Гранады (1492) и победоносного завершения Реконкисты, многовековой войны против мавританского владычества в Испании. Уже в качестве наихристианнейших правителей Католическая Чета в 1498 г. издала указ об изгнании из Испании в трехдневный срок евреев и мавров, погубив тем самым, по убеждению Лорки, блистательную арабо-андалузскую культуру его родины. Об этом далее говорит и Исабель Гарсиа Лорка.

2. Строка из стихотворения Лорки "Карусель " из книги "Песни". Корпус *(лат.)* — тело. Приводим перевод Инны Тыняновой:

Синяя Пасха.
Белый сочельник.

Четы. И в довершение всего, держась на приличном расстоянии от вышеописанных персонажей, шествуют городские и военные власти. Процессия на празднике Тела Господня в Гранаде всегда торжественна и живописна.

Всласть налюбовавшись процессией, народ устремляется к собору, дабы своими глазами увидать, как дарохранительницу внесут во храм. Праздник Тела Господня помнится мне грандиозным ярким зрелищем в чистом утреннем свете, но сейчас я понимаю, что это театральное великолепие таило и взращивало ростки живой неканонической веры.

Праздник Тела Господня учрежден в XVI веке[1], как мне думается, в ознаменование торжества победившей стороны над тем, что все равно не вычеркнуть из нашей души и истории. Как символ прошлого, которое вечно живо, высится над Гранадой Альгамбра. Эта двойственность внесла разлад в души гранадцев, и мне больно думать, что большинство всегда встает на сторону власти и более того — начинает искренне ее любить, проклиная все, с ней несовместное.

Так было, когда Католическая Чета отвоевала Гранаду. Так было и в гражданскую войну, когда власть взял диктатор. Террор в Гранаде достиг крайних степеней при единодушном одобрении происходящего — вот что горько. В нашем, прежде таком многолюдном, доме не стало гостей. Только дон Мануэль де Фалья[2], которого тоже вызывали на допрос, и еще одна семья — семья моей кузины Амалиты Ольмедо[3], дочери замечательной пианистки, не оставили нас. Но об этих днях я не хочу вспоминать. Пока я рассказываю о счастье — о детстве.

У братьев была еще одна любимая игра, до которой я не доросла. В одной из комнат на пути из гостиной к террасе, которую мама, как и Федерико любившая давать всему имена, называла львиным альковом, стояла большая, с человека ростом кукла — негр в ливрее, очень походивший на швейцара. Откуда он взялся, понятия не имею, но вид имел весьма латиноамериканистый и на редкость живописный. Сей колониальный персонаж внушал мне восхищение, смешанное с ужасом. И до сих пор мне кажется, что это он стал потом *королем Гарлема в ливрее швейцара* из "Поэта в Нью-Йорке".

1. И. Гарсиа Лорка ошибается — см. комментарий на с. 166.
2. Мануэль де Фалья-и-Матеу (1876–1946) — испанский композитор. После установления диктатуры Франко эмигрировал в Аргентину.
3. Амалия Ольмедо Морено (1911–1999) — жена кузена Гарсиа Лорки — Франсиско Гарсиа Гонсалеса.

В той же комнате стояли два сундука. Один большой (теперь он в Сан-Висенте), куда никто не лазил, — там хранились вещи, и другой поменьше — удивительный, волшебный сундук! Увы — больше я его не видела. А бывало, откроешь его черную крышку, и на свет появляются всякие чудеса: старинные вещицы неизвестного назначения (как развивали они детскую фантазию!) и сказочные наряды: костюм Пьеро, костюм Арлекина в красно-синих ромбах; белый балахон гранадского халифа с тюрбаном, роскошный атласный костюм Полишинеля. И целая куча шляпных коробок с восхитительными старинными головными уборами — не в них ли много лет спустя выйдут на сцену Девицы (точнее, старые девы) из "Доньи Роситы"? Какие умопомрачительные шелковые цветы! Какие вуальки с бархатными мушками! Когда Федерико устраивал представления, он наряжал в эти шляпки служанок, и они гордо выхаживали по кухне, играя, должно быть, какую-то свою, неслучившуюся жизнь. Жалко, я плохо помню, так давно это было. В памяти осталось лишь феерическое ощущение не то чудесного сна, не то призрачной яви.

Гранадский халиф в исполнении Федерико, можно сказать, имел успех, хотя эмоции публики (то есть соседей) сильно обескуражили актера. В андалузских домах, как и в арабских постройках, можно легко перейти с одной крыши на другую, чем Федерико и воспользовался, дабы появиться перед соседями в белом балахоне, тюрбане и накладной бороде, бормоча что-то *на своем арабском наречии*. Соседи так перепугались, что Федерико тут же отодрал бороду, скинул балахон и заговорил своим голосом, но одну даму так и не удалось привести в чувство — пришлось послать за врачом и даже везти потрясенную зрительницу в больницу. Соседи негодовали, кричали, что так не шутят, Федерико готов был сквозь землю провалиться вместе со своим реквизитом, но зато как смеялись потом мама и тетя Исабель, вспоминая этот злосчастный спектакль!

В нашем доме на набережной Дарро я впервые пережила то, что можно назвать горем — драму потери любимого существа. В прихожей, в стенном шкафу хранились наши игрушки. Там, вместе с остальными, жила большая кукла Кончи, с которой мне дозволялось играть (Конча вообще мне все позволяла). Как же мне нравилась эта кукла! Изумительной красоты лицо из тончайшего китайского фарфора (в ту пору в Гранаде всякий фарфор называли китайским). Прикасаться к лицу красавицы ни в коем случае не разрешалось — и прав-

да, это было бы кощунством. Как же мне хотелось походить на эту куклу, мой эстетический идеал! А уж когда ей сшили платьице точь-в-точь как мое — розовое с белой опушкой по вороту... Вот это чудо я уронила — и оно разбилось. Отчаянье мое не поддается описанию. А круглые фарфоровые глаза, покатившиеся по ковру! Эта ужасающая картина встает передо мной словно кадры сюрреалистического фильма. Меня даже не ругали, так очевидно было мое горе. Кончилось же тем, что мама отправилась на улицу Католической Четы в замечательный магазин игрушек (он назывался "Полярная звезда") и купила кукле новую голову.

У меня с братьями была большая разница в возрасте, особенно ощутимая в детстве. Я жила среди взрослых и, наверно, поэтому больше смотрела и слушала. А может, так, с раннего детства, проявлялась врожденная склонность — я скорее созерцательный человек. Потому мне и памятны мыльные пузыри, которые Пако пускал с балкона — такие огромные! Они отрывались от трубочки, уплывали в сад и на миг — единственный миг их жизни, — словно линза, отражали весь сад целиком. И погибали. Вообще-то я побаивалась пытливого ума и, в особенности, *умелых ручек* брата Пако: сколько моих игрушек он прикончил, желая разобраться, как они устроены! Обещание "потом соберу!" исполнялось не так уж часто (по веским техническим причинам), но я все равно давала Пако игрушки *для эксперимента*, потому что его конструкторские способности были выше моего разумения и внушали трепет. Какой прекрасный город он воздвиг в саду под окном гостиной — башенки, замок, мост! Я не могла оторвать глаз от этого чуда песчаной архитектуры, но так и не решилась прикоснуться.

Опять я перескакиваю с одного на другое. Чуть тронешь калейдоскоп памяти — и времена меняются, а я не успеваю ухватить связующую нить. То прошлое застит настоящее, то настоящее — прошлое, и, кажется, им нечего делать вместе, такие они разные, а все же умещаются в одной душе. Иногда мне кажется, что я — кошка, прожившая свои семь — таких разных — жизней. У каждой свое место действия, свой сюжет, свой свет, свой запах. Всякий раз воспоминание отчетливо и смутно: вот церковная башенка, вот щербинка на каменной кладке, крохотная площадь в Альбайсине, уплывающий в сумерки колокольный звон... Я **помню** — но куда все это делось, почему, как могло пропасть? Я знаю — ничего нет, давным-давно нет, но вдруг неведомо почему, бог знает из каких закутков вырывается прошлое и накатывает девятый вал той жизни, живой по сию пору. Тяжкая это ноша — память...

Альбайсин. 1915

4

Лето в Гранадской долине

Летние месяцы мы проводили в нашем селении в долине Сухайры (что-то англосаксонское слышалось в этом слове Карлосу Клаверия[1]). В ту пору селенье именовалось *Отвратным* – Аскеросой; позже название сменили на *Светлую Долину* – Вальдеррубио.

Я хорошо помню детство, особенно праздники: наши домашние и те, к которым готовились всем миром. У лета, осени, зимы и весны свои торжества и радости. Хотя, по сути дела, в Гранаде не четыре, а два времени года, причем, ни то ни другое не знает меры. Зимой – пронизывающий холод, тусклое солнце и тепло очага. Летом – зной, слепящее солнце и полумрак комнат под защитой штор.

Для нас лето начиналось после праздника Тела Господня. Отгремит фейерверк, увянут в ночном небе разноцветные светящиеся букеты – и мы едем в деревню. Отцу, земледельцу по натуре, нечего делать в городе – пора убирать урожай. Весь июль мы в Аскеросе, то есть в Вальдеррубио.

Селенье наше расположилось на пустоши у склонов Сьерры-Парапанды. Помню такие строки:

...ни деревца. Только тучи
ущельем идут в долину
и льются дождем в Гранаде.

О тех же дождях в "Мариане Пинеде"[2] поминает одна из сестер Фернандо:

Парапанду затуманит –
жди ненастья, не обманет.

В окрестностях Гранады все знают присловье: "Как Парапанда шапку натянет, дождик пойдет, да и гром грянет". Тучи над Парапандой – верный признак близкой непогоды.

1. Карлос Клаверия (1909–1974) – доктор филологии. После установления диктатуры Франко эмигрировал, преподавал в университетах Швеции и США.
2. "Мариана Пинеда" – пьеса в стихах о судьбе народной гранадской героини, казненной по приговору королевского суда за помощь повстанцам, была закончена 8 января 1925 г. и поставлена летом 1927 г. труппой Маргариты Ксиргу в Барселоне, а затем в Мадриде. Первая публикация – годом позже.

Аскероса самой природой поделена пополам. Всего несколько шагов отделяют пустоши от плодородных земель, не знающих засухи, — рядом проходит один из самых больших оросительных каналов гранадской долины. Контраст поразительный, определивший не только пейзаж, но и характер обитателей Аскеросы. Одни улыбчивы, приветливы, другие суровы и сухи, как их земля. Аскероса совсем не похожа на Фуэнте-Вакерос, омытый двумя реками, утопающий в зелени. Как все селенья горных пустошей, Аскероса молчаливей и затаенней своей прибрежной родни. Для земли нет ничего важнее воды, и потому так многозначительны слова Невесты в "Кровавой свадьбе"[1]:

— Там, откуда мать моя родом, деревья росли. Благодатный край!
— Оттого и была она, как огонь[2], —

продолжает Служанка. И правда, земля лепит человеческую душу. О земле говорят Мать Жениха и Отец Невесты, назначая день свадьбы. *В мою землю участочек чужой вклинился – как заноза в сердце! И сколько ни прошу, ни за какие деньги продавать не хотят*[3], — жалуется Отец. Так же жаловался нашему отцу кто-то из его родни — не раз и не два отец поминал эту историю. А произошла она, я точно знаю, у нас в Аскеросе, странном селении, расколотом на две половинки. Очень много дала Аскероса Федерико.

Наш тамошний дом с высоким крыльцом, просторный и несуразный, изумлял множеством комнат, коридоров, чуланов и закутков. От конюшен и загонов дом отделял внутренний дворик: зеленая деревянная решетка, оплетенная вьюнком, большая скамья, вытесанная из камня, алые герани в расписных горшках, виноградная лоза на опоре и прекрасный большой олеандр, весь в розовых цветах.

Из мебели, стоявшей в доме, помню только стулья с плетеными сиденьями из камыша и черной спинкой в виде пальмового листа. Такие, должно быть, стояли *в доме Бернарды Альбы*. На стенах красивые цветочницы, белые с перламутровым отливом; цветы, зелень и картины — точно такие же олеографии, как и у соседей. Странное дело: жители гранад-

1. "Кровавая свадьба" — первая из трагедий Лорки, написанная в 1932 г. и поставленная в 1933 г. в Мадриде.
2. Федерико Гарсиа Лорка. Поэзия. Проза. Театр. — М.: АСТ, Ди Дик, 2000. С. 406.
3. Там же. С. 493.

ской долины украшали свои дома исключительно северными пейзажами. Уставшая от ярких красок и ослепительного света, душа хотела чего-то другого — мягких, приглушенных тонов, романтической дымки и заснеженных елей.

Но лучше всего я помню не пейзаж, а самую большую картину, внушавшую мне неизбывный ужас, — "Несение Креста", копию образа из Моклинской церкви. Моклин, традиционное место паломничества, известное всей Андалузии, упоминается в "Йерме"[1]. Туда в надежде обрести ребенка отправляется героиня трагедии. Сама я в Моклине не бывала, а братья — ездили, хотя отец и выражал по этому поводу недовольство. У Моклина дурная слава — это вакханалия, а не богомолье. "За скитом сорок бочек вина стоят", — говорит в "Йерме" одна из девушек, а Старуха-безбожница объясняет: "Зачем сюда едут? Найти себе другого. Такие они, здешние чудеса"[2]. Паломничество в Моклин, больше похожее на языческий разгул, не обходится без драк, попоек, а то и преступлений, не говоря уже о богохульстве и сквернословии: "Куда ни повернешься, только уши затыкай"[3]. Я сама слышала, как жители окрестных деревень на пути в Моклин последними словами ругали паломников с такой ненавистью и презрением, что становилось жутко.

И все же летние месяцы в Аскеросе остались в памяти как самые спокойные, размеренные и даже монотонные. В этом селении прошли мои первые десять лет (какой долгой оказалась жизнь!), и сегодня я благодарно вспоминаю то время, очень значительное для меня. Важное, я уверена, и для Федерико.

Час сиесты ежедневно наступал с той же непреложностью, с какой всходило и заходило солнце. Церковный колокол отбивает полдень и начинается сиеста — на целых три часа жизнь замирает. Крестьяне возвращаются с полей, смолкают голоса, не слышно стука копыт. Мертвая тишина. Мы, все четверо, поев, усаживаемся в плетеные качалки. Здесь, в гостиной, прохладнее всего. Шторы задернуты, только один лучик пробивается сквозь щелку и светлым пятнышком — как солнечный зайчик — подрагивает на полу. Федерико берет гитару (ту самую, что сейчас в Сан-Висенте) и начинаются песни. Не те, что Федерико потом аранжировал, а совсем другие — старинные, сочиненные в XV–XVI веках,

1. "Йерма" — вторая трагедия Лорки, поставленная в 1934 г. в Мадриде труппой Маргариты Ксиргу.
2. Там же. С. 493; с. 499.
3. Там же. С. 493.

из песенников того времени, и замечательные народные: астурийские, галисийские, кастильские, каталонские. Какие именно, я хорошо помню. Иногда братья пели на два голоса, и, должна заметить, Пако вел свою партию не хуже. Иногда же начиналось канте хондо[1] — Федерико пел один. (Канте хондо — это всегда одинокий голос, да и никто из нас, кроме Федерико, не владел этим пением.) Хорошо помню слова тех песен — их теперь редко когда услышишь.

Сейчас уже и не вспомнить, долго он пел или не очень, хотя эти концерты и стали, по сути дела, основой моего музыкального образования. Когда песни кончались, мы разбредались по своим комнатам. В той, где жил Пако, и у нас с Кончей потолки были выкрашены голубым — словно кусочек неба втащили в комнату. А Федерико попросил у себя сделать иначе и выбрал лиловатый тон. Обычно он брал в комнату свой *кофе с огонечком* и садился писать, приоткрыв окно, — так, чтобы сноп света падал на его бумаги (предвечерье — его любимая пора для работы). Комната же оставалась в полумраке не только для прохлады, но и чтобы уберечься от мух, которых — увы! — хватало, раз рядом конюшни. Поэтому в доме все двери завешивали подобием штор из шуршащих палочек желтого тростника: шорох отпугивал мух. А еще в столовой красовалось что-то вроде плюмажа — большая кисть из длинных тонких полосочек разноцветной папиросной бумаги. Этот растрепанный помпон тоже замечательно шелестел, и всякий раз, проходя мимо, я колыхала его и наслаждалась. Надо сказать, что мерзостных липучек, этих *мушиных кладбищ*, у нас в доме не было и быть не могло.

Ближе к вечеру Федерико брал свои листки и шел работать к реке. В стихотворении "Желанье" 1920 года есть такие строки:

Мой рай — это пустоши
без соловья,
а лира моя —
это струны ручья.

1. Канте хондо (букв.: глубинное пение) — андалузская песенная культура, одна из древнейших в Европе, в которой слились цыганские, арабские и испанские элементы. Это песни-импровизации на традиционной основе, обычно в сопровождении гитары. Для Лорки канте хондо было мерилом поэзии — это ощутимо и в его поэтическом сборнике "Поэма канте хондо" (1921, публикация в 1931 г.), и в лекции об этом культурном феномене, впервые прочитанной в Гранадском художественном центре 19 февраля 1922 г. и вскоре опубликованной в местной газете. См. Ф. Гарсиа Лорка. "Самая печальная радость..." С. 51–67.

Кончита, Пако, Федерико и Исабель (на коленях у Федерико). 1917

В том раю, под тополями, у притока Хениля — *смиренной реки* Кубильяс — он работал до самого вечера. Там родились почти все его юношеские стихотворения — "точный образ дней отрочества и юности"[1], — как сказал сам Федерико. В одном из ранних эссе "Раздумья и аллегории воды" он пишет: "Только отпусти — и вода унесет их, и круглые купы деревьев, и мои глаза". Все, что он тогда написал, неотделимо от изумительного пейзажа Аскеросы. Уже в сумерки, вместе со стадами и пастухами Федерико возвращался домой. Среди темных теней отчетливо выделялся его белый силуэт (Федерико, как и отец, любил носить белое). Он всегда возвращался с пастухами, не в одиночку.

Под вечер мы с Кончей обычно гуляли — шли прямо по жнивью и дальше, вдоль свекловичных полей. Слепящее солнце, клонившееся к горизонту, желтизна снопов и темная зелень ботвы. Но еще несколько шагов — и все меняется. От

1. Так Лорка определяет свои стихи в предисловии к сборнику "Книга стихотворений".

реки веет прохладой и свежестью, а солнце, плутая в лабиринте тополиных ветвей, уже не обжигает, а греет. Купались мы не часто — вода в Кубильясе, прозрачная и чистая, была на удивление холодной. Так вот, там, у источника Ла Каррура, обычно и сидел Федерико. В стихотворении "Сон" 1919 года есть такая строка: "Кануло сердце в глубины ручья". В этом поэтическом диалоге сердца и ручья многим, как мне говорил Дамасо Алонсо[1], потом чудилось предсказание: дорога, начавшаяся у нашего источника, Ла Карруры, кончилась у Источника Слез в Виснаре[2]:

Кануло сердце в глубины ручья.
(Белой рукой
поток успокой!)[3]

Гранадская долина времен моего детства до сих пор у меня перед глазами. Щедрые плодородные земли, а за домом — пустошь, выжженная, иссушенная земля, притягивающая и завораживающая какой-то своей, особой, щемящей и обреченной красотой. Мы никогда там не гуляли, но иногда наш кучер Хуан, синеглазый и светловолосый, запрягал в повозку мулов и катал нас по пустоши. Чтоб было лучше видно, я всегда усаживалась рядом с ним. Кругом ни деревца, только кусты с большими белыми цветами, зеленоватыми ближе к сердцевине; то там, то здесь валуны. И никого. Только когда зацветают кусты, сюда ходят женщины собирать бутоны. Их маринуют, и получаются каперсы. На этой пустоши в "Кровавой свадьбе" соседки, собиравшие каперсы, и видели Леонардо — всадника на взмыленном коне: "Будто с того света прискакал!"[4]

Однажды, когда мы ехали, на дорогу выползла большая змея. Хуан кинулся на нее, как святой Георгий на дракона, и со страшной яростью забил ее кнутом. Змея корчилась под ударами, извивалась, обернувшись вокруг кнута, повисала на нем, а Хуан взмахивал кнутом и, со свистом рассекая воздух, бил злосчастную животину. Я до смерти перепугалась, когда увидела змею и, не будь Хуана, наверно, упала бы в обморок. Но сцену казни я не забуду никогда.

1. Дамасо Алонсо (1898–1990) — испанский поэт, литературовед и литературный критик; один из самых близких друзей Лорки.
2. В Виснаре 19 августа 1936 г. Лорка был расстрелян.
3. Ф. Гарсиа Лорка. Избранные произведения. Т. 1. С. 50. Перевод Н. Ванханен.
4. Федерико Гарсиа Лорка. Поэзия. Проза. С. 399.

Когда все кончилось, Федерико спросил: "Зачем ты ее убил? Почему не дал уползти?" Хуан ответил, что змея на дороге — плохая примета.

Хуан был в моих глазах героем, одолевшим злую силу, идеалом воина и мужчины. Ни в какое сравнение с ним не могли идти мои ровесники, потому, наверно, их детские ухаживания нимало меня не трогали. К тому времени у всех моих подруг появились кавалеры, и всем нам под дверь подсовывали открытки с голубками и сердечками. Я тоже каждый день получала такие послания от соседского парнишки, внучатого племянника Фраскиты Альбы. Ровно в полдень из-под двери вылезал белый конверт, но я брала его с полным равнодушием. В отличие от подружек я не была ни в кого влюблена и не влюблялась еще очень долго — причиной тому Хуан, сравнения с которым не выдерживал никто. Он мог защитить, он защитил — больше ни с кем и никогда мне не было так спокойно и хорошо.

Много лет спустя, разбирая юношеские рукописи Федерико, я наткнулась на стихотворение "Гадюка":

Передо мною
черная змея
в пыли чертила колдовские знаки,
как пьяная от солнца негритянка.

30 июля 1918? 1919?

Когда мы приезжали в селенье, я первым делом шла повидать Хуана. Он работал у моего отца и получал какие-то деньги. Отец называл его кузеном, но состояли они в родстве или нет, толком не знаю, во всяком случае, речь могла идти только о дальнем родстве — двоюродных братьев у отца не было. Я хорошо помню Хуана. Высокий, стройный, синеглазый, светловолосый и всегда с улыбкой, открывающей ровный ряд белых зубов. Впрочем, в сравнении с льняными волосами зубы могли показаться даже желтоватыми. "А вот и девчушка!" — говорил он, завидев меня. Отец знал, что может положиться на Хуана, раз отпускал меня с ним куда угодно — даже в поле, даже на молотилку. Вот где настоящие приключения! Шорох сыплющегося зерна, запах соломы — я все это помню. А как Хуан качал меня на качелях! С ним я не боялась даже заходить в конюшню. Рядом с ним я вообще ничего не боялась. С ним я бы пошла на край света.

Из Хуана вышел бы прекрасный учитель. Как интересно он рассказывал о животных, с которыми был ровен и ласков, но никогда не сюсюкал, как старая дева со своей болонкой. Хуан

всегда знал, что им нужно, лечил их, заботился. А какие прочные канаты он вил из дрока! Как замечательно столярничал! Его подарок — собственноручно вырезанная из полена кукла в платьице из рогожи — была мне дороже всех красавиц с фарфоровыми личиками из "Полярной звезды", лучшего гранадского магазина игрушек. Платье для *моей чурочки* Хуан пошил из мешка, да так ловко его выкроил, что инициалы моего отца — *ФГ* — оказались у куклы на груди, а две синие полоски пошли по подолу. "Держи, это тебе, ребятенок", — сказал Хуан, протягивая мне куклу, и она стала моей любимой *летней куклой*. Потому что я не брала ее в город, где ей было бы неуютно, а здесь — в поле, за конюшней, в ворохах соломы — она своя.

Деревенская жизнь очень много значила для меня, особенно в детстве. Я любила деревню и всегда чувствовала, что я не совсем городская. В Гранаде у меня в комнате стоял замечательный кукольный домик — целых четыре комнаты: гостиная, столовая, кухня и спальня. А в Аскеросе я играла, как все деревенские девчонки, *всякой белибердой* (так называли наши игрушки взрослые). Мы копались в земле, выискивая осколки зеркал и расписных тарелок, раскладывали их как мозаику и любовались.

Мои подружки Антония и Марина и не подозревали, что у меня есть настоящие куклы. Мне очень не хотелось выделяться, и часто мы играли не у нас, а у них дома. Мне все нравилось в этих бедных жилищах — и скудная обстановка, и суровый быт. Я старалась утаить от подруг, что на самом деле живу иначе.

Думаю, то же чувствовали и сестра, и братья. Наверно, потому не только в детстве, но и став взрослыми, мы хорошо понимали друг друга и всегда с любовью и уважением относились к тем, кого называют *простыми людьми*. Мы всегда были не просто рядом, а заодно с народом. Все мы и прежде всего — Федерико.

Приезжаем в деревню — и начинается новая жизнь. И мы сами становимся другими. Летом каждый из нас живет своей отдельной жизнью. Как-то Пако вздумалось было стать охотником, но ничего не вышло, и он вернулся к книгам, хотя иногда ни с того ни с сего увлекался сельским хозяйством. Со мной из города тоже приезжали баулы с книгами, но я никогда не показывала книги подружкам и не заговаривала с ними о книгах. Конча тоже любила читать, а еще она часами писала письма мальчику, который в конце концов стал ее мужем, а тогда был нашим постоянным спутником на прогулках. Вчетвером — Конча, я и братья — мы сходились только *на песни*, во время сиесты.

Бесконечно долго я могла бы говорить о той жизни — о пустоши, поле, о речке, о тех людях. Теперь там — и везде — все иначе. Никого не осталось — чужие дома, заброшенные могилы.

5

Летние игры

После ужина настает время игр, а это самое интересное из наших летних занятий. С соседскими детьми мы затевали игры, неведомые моим городским подругам. Из летних игр многие позабылись, но иногда что-то всплывает в памяти, чаще всего, когда перечитываю стихи Федерико и всякий раз нахожу не замеченные прежде крупицы былого. Расскажу об одной из наших забав.

Девочки встают в ряд и поют:

В апель-свинном саду
черт жует лебеду.

Первая в ряду выкликает: "Марикилья, выходи!" Мы хором подхватываем: "И подругу приводи!", а та, что оказалась последней, отвечает: "Сама пойди, погляди! Помер дьявол или нет?" И та, что начала игру, с опаской подкрадывается к *дьяволу*. Если он не подает признаков жизни, мы снова затягиваем песню, монотонную, как псалом. А если *дьявол* жив, то вскакивает и кричит: "Дьявол здесь и дьяволица!" Этим криком в "Йерме" открывается шествие ряженых. Потом *дьявол* хватает кого-нибудь — и тот, кого он схватил, становится *дьяволом*.

В "Книге стихотворений" не раз помянут Князь Тьмы. В детстве он был для нас вполне реальным существом, не зря же Долорес поминала его ежесекундно: "Нечистый попутал!" Еще она называла его *Образина Кудлатая* — и мне представлялся высоченный тощий тип на длинных костлявых ногах с жуткой физиономией в косматых бакенбардах.

Это святой Тересе в ее "Жилищах" дьявол является красавцем[1], и святая, завидев Искусителя, смеется до упаду. Со мной такого не было, я до смерти его боялась. А теперешние дети о Лукавом, должно быть, и слыхом не слыхивали.

Конечно же мы водили хороводы и пели. Хоровод в деревне называют "кольцом". В Академическом словаре такого синонима нет, а в "Печальной балладе" из "Книги стихотворений" есть.

1. Речь идет о "Покоях внутреннего замка, или Жилищах " (1571) — книге святой Тересы Авильской (Тереса де Сепеда-и-Аумада, 1515–1582), — в которой наиболее полно изложена ее религиозно-мистическая философия. Св. Тереса уподобляет душу башне, поднимаясь на которую и приближаясь к Богу, следует осветить молитвой все потаенные уголки. Враг рода человеческого, искушая душу, появляется во втором и третьем "Жилищах".

В каждой строчке этого стихотворения слышится эхо песен, которые мы пели, — это знаки родства поэзии Федерико с народной. Хотя научный, условно говоря, интерес к фольклору у него проявился позднее. Длинный летний день в нашем доме всегда кончался песней:

Скоро, порой вечерней,
сойдут пастухи с отрога,
дети возле харчевни
начнут играть у порога
и песен любовных грусть
припомнят старые стены,
что знают их наизусть[1].

В этом стихотворении, написанном в августе 1919-го, — живая память Федерико о детстве.

В народной песне, говорит Мачадо, "тоску услышишь, слов не разберешь"[2]. Все народные песни об одном — о погибшей или не встреченной любви. Стихи Федерико впитали их потаенные мелодии, их отзвуки изначально жили в его душе. Спустя годы он воскресил их, дал им новую жизнь и новое дыхание. В "Печальной балладе", стихотворении 1918 года, он с нежностью вспоминает детство:

Пел и я с детворою,
в детстве пелось иначе,
и мой песенный ястреб
прятал когти кошачьи.

А вот присловье одной из наших игр:

Изловчись, мой ястреб,
коготком котовьим,
не добудешь мяса —
самого сготовим, —

1. Ф. Гарсиа Лорка. Избранные произведения. Т. 1. С. 61. Перевод Н. Ванханен.
2. Строка из стихотворения Антонио Мачадо "Слышу напевы... " из сборника "Одиночества" (1903). Приводим последнюю строфу этого стихотворения в переводе Овадия Савича:

И этому рассказу
фонтан спокойно вторил:
историю отбросив,
рассказывал о горе.

говорил тот, кому завязывали глаза, сдергивая повязку и отправляясь искать попрятавшихся.

Здесь же, в "Печальной балладе", Федерико поминает *сады Картахены* и *вербену*, и мне вспоминается еще одна игра. Две девочки встают друг против друга, берутся за руки и поднимают их — под аркой проходят остальные и поют:

Вербена, вербена,
сады Картахены.

Вдруг они опускают руки перед одной из девочек. Это означает, что ей следует выбрать им имена — назвать цветок, плод или просто цвет. И тогда остальные тоже выбирают одно из названных имен и встают за той, кому дано это имя, обхватывают друг друга за пояс или берут за плечи и начинают тянуть. Идет игра *кто сильнее, кто устоит*, но песня и в нее вносит поэзию.

Сколько игр и песен поминает Федерико в "Печальной балладе"! Он пишет:

Дорогой к морю в реку сновидений
я уронил мой перстенек удачи.

а мне слышится песенка:

Дорогой в Санта-Клару,
минуя речку,
я в воду уронила
мое колечко.

В следующей строчке "Печальной баллады" еще одна цитата из народной песни:

Свежим вечером майским
седлал я коня...

Вот эта песня:

Свежим вечером майским
у въезда в селенье,
кто та, что навстречу
шла с розой весенней?

А вот еще одна перекличка с той же песней в "Балладе":

Та ли она, кого в детстве
звали мы в наш хоровод
и называли звездою,
глядя с тоской в небосвод?

В неназванной девушке из "Баллады" слились два пленительных образа народных песен: "та, что навстречу шла с розой весенней", и другая – "звезда моя вечерняя":

Сойдя на землю
звездой вечерней,
сплела венок ты
из роз и терний.

Помню еще одну, очень известную народную песню, тоже о несчастной любви. Мы часто ее пели:

Росла я, цвела я,
не знала печали.
Зачем же с немилым
меня обвенчали?

В сущности, это вариация старинного романса о красавице, несчастливой в замужестве[1]. О героине этой горестной истории с трагической развязкой Федерико вспоминает в одном из своих стихотворений:

Кто она – та, что гвоздики сорвет
с нежными розами мая?
Бедная девочка! Замуж ее
выдала мачеха злая.
Где-то на кладбище в тихой земле
спят вместе с ней ее беды...[2]

Этот романс о красавице, несчастливой в замужестве, мы обычно пели втроем: Федерико, Конча и я. Федерико пел, так сказать, за автора, Конча – за всех остальных действующих лиц, а я вступала в самом конце и пела монолог героини перед казнью.

1. ...несчастливой в замужестве. – См. Романсеро. М., ИХЛ, 1970, с. 243.
2. Ф. Гарсиа Лорка. Избранные произведения. Т.1. С.45. "Грустная баллада". Перевод М. Самаева.

В "Балладе июльского дня", написанной в 1919 году, варьируется сюжет народной песни о графе Лауреле[1]. Но если в песне вдова жалуется:

Была я графиней,
а стала вдовой,
Хочу я влюбиться –
не знаю, в кого!

то в балладе Федерико она безутешна и не помышляет о новом замужестве:

– По ком это траур
такой гробовой?
– По герцогу Лавру
горюю вдовой.

И ты моего
не разделишь пути.
До герцога Лавра
идти – не дойти.

Прощай, моя роза,
не свидимся впредь.
Любить суждено тебе,
мне – умереть.

Простая детская песенка до неузнаваемости меняется в переложении Федерико, обретая драматические обертоны.

В "Балладе маленькой площади", стихотворении 1919 года, в первой же строфе – цитата из народной песни:

Заводят дети
в тиши закатной:
"Ручей прозрачный,
ручей прохладный".

Вот эта песня:

1. Граф Лаурель – так в испанских народных песнях называют знаменитого итальянского мореплавателя, служившего арагонскому двору, адмирала Роже де Лауриа (1250–1305). Его женой была сестра прославленного испанского воина Конрадо де Льянса.

Ручей прозрачный,
ручей прохладный.
Кто в нем платок стирает
такой нарядный?

Платок нашейный,
платок атласный
стирает мне горянка
в воде алмазной.

Одна стирает,
другая сушит,
а третья лепестками
его надушит.

Эта баллада — диалог поэта, тоскующего об утраченной детской вере в непреложность чуда, с детьми, играющими на тихой площади. Но и на вопросы детей, и на строчки их песни ложатся тревожные тени — поэт знает свою судьбу, и мольба, которой кончается стихотворение, ничего не может изменить.

Та же тоска о детстве в балладе о Сант-Яго из "Книги стихотворений":

Светлый сумрак июльских ночей!
Мчит Сант-Яго по млечной дороге.

В этой *сказке про сказку*, рассказанной чуть старинным слогом, узнаются мотивы тех историй и песен, что наверняка знают дети, выросшие в селеньях гранадской долины.

Двадцать пятое июля — наш семейный праздник, мамин день рождения. Всякий раз она говорила, что отмечать не будем, но неизбежно праздновали — да и как иначе, когда по всей гранадской долине в этот день идет веселье в честь Сант-Яго, апостола Иакова. Хотя не везде покровителя Испании чтят с должным размахом — на побережье в этот день все буднично и обычно.

На июльском ночном небе мерцает, отливая серебром и перламутром, длинная лента. Испанцы называют ее *дорогой Сант-Яго*, а прочие люди — Млечным Путем (не нравится мне это название!). Проскакал по небу Сант-Яго на белом коне с золотыми подковами — и оставил звездный след в пелене лунного тумана. Так гласит легенда. И с тех пор видится нам на небе — и во сне — всадник на белом коне в окружении ангелов-оруженосцев. Эта народная легенда и оживает в стихо-

творении Федерико. Религия здесь не при чем, национальная героика[1] — тоже. Суть не в них, а в завораживающем мерцании дороги Сант-Яго — дороги наших смутных снов:

Светлый сумрак июльских ночей!
Мчит Сант-Яго по млечной дороге.
Я тоску мою брошу в ручей
или рядом, на берег пологий,
пусть ее подберет детвора
и корабликом пустит по водам
или, может, развеют ветра
под июльским ночным небосводом.

Нигде вы не найдете у Федерико просто перепевов фольклора.

6

Люди Гранадской долины

Тех, кто жил в гранадской долине, я вспоминаю не по одиночке, а всех вместе и не слишком ясно. И всякий раз рядом с ними — одним из них — оказывается невысокий грузный человек в светлом костюме, с неизменной своей сигарой — крестьянин, ни разу в жизни не взявший в руки мотыгу, — мой отец. Я долго жила рядом с отцом, и мне трудно разделить свои детские и взрослые впечатления, но с уверенностью могу сказать, что его человеческий облик определяли две постоянные величины: пылкий нрав и внутренняя честность.

Отец не получил систематического образования, если не считать обучения в домашней школе, которую дед открыл на дому для своих девятерых детей. Правда, кроме того, с отцом много занималась его мать, моя бабушка Исабель, преданно любившая литературу, в особенности французских романтиков и Виктора Гюго. Отец часто повторял: "Я человек неученый" — и сожалел, что ему не пришлось окончить университет, но при этом в нем не было и тени какой-либо ущербности. К высшему образованию он относился с почтением и трепетом, едва ли не с благоговением. Мы должны были получить высшее образование — таков был отцовский категорический

1. Апостол Иаков считается покровителем Испании, не раз даровавшим победу ее воинам. Его гробница в Сантъяго-де-Компостела и сейчас привлекает толпы паломников со всего мира.

императив, его идея фикс. Единственное его к нам требование — всенепременно закончить университет. И отец не успокоился, пока Федерико не получил диплом юриста. Это не значит, что он пренебрежительно относился к занятиям сына литературой. Отец считал, что в литературе он не разбирается и не может судить о том, хорошо пишет Федерико или не очень, что не мешало ему помогать сыну. Нет нужды повторять, что "Впечатления и пейзажи" и "Книга стихотворений" изданы на отцовские деньги.

Наш дед по отцу был родом не из Фуэнте-Вакероса, а из Санта-Фе. Как пишет мой брат Пако, наши предки "состояли в родстве со многими состоятельными семьями, издавна обитавшими в этом старинном городке". Уж и не знаю, по какой причине, дед разорился дочиста, переехал в Фуэнте-Вакерос и поступил на службу в аюнтамьенто[1]. Он вел там документацию, составлял отчеты (эти земли — Сото-де-Рома — после наполеоновских войн были переданы в дар герцогу Веллингтону).

Висента Лорка Ромеро и Федерико Гарсиа Родригес с детьми: Федерико, Кончей и Франсиско. 1912

Отец считал своим долгом помогать многочисленным родственникам. По семейным воспоминаниям мать его просто обожала, явно выделяя из всех детей. Отцовские братья

1. Аюнтамьенто — муниципальный совет, мэрия.

тоже владели плодородными землями в окрестностях селения. Но все они, в отличие от отца, которому принадлежала бóльшая часть земель, собственноручно занимались сельскохозяйственным трудом. Отец же в поле никогда не работал, он вел дела, постепенно расширяя хозяйство.

Об отцовской юности я почти ничего не знаю. От тех времен сохранилась только его фотография, на обороте которой написано "Любезной моей подруге прекрасной Матильде". В ту пору в каждом доме были *Письмовники* с образцами не только посланий на все случаи жизни, но и дарственных надписей — думаю, что фраза на фотокарточке составлена по такому шаблону.

Отец был женат дважды. Его первая жена (не здешняя, родом не то из Ильоры, не то из Аломара) рано умерла. Помню, что нас навещали ее племянники — высокие, очень симпатичные, серьезные молодые люди. Они называли отца дядя Федерико и держали себя с ним по-родственному, что, признаться, казалось мне тогда странным.

С мамой отец познакомился в Гранаде у Прието, владельца шляпной мастерской на улице Католической Четы (с их балкона мы всегда смотрели процессию на праздник Тела Господня). Прието был другом отца с незапамятных времен и на всю жизнь.

Отец мой из тех редких людей, у кого ум в ладу с сердцем. Он стоял обеими ногами на земле — именно это было залогом осуществления его планов и мечтаний.

Одним из первых в округе отец продал свои распаханные земли в окрестностях Фуэнте-Вакероса и купил участок на пустоши, которой в ту пору вообще никто не интересовался, раз там ничего не росло, и в конце концов скупил большую ее часть. Суть в том, что рядом была вода — Кубильяс и большой оросительный канал, и отец, первым делом распланировав оросительную систему, каким-то чудом добился разрешения на отвод воды для полива.

В итоге они с Даниэлем превратили пустошь в процветающее, приносящее хороший доход имение — Даймус-Бахо. Даниэль не состоял с отцом в родстве, однако жил у нас доме. Мама всегда вспоминала о нем с нежностью и считала его мудрым, чуть ли не святым человеком. Там, в Даймусе, наша семья провела несколько счастливейших лет.

Отцу случилось очень выгодно потом продать эти земли. Он и прежде считался зажиточным человеком, но тут, что называется, разбогател и купил прекрасные пахотные земли вблизи соседнего селенья — Аскеросы, а на оставшиеся деньги затеял рискованное по тем временам дело, но удача ему и

тут не изменила. Отец засеял новый участок сахарной свеклой и сам занялся переработкой. Помню, как он со своими компаньонами сидел в столовой за кофе с коньяком.

Отец был страстным любителем корриды и часто брал меня с собой. Как же я боялась огромных черных быков! До начала корриды их держали в загоне, над которым были наши места, и бычий рев доносился откуда-то из подполья — из-под ног.

Как ни удивительно, при всей любви к корриде, отец не переносил вида крови. А когда в семье кто-нибудь болел, он просто не находил себе места, даже если речь шла о пустяковой простуде, не говоря уж о серьезных вещах. Не знаю, как он сумел пережить то горе, которое обрушилось на нас...

Мы жили в низине, почти на окраине, а на главной улице селенья — Широкой — стоял дом Фраскиты Альбы. Замкнутый, наглухо закрытый, он походил на своих обитателей. Большой дом, *со службами* (так это называлось) и обычной для таких домов планировкой. Внутренний дворик отделял жилье от конюшни, загона, курятника и двора с навесом, где держали сельский инвентарь. Почти с фотографической точностью Федерико описал это в "Доме Бернарды Альбы".

Когда к сбору урожая, в июле, мы приезжали в Аскеросу, Фраскита Альба вместе с одной из дочерей (не помню, с которой именно) наносила нам визит. Обе высокие (по крайней мере, так мне тогда казалось), с безукоризненными манерами, они держались с поразительным достоинством, впрочем, как и все обитатели этого селенья. Учтивая, чуть холодноватая улыбка освещала лицо Фраскиты. Однако в ней не было и тени той надменности и жесткой непреклонности, которой любят наделять Бернарду Альбу режиссеры, не говоря уж об актрисах, в том числе Гленда Джексон[1]. Из того что я видела на сцене, ближе всего к своему прототипу оказалась Бернарда гречанки Катины Праксину[2].

Управляться с хозяйством Фраските Альбе помогал сын, которого она и в грош не ставила (потому, наверно, его нет в пьесе). Говорили, что Фраскита не прочь посплетничать и никогда не упустит случая съязвить на счет всякого и каждого. Но если Фраскита Альба о ком и не сказала дурного слова, — свидетельствует тетя Матильда, — так это о нашем отце,

1. Гленда Джексон (р. 1936) — английская актриса, исполнительница роли Бернарды в лондонской постановке (режиссер Нурия Эсперт).
2. Катина Праксину — греческая актриса, в годы Второй мировой войны — в эмиграции в США.

к которому относилась с непритворным почтением, ценя в нем знатока сельского хозяйства. Отец же держался с нею, как со всеми, — сердечно и доброжелательно, давал советы — и Фраскита с благодарностью их принимала.

Помню наш ответный визит. Описывать дом Фраскиты нет нужды — он в точности представлен в ремарках к пьесе и столь же скрупулезно перенесен на сцену в буэнос-айресской постановке Маргариты Ксиргу. Маленькая прихожая, за ней комната, тоже небольшая. Там я увидела Мартирио в тяжелой горячке, и эта картина врезалась мне в память. В чем-то сине-белом (не знаю, помогла ли ей эта сорочка, похожая на одеяние Лудской Богоматери) Мартирио полулежала на качалке: две длинные черные косы и огромные, полные ужаса и страдания глаза и еле слышный шепот. Никто не знал, чем она болела. Говорили, что ей десять раз на дню меняют задубевшие рубашки, так мучит ее лихорадка (Федерико не рискнул упомянуть эту подробность). По дому сновали женщины. Нас угощали ячменным кофе и кренделькими. Это все, что помню.

Пепе Римлянин (это имя тоже не вымышленное — Римлянами в округе звали обитателей Ромильи) в жизни поступил точно так же, как предсказывала в пьесе, утешая Аделу, Понсия: *Сестра твоя Ангустиас – хворая, долго не протянет. А как она помрет, так Пепе снова женится: самую молодую, самую красивую выберет – тебя! А как иначе?* Так все и вышло: Ангустиас умерла, а Мартирио выздоровела, похорошела, о болезни и думать забыла и вышла за Пепе. Адела — вымышленный персонаж, на самом деле у Пепе была любовь с Мартирио.

Самый поэтический и, казалось бы, наименее правдоподобный образ — Хосефа, мать Бернарды, — тоже пришел на сцену из Аскеросы. В этом образе смешались черты трех реальных лиц. Это, во-первых, моя прабабушка — та, которую тетушки за редкостный цвет волос звали светлокосой. А еще — бабушка наших кузин. Это она, уже в старости, утратив разум, все рвалась "за реку, к жениху" и мечтала родить ребенка. Это она одарила старуху Хосефу и безумием, и поэзией. А привычку наряжаться и цеплять на себя дешевые украшения Федерико приметил у одной из наших родственниц — у нее с детства было не в порядке с головой. Бедняга очень любила нашу маму, которая, зная о ее пристрастии, вечно дарила ей сверкающие побрякушки — и они немедленно шли в дело.

Запомнились мне похороны Фраскиты Альбы. Гроб в зале, четыре свечи, в гробу покойница в черном — и детские лица, припавшие к оконным стеклам. Фраскиту мы знали по

рассказам тети Матильды, ее соседки. Альбу в селенье побаивались, да и тетя всегда держалась с ней осмотрительно, старалась не задеть. Не зря же французская исследовательница Маргерит Юрсенар[1] наделила Бернарду постоянным эпитетом — "неумолимая" (для Белисы[2] у нее тоже нашелся эпитет — "неутолимая").

Не думаю, что Федерико бывал в доме Альбы, скорее всего, он, как и мы, знал их жизнь по тетиным рассказам — благо она была прекрасная рассказчица, и Федерико с упоением слушал ее часами. Он вообще умел слушать. Тетя же знала об Альбе больше других, хотя бы потому что у них был общий колодец, и если стоять у колодца, то соседский двор как на ладони. Потому-то в пьесе Бернарда и держит свою мать взаперти: не того она боится, что безумная старуха кинется в колодец, а того, что соседи увидят.

Вот что осталось у меня в памяти от тех летних сельских месяцев, от воздуха той жизни, которую Федерико с его обостренной чувствительностью и душевной чуткостью впитал и воплотил на сцене.

1. Маргерит Юрсенар (1903–1987) — французская писательница бельгийского происхождения, обосновавшаяся в США, где и подружилась с Исабель Гарсиа Лоркой.
2. Речь идет о персонаже пьесы Лорки "Любовь дона Перлимплина".

Борис Парамонов
Два эссе о Набокове

Набоков и мальчики

Этот заголовок не имеет в виду какого-либо скандального смысла: Набокову и так хватает скандалов. Есть, правда, попытка одного техасского слависта рассмотреть вопрос о возможных посягновениях на мальчика Набокова со стороны его дяди Рукавишникова, но здесь, понятно, будущий автор выступает в роли жертвы. С другой стороны, каких-либо гетеросексуально совращаемых мальчиков у Набокова нет, если не считать в качестве таковых племянника (впрочем, половозрелого), находящегося в связи с теткой в романе "Король, дама, валет" (хотя другая тетка у Набокова вроде бы совратила подлинного мальчика Лужина), или, совсем уж гротескный случай, карлика Добсона из рассказа "Картофельный эльф", который в этом энигматическом сюжете оказывается одновременно любовником и сыном Норы Шок.

Сюжетная стихия Набокова — девочки, "Лолиты". У Виктора Шкловского в книге "Zoo", дающей картины эмигрантского Берлина начала 20-х годов, есть глава об Эренбурге, в которой говорится, что специальность Эренбурга — сидеть в кафе, курить трубку и писать "Хулио Хуренито"; последний по времени "Хуренито" называется "Трест Д. Е.". Точно так же можно сказать о Набокове, что его специальность, помимо бабочек, — писать "Лолиту". Ибо все его книги, хоть русские, хоть английские — одна сплошная Лолита.

На это не раз обращали внимание, но, кажется, подобное наблюдение проведено не по всему корпусу набоковских сочинений. Все, конечно, заметили девочку Эммочку из "Приглашения на казнь", развлекающую арестанта своими ярким мячом и исподом гладких ляжек. Но таких девочек (и таких, добавим, арестантов) можно у Набокова обнаружить где угодно, ну хоть в "Камере обскуре", героиня которой — не совсем совершеннолетняя проститутка Магда, заменяющая в

© Борис Парамонов, 2010
Публикуется с любезного согласия радиостанции "Свобода".

подтексте романа Кречмару его умершую дочь. Да где угодно этот мотив наблюдается — хоть в "Подлинной жизни Себастьяна Найта", где рассказчик мимоходом жалеет, что не завел знакомства с девчонкой, нагло улыбнувшейся ему в лесу. Вне подозрения, кажется, "Дар", но и там Зина обращается в полу-Мнемозину, то есть приобретает характеристику недоростка. Это фирменный знак Набокова — вроде того, как кинорежиссер Хичкок непременно появлялся в своих фильмах хоть на секунду, но собственной персоной. Лолита, так сказать, в первоначальном воплощении (умершая на острове Корфу Аннабелла Ли) является и в мемуарной книге "Другие берега" в виде крестьянской девочки Поленьки — чего-то среднего между француженкой Колетт и первой якобы любовью автора Тамарой.

Тут очень хочется процитировать одно место из "Других берегов" — о купающейся Поленьке, нечаянно застигнутой автором в погоне за очередной бабочкой:

> Мокрая, ахающая, задыхающаяся, с соплей под курносым носом, с крутыми детскими ребрами, резко намеченными под бледной, пупырчатой от холода кожей, с забрызганными черной грязью икрами, с круглым гребнем, горевшим в темных от влаги волосах, она спасалась от бритоголовой, тугопузой девчонки и бесстыдно возбужденного мальчишки с тесемкой вокруг чресл (кажется, против сглазу), которые приставали к ней, хлеща и шлепая по воде вырванными стеблями водяных лилий[1].

Это со временем стало сценой из "Лолиты" — неудавшаяся любовная попытка юного Гумберта и Аннабеллы, застигнутых выходящими из воды черноморами. (Можно также сказать, что "бесстыдно возбужденный мальчишка" — образ автора, гоняющегося за девочками (= бабочками), а тесемка от сглазу — его сочинения.)

В связи с этой темой я хочу предложить вниманию читателя (мальчики и девочки) еще одно сочинение Набокова, в котором тема Лолиты звучит, можно сказать, во весь голос — и даже в некоем широком морально-психологическом и едва ли не культурфилософском развороте. Это второй английский роман Набокова "Bend Sinister" — вещь, мало обратившая на себя внимание. По видимости, это сатира на тоталитарное общество. Пришедшая к власти диктатура желает заручиться лояльностью и сотрудничеством знаменитого

1. Здесь и далее — переводы С. Ильина.

философа Круга, всячески фрондирующего. Он недавно овдовел, на руках у него остался сын Давид — единственное, что привязывает его к повседневной жизни. Режим долго не может понять, как сломить Круга, пробует разные варианты — пока не догадывается, что можно забрать у него любимого сына. Тогда Круг действительно ломается, но по недоразумению Давид погибает в каком-то исправительном заведении, как и все заведения такого рода, набитом педофилами (см. "Педагогическую поэму"), а Круг сходит с ума, и тут его спасает спускающийся с повествовательных высот автор.

В предисловии к одному из американских изданий романа Набоков писал о нем:

> Мало есть на свете занятий более скучных, чем обсуждение общих идей, привносимых в роман автором или читателем, <...> влияние моей эпохи на эту книгу столь же пренебрежительно мало, сколь и влияние моих книг или по крайней мере этой моей книги на мою эпоху. Нет сомнения, в стекле различимы кое-какие отражения, непосредственно созданные идиотическими и жалкими режимами, которые всем нам известны и которые лезли мне под ноги всю мою жизнь: мирами терзательств и тирании, фашистов и большевиков, мыслителей-обывателей и бабуинов в ботфортах. <...> На самом деле рассказ ведется не о жизни и смерти в гротескном полицейском государстве. <...> Главной темой "Bend Sinister" является биение любящего сердца Круга, мука напряженной нежности, терзающая его, — и именно ради страниц, посвященных Давиду и его отцу, была написана эта книга, ради них и стоит ее прочитать.

Можно согласиться с автором: действительно, книга его не о том, не о безумиях тоталитарного режима. Это не более чем декорация, не лишенная, конечно, некоего глубинного символизма, о чем мы еще скажем. Но главное в книге другое: преступная любовь взрослого человека к ребенку — главная, можно сказать, тема Набокова. Своеобразие "Bend Sinister" в том, что эта тема здесь подвергнута многослойной зашифровке: ребенок оказывается не девочкой, а мальчиком, родным сыном героя, что дает совершенно законное основание для нежных чувств, не выходящих за пределы самой благопристойной нормы. Разве что эти чувства окрашиваются вот этой самой "напряженной нежностью", мотивированной, скажем, сиротством ребенка, утратой им матери (внимание читателей "Лолиты"!); и главное, мальчик в решающей момент подменивается девочкой — или, скажем так, почти девочкой, вроде Магды из "Камеры обскуры".

Когда Круга, уже попавшего под давление властей, покидают все окружающие, включая прислугу, вдруг объявляется тинэйджер Мариэтта, согласившаяся стать у него домработницей, бывшая раньше в том же доме натурщицей у некоего художника (мотив Магды), притом что была там и жена (мотив Лолиты и Шарлотты). Мариэтта постоянно болтается в комнате Давида, когда он в школе, и читает его детские книжки, причем совсем по-лолитиному все время теряет шлепанцы и носки.

Ей было присуще раздражающее обыкновение исполнять обязанности по дому, не надевая ничего, что скрыло бы ее бедное юное тело, — кроме тусклой ночной рубашки, обтрепанная кромка которой едва достигала ее колен. <...> Надо найти кого-то другого, думал он, шагая по улице, кого-то совсем другого, пожилого и полностью одетого. Насколько я понимаю, это у нее просто такая привычка, результат постоянного позирования нагишом чернобородому живописцу из 30-й квартиры. Фактически, летом, рассказывала она, никто из них ничего внутри квартиры не надевал, — ни он, ни она, ни жена художника.

Потом Круг видит ее голой в ванной. Потом —

ночью двенадцатого ему приснилось, что он украдкой ублажался Мариэттой, покамест она сидела, слегка содрогаясь, у него на коленях во время репетиции пьесы, в которой она играла роль его дочери.

Это уже почти Лолита — и пьеса (мотив Куилти и Лолитиных театральных увлечений), и сама Лолита, играющая роль дочери Гумберта.

Понятное дело, что совокупление в конце концов происходит, но не доводится до конца, так как являются пиковые валеты и забирают Давида в заложники. При этом Мариэтта оказывается, как и следовало ожидать, подсадной уткой — агентом тамошней гебухи, следившей за Кругом.

Вот это очень важная деталь, выводящая роман за рамки обычных набоковских комплексов, придающая им сверхличный смысл. Тоталитарный режим возникает как наказание за грехи, в результате всеобщей причастности злу. Это тема Достоевского и, если угодно, Солженицына. Диктатор Падук — проекция Круга вовне, разоблачение его, Круга, тайных пороков. Конечно, в таком повороте всякий разговор о социальных корнях или классовой борьбе буржуазии и пролетариата становится бессмысленным. Это всё внешние яв-

ления, феномены, а Набоков, как и положено ученику Достоевского, пишет о ноуменах. Был у него такой грех — зависимость от Достоевского.

Но мальчиков у него, действительно, не было.

Впрочем, все это хоть интересно, но, по существу, не важно. Важно другое. Помянутый нами Шкловский говорил, что искусство не терпит прямоговорения, художественный текст не может быть написан в лоб, идти вдоль темы, он нуждается в иносказании. "Bend Sinister", как мы видели, и есть зашифровка темы Набокова. И тут мы сталкиваемся с парадоксом: "Лолита" написана в лоб, прямоговорением. Не отсюда ли и успех? Успех ведь всегда не без дешевки. Есть люди, и очень уважаемые, готовые считать "Лолиту" дешевкой, я мог бы назвать ряд имен, но делать этого не буду. Важно то, что Набоков выиграл, победил, победителей не судят. В том-то и мастерство сказалось, что из дешевки был сделан дорогостоящий продукт. Искусство дышит, где хочет.

Чужая Лолита

Недавние разговоры про набоковского недоноска Лору — Лауру, при всем моем отвращении к этому чисто (?) коммерческому проекту, все-таки зафиксировали мысль на знаменитом авторе, а тут еще по телевизиру в очередной раз крутанули "Лолиту" Стэнли Кубрика — фильм 1962 года, сделанный при активном сотрудничестве Набокова (он был соавтором сценария), и я в очередной раз этот фильм посмотрел. Мне нравится эта картина, в отличие от второй экранизации "Лолиты", снятой сравнительно недавно, лет десять назад. Вторая экранизация рабски следовала книге, а в кино так делать не следует — у кино свои приемы, своя выразительность. В "Лолите" Кубрика как раз эта автономность зрительного развертывания была достигнута, хотя кое-что супротивное роману не совсем воспринималось: староват был Гумберт (вообще-то роскошный англичанин Джеймс Мэйсон), и совсем уж вульгарной представлена Шарлотта (прелестная толстуха Шелли Уинтер). Саму Лолиту превратили в семнадцатилетнюю, а это, как мы помним из романа, для Гумберта уже старость. Фильм нес, выносил и всячески украшал гениальный Питер Селлерс, помимо Куилти выступавший еще и в другой роли: сценаристы сделали его директором Лолитиной школы, который беседует с Гумбертом, номинальным отцом, о необходимости начать ознакомление Лолиты с сексом.

Я пытаюсь не любить Набокова, но стоит о нем заговорить и остановиться уже трудно. Так и в этот раз — решил представить еще одну набоковскую виньетку.

Была в Америке писательница Дороти Паркер. Она писала и прозу, и стихи в ныне уже исчезнувшем жанре эпиграммы (в старинном, античном смысле слова). В прозе ее жанром был, понятно, рассказ, и несколько шедевров у нее, безусловно, есть. Я бы сказал, что она была чем-то средним между Довлатовым и Чеховым и ближе все-таки к Чехову. Сомерсет Моэм до небес хвалил ее сочинения, высшим достижением назвав "Крупную блондинку" — рассказ о спивающейся женщине (факт для Дороти Паркер автобиографический). Моэм написал, что самым трудным в рассказе, действие которого растянуто на много лет, — создать и оставить единство впечатления, и это как раз сделано в "Крупной блондинке". Я бы сказал, что это почти так же хорошо, как чеховский "Ионыч", и если все-таки "Ионыч" лучше, то потому, что еще короче, еще меньше места потребовал для описания всей жизни человека.

И есть у Дороти Паркер интересная связь с Набоковым. В 1955 году она напечатала в журнале "Нью-Йоркер" рассказ под названием "Лолита". Набоков, что называется, встал на уши. Дело в том, что он приносил в редакцию "Нью-Йоркера" рукопись "Лолиты" и взял честное слово с редактора, Кэтрин Уайт, что она никому ее не покажет за исключением мужа, тоже работника "Нью-Йоркера". Увидев в печати рассказ Дороти Паркер, он, естественно, посчитал, что Кэтрин Уайт слово нарушила. Супруги с трудом, но сумели убедить Набокова, что это случайное совпадение. Я сейчас вас ознакомлю с содержанием рассказа, и судите сами, так это или не так. Предварительное замечание: по-русски я Дороти Паркер никогда не видел и даю отрывки из рассказа в моем *маловысокохудожественном* переводе.

Героиня рассказа — некая миссис Юинг, живущая в небольшом, но тонном американском городке, кипящем вполне светской жизнью. Она вдова, но перед внезапной смертью мужа собиралась якобы с ним развестись, и теперь этот ее двусмысленный статус придает ей некоторую дополнительную пикатность, ибо миссис Юинг и вообще женщина незаурядная в светском смысле, ведущая активную жизнь, разговорчивая, по собственному разумению остроумная, мастер игры в бридж и всякое такое. Единодушно считается, что она, вне всякого сомнения, выйдет замуж вторично и даже удачней, чем в первый раз. И есть у нее дочь.

У миссис Юинг была дочь по имени Лолита. Конечно, никто не оспаривает родительского права называть отпрысков, как им, родителям, нравится, однако иногда было бы предусмотрительным попробовать заглянуть в будущее и постараться увидеть, на что со временем будет похóже их чадо. Лолита была совершенно бесцветной, худой, с остро торчащими локтями и коленями, а ее волосы, такие тонкие, что казались редкими, никак не хотели виться и висели прямыми прядями, как ни закручивала их миссис Юинг в папильотки.

Когда Лолита достигла возраста, в котором, если вспомнить Набокова, начинают предаваться любовным прелиминариям, естественно, никто из молодых людей не обращал на нее внимания. Выведя Лолиту в свет, миссис Юинг немногого добилась.

Даже в гостях Лолита сразу же находила угол, в котором спокойно устраивалась на весь вечер. Мать, перекрывая шум общего разговора, могла кричать ей через всю большую, полную народа комнату: "Эй, затворница, иди сюда, потолкайся с людьми!" Лолита только улыбалась и оставалась на месте. Вообще-то в ее молчаливости ничего ужасного не было. Ее лицо, если только вы были способны запомнить его, носило выражение робкого доброжелательства, а улыбка могла считаться высшим из скудного списка ее достоинств. Но такие качества обладают ценностью, только когда их часто замечают и помнят; а кто в ее случае замечал и помнил?

И вот в городке появляется приехавший из Нью-Йорка по делам блестящий молодой человек Джон Марбл. Местные девы выступают в полной боевой готовности, но, будучи вежливым и корректным, Джон в этих пределах с ними и остается, пока не случается ужасное — он влюбляется в Лолиту, делает ей предложение и женится на этой неинтересной молчальнице.

Молодые живут в Нью-Йорке, миссис Юинг их регулярно навещает и с удовольствием рассказывает, что Лолита осталась той же, жизнь в метрополии ей впрок не пошла, и что она по-прежнему такая же кулема: всякое новое дорогое платье — а таких у нее много — на ней сразу же превращается в старую тряпку.

"Я одно и то же всегда твержу Лолите, и пишу ей все время, — говорила миссис Юинг. — Живи пока живется и будь счастлива, пока счастлива. Потому что — вы же понимаете, если такой мужчина, как Джон Марбл, женится на такой девушке, как Лолита... Но она

знает, что ей всегда найдется, где преклонить голову. Этот дом — ее дом. Она всегда может вернуться к своей матери".

Ибо миссис Юинг была не из тех женщин, которые легко теряют надежду.

О чем этот рассказ? О соперничестве матери с дочерью, своей тусклой невыразительностью подчеркивающей предполагаемый блеск матери. О матери, не способной примириться со сногсшибательным дочкиным успехом. И у читателя не может не появиться мысли о набоковской Лолите и ее матери Шарлотте, проигравшей в пух и прах борьбу за интересного мужчину Гумберта Гумберта.

Так что похоже, что Кэтрин Уайт из журнала "Нью-Йоркер" потихоньку от мужа поделилась с Дороти Паркер содержанием тайной крамольной рукописи, а та и загорелась творческим огнем. Женщины, если речь не идет о сексуальном соперничестве, всегда сговорятся.

И есть в этой истории еще одна драгоценная подробность. Дороти Паркер напечатала в том же "Нью-Йоркере" первую, восторженную рецензию на "Лолиту". Что это доказывает — ее невиновность в отношении собственной "Лолиты" или очаровательную женскую способность, набедокурив, мило улыбнуться?

Александр Мелихов
По святым камням Европы

Попурри

В Мюнхене я всласть побродил по музеям. Один. Когда моя спутница была рядом, я чувствовал себя слишком счастливым, чтобы как следует возвыситься душой. Искусство для того ведь и создается, чтобы ослабить наш ужас перед собственной мизерностью, но пьяные и без того чувствуют себя персонами значительными. В своем просветлении я мог бы даже дойти до высокопарной пошлости типа "культура в наше время и есть религия", если бы не наблюдал с утра до вечера, сколь жиденько мое изящное опьяненьице красотой в сравнении с религиозной химерой. Ведь обожествление культуры — обожествление собственных переживаний...

Когда мы через величественную эспланаду приближались к тайнам мадридского дворца Паласьо Реаль, возведенного его создателями на высоком берегу Мансанераса, с видом на прелестную долину, обнаружилось, что ландшафт уже уничтожен шустрыми тупицами — моментально, стоило отвернуться, — заставившими даль своими сундуками. Что ж, ихняя взяла. Но быстрая вода под древнеримским мостом все равно продолжает колебать тростник на илистой отмели и зваться по-прежнему: Гвадалквивир. Шумит, бежит мимо тупых коробок, которые все равно не в силах заглушить волшебные звуки: *Кордова.*

Самая грандиозная мечеть оказалась, разумеется, в еврейском квартале, и моя сионистка отправилась по его белым улочкам-трещинам прикладываться к востроносой бронзовой туфле Маймонида, а мне, безбожнику, было дозволительно поклоняться всякому порыву человека возвыситься над собой, забыть о себе...

© Александр Мелихов, 2010

Но я напрочь забыл обо всем, оказавшись в этом мире бесконечных колонн и арок, меж которых можно было бесконечно блуждать на цыпочках, ибо мне представлялось нестерпимой наглостью перед лицом этого неиссякаемого совершенства ступать на полную подошву. Творцы этой каменной грезы заслуживали отдельного бессмертия за один только изгиб этих дуг, за одно только их удвоение, за их поперечную раскраску, за резьбу капителей и даже просто за размах, создававший безукоризненную иллюзию бесконечности.

И вдруг стройная бесконечность прервалась взрывом: христианский мир показал исламу, кто здесь хозяин, прорвав однообразное совершенство невообразимой роскошью католического собора. Это была немыслимая дурь, немыслимое варварство, и все же — все же изгадить прелесть тупостью и взорвать красоту красотой, величие величием — в этой битве титанов я не смел брать на себя роль арбитра.

Я не решился поднять внутренний голос протеста даже при виде грозного дворца-бастиона, вбитого Карлом V в назидание утонченности Альгамбры. Я опасался, что изысканнейшая красота звука затмит изысканность камня, уже растиражированную по бесчисленным мавританским гостиным, но подлинник затмил все подражания играючи, словно я, перевидав тысячи солнечных зайчиков, впервые поднял глаза к солнцу.

В Севилье мы остановились в Las Casas de la Juderia, в квартале Джудера или Худера — словом, в еврейском квартале среди ослепительных белых улочек, тоже запутанных, словно трещины на зеркале.

И все-таки родина Дон Жуана оказалась даже еще более сказочной, чем мне грезилось: моим мечтам не хватало грубости, без которой нет силы. Солнце Севильи временами даже ухитрялось выжечь во мне память о той, что скользила со мною рядом — такая же бесплотная, как и я сам. Нет, описывать эту неправдоподобную мощь и красоту — только стаскивать небо вниз, в наши земные дрязги; я и не знаю, хорошо ли, что арсенал сигарной фабрики обратился в университет. Зато звуки — звуки оставались волшебными: Оспиталь-де-ля-Каридад, Реалес Алькасарес, Пласа-де-Торос-де-ла-Маэстранса — арена для коррид, близ которой воплотился в мертвую материю еще один вечно живой фантом.

Кармен была дебелая и горделивая, словно Родина-мать, зато Дон Жуан оказался субтильным и суетливым, тем более что и воткнули его чуть ли не между столиками уличного кафе, где я никак не мог разжевать полированные рубиновые

кубики испанского окорока — *хамон иберико*. В Севилье я впервые задумался, кто бы одолел в этой битве титанов — Дон Жуан или Кармен? Если судить по нашей двоице, Карменсита будет покруче.

От Севильи я очнулся лишь в Альмерии. Или это было Аликанте? Короче говоря, на тамошнем вокзале у меня из-под носа увели-таки портфельчик с компьютером. Моя повелительница предусмотрительно поставила меня в центре совершенно пустого, уже практически ночного зала, и к тому же все свободные кассиры из-за своей стеклянной перегородки смотрели в мою сторону. Но я все равно не сводил глаз с синего портфельчика, растревоженный рассказами о мавританской воровской реконкисте. Так что когда вновь возникшая владычица удивленно спросила меня: "А где портфельчик?" — мне оставалось лишь не верить своим глазам. Совершенно раздавленный своей ничтожностью, я прорезал нашим вечным спутником — чемоданом — непроглядную жаркую ночь в поисках полицейского участка, понуро сидел в совершенно советском душном предбанничке среди таких же понурых *потерпевших*.

Еще на перегоне Барселона—Безье нас осчастливила парочка американских студентов, здесь же и познакомившихся, — оба симпатяги, он со жвачкой, она — без. "А что делать в Мадриде, там даже моря нет?" — недоумевала она, а он, пуская белые пузыри, разубеждал: нет, там есть такая площадь с медведем, и все вокруг нее ходят — я тоже походил. Правда, мне и самому Барселона как-то плохо запомнилась — в глазах остался только оживший-проросший, закустившийся, пустивший корни камень. Даже Каркасон оказался слишком ирреальным, чтобы привести меня в чувство. Только в Монпелье, на совершенно парижской улице, переходящей в римский акведук, я наконец-то встряхнулся, когда увидел в уличной толпе юную монахиню в крылатом крахмальном чепце и черной рясе или там сутане, сквозь которую наружу торчали две голые глянцевые сиськи. Чтобы я окончательно перестал верить своим глазам, они продемонстрировали мне болтающийся у нее на шее вместо крестика такой же розовый и глянцевый мужской член. До меня дошло, что это прессованная пластмасса, только тогда, когда, оглянувшись, я увидел точно так же торчащие наружу сквозь черный покров голые глянцевые ягодицы. Мою спутницу-распутницу это развеселило, а меня почему-то нет. Нам, безбожникам, жалко, когда глумятся над высокой дурью, пускай даже и чужой. Правда, когда я поделился своими чув-

ствами, она сразу же согласилась: "Смотри, сколько здесь арабов — они же все видят, до чего нам ничего своего не жалко". Поэтому в Ниме я почувствовал себя защищенным от, так сказать, внезапного плевка идиота только ночью, когда мы, держась за руки, долго плутали по улочкам-трещинам, вымощенным, казалось, полированным мрамором, и вдруг замерли перед воссиявшим из мрака, изъеденным временем и все равно до непонятности изящным римским храмом в греческом стиле.

Арлезианцы и арлезианки были явно не дураки: сжили со свету одного безумца и этим обеспечили приток капитала на века вперед. Мы тоже не устояли — выпили по недурному каппучино в ван-гоговском *Ночном кафе*. Утилизировали грезу. Так что арлезианских слабоумных мы взяли в наш альянс без всякой дискриминации: сын за отца не отвечает. А наше авиньонское пленение состоялось тоже ночью — днем из-за туристической толкотни Авиньон не сумел нас пленить. Зато при высокой и ясной луне эта средневековая простоватость дышала такой силой и высокой правдой... А потом на середину площади вышел кряжистый еврей с мерцающим при луне серебром в бороде и запел что-то неотесанное и неподдельное, и теплая ночь обдала меня ледяными мурашками восторга, ибо этот одинокий человеческий голос нисколько не уступал в силе неприступным каменным бастионам.

А из городка Экс-ан-Прованс, где затянутые в камуфляж платаны обеспечивали главный церемониал встречи, гора Сент-Виктуар смотрелась бы как "велика фигура, да дура", если бы не Сезанн. Весь наш мир был бы жалким и ничтожным, если бы его было некому воспеть!

Что тогдашние торговые ряды в триллион раз прекраснее нынешних дворцов, это было дело привычное, но почему-то именно в Кракове я ощутил особенную радость от того, что даже самым энергичным дуракам не под силу затоптать своими коробками *слова*. Эта прелесть — *Сукенницe* — будет ласкать слух всех прапрапрапрапрапраправнуков, если только они не оглохнут от собственного барабанного буханья. А *Вавель*? А *Ягайло*?

Аркада королевского двора — сила, изящество, стройность, а над ней другая — еще изящнее, еще стройнее... Одно движение глазами снизу вверх — и нижняя аркада взлетает в небеса, обретая в полете совсем уже неземную красоту. Освобождение от материи — в этом искусство слова превзойти невозможно!

Как с тобой хорошо, бормочет дочурка-подружка, не выпуская моей руки из своей лапки, все сразу начинаешь понимать — кто, что... Но и я не мог бы объяснить, для чего нам понадобилось приобретать в Сукеннице деревянную фигурку еврея из евреев — с чернейшей бородищей, с громаднейшим носярой, в черной хасидской шляпище, все это расписано почти любовно: истребленные евреи сделались нездешними, а потому отчасти даже и поэтичными, вроде индейцев в Америке.

Фигурка, тем не менее, вид имела шуточный, а мы с моей спутницей — торжественный. И чем дальше мы углублялись в еврейский *Казимеж*, тем больше наша нежность друг к другу уступала чувству соратничества в каком-то высоком деле. Здания здесь были ни пышные, ни убогие, но — *те самые*. Еврейская Атлантида погрузилась в бездну, а они остались на поверхности. И мы поглядывали на них почти с таким же благоговением, с каким озирали опустелые стены Старой синагоги или медленно бродили среди резных надгробий старинного еврейского кладбища, и к ощущению нашего торжественного единения в высокой скорби у меня примешивалось лишь одно суетное чувство — тайная радость, что и мне порою все-таки находится место в химерах моей возлюбленной.

Но ужас, который внушало слово ОСВЕНЦИМ, еще в поезде выморозил последние искорки суетности, желания что-нибудь "прихватить" и для себя. Я уже собирал волю в кулак, чтобы не обмякнуть слишком уж заметно, узрев это адское имя на здании вокзала. Однако OŚWIĘCIM — эту надпись на ординарнейшей застекленной коробке еще можно было пережить. Умеренно симпатичненький в центре и уныло советский по краям городок, по улицам которого расхаживали люди в летних рубашках и легких блузках, продолжал обмораживание еще более изощренно — во мне вновь начала нарастать уверенность, которая только и делает возможной жизнь в этом мире, — уверенность, что все это было так, что Освенцим никогда и не существовал, кроме как на тусклых черно-белых фотографиях.

И все-таки оказавшись среди этих давным-давно приевшихся миру декораций рукотворного ада, я быстро смекнул, что он такое — рукотворный ад.

Аду вовсе не требовались котлы с кипящей смолой, раскаленные сковородки, сверла, пилы, крючья — довольно было понять, где ты находишься, и самые обычные и даже милые предметы разом обнажали свою адскую изнанку. Клюшки для

травяного хоккея, вытянувшись в три человеческих роста и обросши фарфоровыми изоляторами, поддерживали проволоку под током; трава, наоборот, держалась с хитренькой скромностью футбольного газона; небо изображало немыслимую безмятежность — но, конечно же, никого обмануть не могло: всяк, сюда входящий, и без вульгарных намеков HALT! STÓJ! под черным черепом и костями, схематичными, словно гантели, раз и навсегда понимал, до какой степени он никто в этом мире. Для этого даже не требовался всевидящий глаз прожектора, выжигающий тебя из милосердного мрака. О том, что ты никто, говорили и береза у входа, каких ты видел тысячи, но лишь сейчас допер, что́ они предвещали; и деревенский амбар, мимо которого ты прогуливался на даче, не подозревая, что в нем тебе предстоит истечь поносом, выражавший спокойную продуманность твоего уничтожения с особой ясностью. Это не была сверхпродуманность высоких технологий, это была продуманность крепкого совхоза, не более того. И кирпич был уложен без особой старательности, и духоподъемный лозунг "Труд делает свободным" был сварганен кое-как, хотя и с кокетливой горкой посредине, только сами респектабельные слова — труд, свобода — внезапно обнажали свою страшную изнанку: арбайт, фрай...

Нет, для совхоза это было совсем неплохо, но для фабрики слишком уж кустарно, на одни трубы посмотреть: коренастые, тупые, квадратные — типичное подсобное хозяйство. Чтобы мы сразу поняли, что большего не стоим: здесь не радиолы делают и не швейцарские часы.

Правда, для окончательного, завершенного, совершенного ужаса здесь не хватало главного — человека. Ибо совершенный, кромешный ужас человеку может внушить только другой человек, для которого он воистину НИКТО.

Но лагерь был безлюден, как и сама земля. И все равно сваленные грудой женские волосы, которыми заготовители не успели набить тюфяки, даже среди этой пустыни *поседели от ужаса.* Даже детская косичка с бантиком была *совершенно седая...*

И все-таки Венеция своим мороком способна оттеснить любой бред, в Венеции никогда до конца не веришь, что все это есть на самом деле: вскинешь глаза — нет, не может быть! И бежишь дальше.

В тот раз я впервые восхищался кистью Тьеполо без толики снисходительности — пышность без глубины тоже может быть прекрасной. А рукоделье чарующим: в подвальчике за Палаццо Дукале мы минут сорок не сводили глаз со стеклоду-

ва, который стеклянную макаронинку считанными щипками пинцета превращал в коня — с ушками, гривкой...

А вот в поисках еврейского гетто мы забрели на такие задворки, где даже сказочные каналы обрели что-то фабричное, и в конце концов отыскали-таки зачуханную площадь. Может, где-нибудь на Выборгской она бы и не показалась такой уж зачуханной, но когда в глазах еще сияет золото Сан-Марко... Оказалось, слово "гетто" означает примерно "литейка" — из-за соседства еврейского квартала с пушечной фабрикой. Евреи уже тогда устроились на современный лад: дома в два-три раза выше венецианских и раз этак в триллион скучнее. А сейчас это был вообще сплошной драный кирпич, чернеющий пустыми окнами... Брошеная фабрика. Улочки-щели кое-где были расперты балками, чтоб не завалились.

Молитвенные дома им не разрешали украшать снаружи, дабы не вводить в соблазн христиан, но внутри синагога даже могла бы показаться пышной, если бы не соседство истинной пышности. Но все равно во время христианских праздников евреи должны были сидеть у себя безвылазно — исключения делались лишь для забавных толстяков, которых в раздетом виде гоняли по городу ради увеселения добрых христиан. Евреев не выпускали и на ночь — тоже своего рода празднество плоти.

Но зато у еврейской грезы был свой закуток, где она царствовала безраздельно. И этим сберегла себя. А что осталось от грез, предававшихся свальному греху мультикультурности?.. Нет, гетто лучше, чем Освенцим. Разрушение гетто и было первым шагом к Освенциму.

В Венеции-то я впервые и задумался, каким образом либеральная мечта предполагает урегулировать так называемый национальный вопрос, усмирить всегдашнюю готовность народов от насмешек и брюзжания по поводу друг друга перейти к насилию друг над другом? Какие тактические и какие стратегические меры она предлагает для этого? Каков тот эталон, приближением к которому она оценивает успехи в достижении межнациональной гармонии? Попросту говоря, в каком направлении следует двигаться миру? Или либерализм вообще не указывает никаких путей, полагаясь лишь на самоорганизацию? Его дело освобождать индивида от всех пут, в том числе и национальных, а что будет с миром не его забота? (Уж, по крайней мере, будет не хуже, чем при моделях авторитарных, таково, по-видимому, молчаливое предположение.)

Классический утопический либерализм, так возмущавший Константина Леонтьева ("Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения"), надеялся прийти к гармонии через уничтожение всех национальных и сословных особенностей, а что думает об этом либерализм современный, открыто не замахивающийся на отдаленные прогнозы и, тем более, на масштабное социальное проектирование? Или и к нему тоже применимы раздраженные слова того же К. Леонтьева: "Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она есть лишь отрицание *всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего выразительного*"?

Впрочем, уклонение от крайностей и определенностей, может быть, и есть наилучшая тактика, когда взаимодействующие субъекты тоже избегают крайностей и определенностей. Но если хотя бы один из них со всей определенностью и не страшась никаких крайностей стремится к доминированию, что́ удержит сообщество от ужасов войны всех против всех, той войны, которую Гоббс считал естественным состоянием человеческого общества?

В том, что касается отношений между индивидами, кажется, мало кто, даже из самых либеральных либералов, готов отрицать монополию на применение насилия как главное средство межличностного примирения, но, когда речь заходит о существах многократно более амбициозных и безответственных — о нациях, западная социальная мысль выдвигает две трудно совместимые идеи: с одной стороны, все культуры равноправны, все заслуживают сохранения и поддержки; с другой стороны, главные будущие конфликты, скорее всего, будут конфликтами этих же самых культур. Но не означает ли это, что, поддерживая все культуры разом, мы тем самым подпитываем и будущие конфликты — так сказать, вооружаем все воюющие стороны?

Классическая геополитика была более последовательной. Она стояла на ясном принципе: миром должны править сильные — ведь если передать управление слабым, они все равно не сумеют удержать власть, она неизбежно перейдет к сильным, но только через страдания и кровь — так не лучше ли прийти к этому же самому результату, минуя напрасные жертвы?

Возможно, такой итог вытекает из чрезмерно пессимистического воззрения на природу нации и человека, может быть, желание дружить ей свойственно ничуть не менее, чем желание первенствовать, — кто знает! Ведь пессимисты вечно норовят испортить людям настроение! Правда,

оптимисты вечно ввергают их в катастрофы. И если мы не столько мечтаем о земном рае, сколько страшимся земного ада, нам стоит почаще вспоминать, что равенство наций, равно как и равенство индивидов, есть чисто умозрительный идеал, в соответствии с которым человечество еще не жило ни единой минуты. А относительный мир между индивидами удавалось установить лишь государственной власти, которая оказывалась сильнее каждого пассионария в отдельности и даже каждой группы, какую ему было по силам объединить вокруг себя. И точно так же относительный мир между народами удавалось установить лишь имперской власти, которая оказывалась сильнее каждого покоренного народа в отдельности и даже сильнее тех союзов, какие он мог бы...

Правда, такого могущества практически ни одной империи достичь не удавалось — ни одна из них не бывала настолько сильна, чтобы одолеть всех своих вассалов разом — или, по крайней мере, сделать это, не подвергая опасности собственное существование. Отсюда и родился принцип "разделяй и властвуй". А зрелые империи пришли к еще более мудрому принципу (отчетливо, по-видимому, его не формулируя): собирай подати и не трогай культуру. По возможности, не трогай религию, обычаи — словом, ничего из того, что относится к главной человеческой ценности: коллективным иллюзиям. Сохрани за покоренными народами право молиться как они хотят, жениться как и на ком хотят, есть, пить, танцевать, одеваться и даже судиться — разумеется, под контролем федеральной власти. И лучше всего управлять народами-вассалами руками их же собственных элит, усыпляя гордость последних возможностью входить в элиты федеральные, тогда как гордость плебса будет убаюкана тем, что с чужеземцами в своей будничной жизни ему сталкиваться почти не придется.

О чем-то подобном сегодня и поговаривают прагматичные лидеры национальных общин: о праве на собственный суд — разумеется, под присмотром федеральной власти. Иными словами, если община этим правом начинает злоупотреблять, следуют определенные санкции — вплоть до ее лишения оной почетной прерогативы.

Либеральное право, само собой, не допускает подобных процедур — все должно быть дозволено либо всем, либо никому. Да и что это за нонсенс — юрисдикция по национальному признаку, который, как всем известно, должен быть внутренним делом каждого? На каких основаниях гражданин, скажем, даже и азербайджанского происхождения должен

быть отнесен к азербайджанской общине, если он в глубине души считает себя русским, а то и армянином, если не вообще гражданином мира? Лет сто назад эту коллизию пытались разрешить австромарксисты во главе с Отто Бауэром, предложив принцип национальной автономии. Именно национальной, а не территориальной — то есть автономия предоставляется национальным группам, как бы они ни были разбросаны по стране, и каждый гражданин причисляется к той или иной национальной группе по личному зову души, по его личному заявлению: прошу, мол, считать меня азербайджанцем. Таким образом, каждая народность существует до тех пор, пока находятся желающие продлевать ее жизнь. И таким же образом обеспечивается равноправие наций независимо от их численности.

Но ведь мир в былые-то времена обеспечивался не равноправием, а именно неравноправием: те национальные общины, которым удавалось привести своих членов к миру с социальным окружением, каким-то образом поощрялись, те, что не сумели обуздать своих жуликов, насильников и экстремистов, лишались этих поощрений... И все это по силам осуществить лишь федеральной, имперской элите, заинтересованной в сохранности и процветании многонационального целого. Если же такая элита окажется неспособна укротить кнутом или пряником неизбежные амбиции отдельных народов, она открывает путь конфликтам всех со всеми. По крайней мере, прежде всегда бывало так: или все ненавидят центральную власть и воображают, что без нее жили бы в мире и дружбе, или все грызутся друг с другом и мечтают о центральной власти, у которой они могли бы найти управу на наглость соседей.

Но известны ли случаи, когда многонациональная элита не вырастала бы из какого-то мононационального ядра "народа-хозяина"? Опыт Советского Союза напрашивается на серьезные обобщения. Когда требовалось дезорганизовать жизнь в стране, Ленин провозгласил равноправие наций вплоть до права основывать собственные государства; при этом территориальные конфликты его не пугали, ибо всякая попытка защитить отдельные национальные права тут же объявлялась буржуазным национализмом. Однако главным пугалом, угрожавшим интернациональной химере, был все-таки национализм самого сильного народа — *великорусский шовинизм*. Тем не менее, когда Сталину понадобилось вновь организовать жизнь во имя единой цели, он не сумел найти ничего лучшего, чем в полном соответствии с проверенным имперским принципом вновь поставить на самую сильную

лошадь — на русский патриотизм (те, кого он страшит, предпочитают называть его национализмом, только уже не буржуазным, а имперским).

Да, Сталин несомненно был чудовищем, но для той еще более чудовищной цели, какую он перед собой ставил: мирового господства социалистической системы, — его национальная политика была вполне целесообразной. "Наш", "пролетарский", лагерь должен быть предельно монолитным, "их", "буржуазный", — предельно раздробленным; поэтому в чужом лагере все национальные движения следовало поощрять, в своем — истреблять. Но поскольку делать это совсем уж незаметно для заграницы невозможно, осуществлялась более тонкая национальная политика: на словах поддерживать, а на деле выжигать каленым железом.

И цель была достигнута: в брежневское время удавалось поддерживать национальный мир столь малой кровью, что наивным людям этот вынужденный худой мир до сих пор представляется дружбой народов. Однако чуть только ослабела державная воля, порождаемая как решительностью власти, так и готовностью русского народа идти на серьезные жертвы во имя сохранения империи, так она и распалась в точности по национальным швам.

И это едва ли не главный аргумент либеральных публицистов: вот видите, все империи рано или поздно распадаются! Но конец рано или поздно приходит всему, вопрос в другом: известны ли многонациональные образования более долговечные, нежели империи, управляемые через посредство "народа-хозяина", руководствующегося принципом "используй, но не унижай"? И какую альтернативу имперскому принципу может предложить либеральная мысль, чтобы можно было уверенно сказать, что приносимое ею зло является если уж не наименьшим, то хотя бы просто меньшим? Если перенести имперские уроки на международный уровень, принцип максимального культурного невмешательства можно истолковать так: больше сосредоточиваться на соблюдении международных законов и поменьше вмешиваться во внутренние дела. Тогда как либеральная альтернатива с ее культом прав индивида, казалось бы, напротив, требует вмешиваться во что угодно, не считаясь с ценой, если там нарушаются права человека? Хотя, с другой стороны, не считаться с ценой — это как-то больше отдает идеалистическим максимализмом: пусть-де погибнет мир, но торжествует справедливость!

На деле же отмеченное Леонтьевым стремление либерализма избегать всего определенного и смягчать крайности

приводит к тому, что либерализм оказывается не в силах, вопреки собственному же либеральному принципу "закон один для всех", поддерживать национализм слабых наций и осуждать национализм сильных, — и этим поддерживать скрытую и явную борьбу всех против всех до бесконечности.

Впрочем, если либерализм отвергает любые коллективные, государственные цели, то он и не может иметь какой-либо собственной национальной политики, ибо целесообразность средств определяется целью. Неужели это действительно так?

Поскольку как империалисты, так и либералы стараются завуалировать собственную практику завесой красивых слов, возможно, они сумели скрыть и от самих себя собственные принципы, о которых автору этих строк тем более приходится только гадать. Но, похоже, в своей реальной политике и те и другие тяготеют не к равенству, а к неравенству народов. "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку", — сигнализируют миру империалисты своими действиями. "Нет, напротив, что дозволено быку, то не дозволено Юпитеру", — отвечают им либералы. "Сильные должны удерживать слабых от разнузданности, а потому они должны становиться все сильнее". — "Сильные не должны раздражать слабых своей силой, а потому они должны становиться все слабее".

Видимо, каждая из этих парадигм: "усиливать сильных" и "ослаблять сильных", — имеет свои плюсы и свои минусы, но их совместное применение, как это делается сейчас, похоже, объединяет только минусы. Строгать доски для пола в новой бане или не строгать, спорили евреи в одном местечке: если не строгать, будут занозы, если строгать, будет скользко... И раввин принял компромиссное решение: доски строгать, но класть строганым вниз.

Похоже, западная цивилизация сегодня и есть тот самый раввин.

Слов нет, демонстрация скорбного почтения к Холокосту входит в кандидатский минимум для вступления в политкорректное либеральное общество. Сдавши этот минимум, уже можно не скрывать раздражения сегодняшним Израилем: ведь если отдать палестинцам требуемые ими территории, в Израиле сразу воцарится мир. А в мировом масштабе нужно сблизить уровень жизни исламского мира с уровнем жизни "золотого миллиарда", тогда и террор тоже иссякнет сам собой, это же так ясно!

Сам я думаю, что палестино-израильский конфликт в мировом масштабе вообще не так уж важен, он воспринимается столь обостренно только потому, что исламскому миру Израиль ошибочно представляется авангардом Запада, коим он вовсе не является, — у него свои интересы, а у Запада свои. Но это общая формула еврейского проклятия — мнимое лидерство. Что же касается выравнивания уровня жизни Запада и Востока, то, во-первых, это технически невозможно в ближайшие века два, если не сто, а во-вторых, что еще более важно: давно пора забыть учение Маркса о базисе и надстройке. О том, что будто бы наша психология есть продукт материальных условий. Они, разумеется, влияют друг на друга, но здесь скорее наблюдается обратное влияние: психология определяет образ жизни, а не образ жизни определяет психологию.

Все решают грезы, которыми живет народ. Горстка народовольцев, отдавших свою жизнь химере, прекрасно показывает нам, что такое человек. Для человека возможность чувствовать себя красивым и значительным, обрести картину мира, в которой он может гордиться собой и которой может восхищаться, намного важнее, чем сытость, комфорт и — для некоторых — даже жизнь. Поэтому если даже завалить униженных и оскорбленных квартирами, больницами, колбасой и прочими благами, это ничему не поможет. Народ создается, написал я когда-то в "Исповеди еврея", общим запасом воодушевляющего вранья, но сейчас я готов это смягчить: народ создается и сохраняется коллективной химерой, в которой он представляется себе значительным, прекрасным и предназначенным для высокой миссии. Поэтому никакой народ никогда не будет благодарен тому, кто его всего лишь накормит, он будет восхищаться тем и благодарить того, кто позволит ему гордиться собой. Чтобы приблизить уровень жизни исламской цивилизации к европейской, необходима прежде всего радикальная перестройка образования. Невозможно, почитая высшей мудростью Коран, сделаться инженером или даже механиком. Исламистам пришлось бы отказаться именно от того, что дает им чувство значительности.

Об этой проблеме спорили еще ранние сионисты, решая вопрос, где создавать государство Израиль. Одни — территориалисты — считали, что Палестина ничуть не лучше любого другого свободного участка земли, но Жаботинский уже тогда утверждал, что свободных мест на земле нет — любая территория впечатана в память какого-нибудь народа. И где бы ни поселились евреи, их интересы сразу столкнутся со сказ-

ками другого народа, который никогда не уступит и никогда не сдастся. Часть сионистов убеждала: арабы увидят, что с нами жить лучше, они с нами станут богаче, но Жаботинский возражал: купить их невозможно, потому что это народ, а не толпа, состоящая из сброда, подкупить арабов нам не удастся, как нас не сумели подкупить русские. Ведь в дореволюционной России талантливый, энергичный, волевой еврей мог достичь практически всего, кроме государственной должности. Мог стать богатым, знаменитым, мог стать бизнесменом, литератором, и сам Жаботинский тому пример — он был талантлив, образован, сделал образцовый перевод "Ворона" на русский язык... И тем не менее, он продолжал ощущать себя униженным, и в конце концов все нажитое оставил, провозгласив нематериальную цель: мы должны научиться перестать стыдиться себя.

Нам кажется, что у мусульман ситуация другая, что они, напротив, чувствуют себя избранными: их вера единственно верная, их законы самые справедливые, их обычаи самые красивые... И они действительно хотели бы в это верить, равно как и мы сами. Ибо каждый народ, каждая культура стремится гордиться собой. Культуры, системы коллективных иллюзий и создаются для того, чтобы внушить своим приверженцам: мы лучшие. Мультикультурализм очень наивен: культуры в основе своей направлены не на равенство, а на доминирование. Если культура не обеспечивает человека иллюзией, будто он является частью чего-то самого прекрасного и справедливого, у него исчезает мотив ее защищать, приносить ей жертвы, даже самые минимальные. И тогда она долго не протянет. А человеком, отпавшим от своей культуры, овладеет ужас собственной ничтожности перед бесконечно огромным и бесконечно равнодушным мирозданием. И если в мире грез ты первый, а в мире социальном едва ли не последний, то эти ножницы вполне способны продырявить защитный слой иллюзий, спасающих человека от ужаса собственной мизерности. Каждой культуре необходим свой уголок, в котором бы она ощущала себя безраздельной хозяйкой, нужно, по возможности, избегать коммуналки культур. Но западная цивилизация создает их сама в собственных недрах и этим многократно увеличивает количество людей, не защищенных достаточно авторитетными химерами.

Страх своей ничтожности — вот скрытый источник современного терроризма. Современный террорист борется прежде всего за воображаемую картину мира, в которой он не ощущал бы своей мизерности и мимолетности. Поэтому

запугать его невозможно — именно от ужаса он и спасается в терроре. Его можно только соблазнить другой сказкой, в которой он снова бы обрел душевный комфорт.

С нами это в свое время проделали гениально: "Европа нам поможет", нас не любят только потому, что мы представляем военную угрозу, придите в мирные объятья... И эта греза развалила Советский Союз. Вот так постепенно, тонко и умно надо переманивать потенциальных террористов нашими химерами, одновременно открывая им пути для карьеры внутри европейской цивилизации.

Но это в основном относится к тем, кто уже оказался в "нашей" культурной среде. Тогда как подавляющее большинство мусульман по-прежнему остается в местах своего традиционного проживания. И чтобы не создавать из них прямых террористов или "сочувствующих", Запад не должен посягать на их защитные иллюзии, должен минимизировать культурную экспансию — это можно назвать принципом культурного невмешательства. Мы замечаем вторжение чужаков в нашу культурную среду, но не замечаем вторжения наших обычаев, нравов, вкусов, образцов и образов в культурную среду тех, чьей агрессии мы опасаемся. Однако их агрессия порождена ровно тем же самым страхом оказаться людьми второго сорта. Но каждый человек хотя бы у себя дома должен ощущать себя самым мудрым, самым справедливым и самым уважаемым. Такое возможно лишь в отдельной квартире, и никак не в коммуналке. А ведь так называемая глобализация вольно или невольно создает коммуналку культур... И современный терроризм в какой-то мере может быть уподоблен высокоидейной коммунальной склоке. Это не ирония, в основе коммунальных склок, как еще давно подметила И. Грекова, тоже лежит пламенная борьба за справедливость и достоинство.

Именно национальные культуры наиболее остро разобщают нации, в пределе порождая терроризм. Не респектабельные "вершки" культур, но полубессознательные "корешки" предвзятостей и преданий, обосновывающих убежденность каждой нации (цивилизации), что именно она "самая-самая". Культуры обогащают друг друга только на расстоянии, когда каждая добровольно берет у другой то, что ей нравится. Народам лучше всего общаться через посредство своих рационализированных элит, а соприкосновение их культурных ядер желательно свести к минимуму. Любовь культур может быть только платонической: слишком тесное сближение тел обращает ее в отвращение.

Вспомним, как мы любили Запад издалека, как гонялись за Ремарком и Хемингуэем, как почти подпольно развивали джаз и переименовывали улицу Ленина в Бродвей... И какую настороженность, а то и враждебность начал вызывать *американский образ жизни*, когда россияне начали угадывать за этим пренебрежение и принуждение...

Но если мы снова разъедемся из коммуналки в отдельные квартиры, наши отношения наверняка резко улучшатся.

Даже старое недоброе гетто все-таки лучше, чем Освенцим.

Ханс Магнус Энценсбергер: "Моя читательская аудитория – это не обязательно немцы"

Запись беседы и перевод с немецкого Н. Васильевой

От переводчика

Ханс Магнус Энценсбергер — неоспоримая, хотя и трудно определимая "величина" в современной немецкой литературе. В прошлом году ему исполнилось восемьдесят лет. В Германии признание пришло к нему быстро. Его литературный дебют в 1957 году произвел эффект "поэтической молниевой вспышки", а в возрасте тридцати трех лет Энценсбергер был удостоен высшей немецкой литературной награды, премии имени Бюхнера. За немецкими литературными премиями последовали и международные: поэтическая премия имени Габриэле Д'Аннунцио, премия принца Астурийского.

© Н. Васильева. Перевод, запись беседы, 2010

В феврале этого года Энценсбергеру была вручена престижная датская премия Зоннинга "за вклад в европейскую цивилизацию"; жюри особо отметило "смелость Энценсбергера как интеллектуала и как поэта и его умение с юмором, иронией и скрытой теплотой сказать *нет*".

Русскому читателю произведения Энценсбергера знакомы меньше, хотя отдельные его стихи и эссе печатались в русском переводе уже начиная с 60-х годов. О возможных причинах его малой известности в России, о своих книгах, о Германии, о немецкой истории и о русских впечатлениях Ханс Магнус Энценсбергер рассказывает в эксклюзивном интервью, данном для "Иностранной литературы".

Беседа состоялась в его мюнхенской квартире.

Наталия Васильева. В 60-е годы вы неоднократно приезжали в Советский Союз, и тогда же впервые были напечатаны по-русски ваши стихи. Расскажите, пожалуйста, о ваших поездках и о том, как сложилась судьба русской книги ваших стихов?

Ханс Магнус Энценсбергер. Вы знаете, старый Союз писателей СССР — это была целая бюрократическая машина. На каждого писателя с Запада имелось там отдельное досье. Все западные писатели были распределены по разным ящикам: одни значились как антисоветские, другие же, наоборот, как соратники по борьбе, а между этими двумя категориями имелась еще одна — так называемые прогрессивные западные писатели. Вот в этом ящике для прогрессивных западных писателей находилось и мое досье, туда меня причислили. Сам я, разумеется, ничего об этом не знал, а там все тщательно собиралось и подшивалось в папку. И в результате я однажды получил приглашение посетить Советский Союз. Тогда считалось, что если немного пообхаживать этих самых прогрессивных западных писателей, то они, возможно, станут fellow-travellers — не соратниками, но по крайней мере попутчиками. А это даже лучше, поскольку членство в какой-нибудь зарубежной партии не особенно и приветствовалось, но симпатизирующих всячески поддерживали. Я, разумеется, очень обрадовался, мне непременно хотелось побывать в России. Я приезжал по приглашению на конгресс писателей в Ленинград, был в Тбилиси на юбилее Руставели — в общем, имел возможность самому все увидеть. По политическим взглядам я был близок левому лагерю, но всегда хотел видеть всё своими глазами, поскольку знал, что тебе только тогда многое станет понятно, когда ты сам где-то побываешь, встретишься с людьми.

Все, разумеется, было очень хорошо и интересно, даже Хрущев нас однажды принимал, но при этом ты всегда был — "член делегации", и зачастую приходилось сбегать с мероприятий, как в школе с уроков, чтобы от этой "делегации" отделаться. С другой стороны, были в "делегации" и свои преимущества: со многими самыми разными людьми — с Эренбургом, Симоновым, Фединым — удалось познакомиться лично, побеседовать с ними. Не обходилось, разумеется, и без споров. Ну, а что касается книги моих стихов по-русски, то получилось вот как: при таких делегациях переводчиком, как правило, работал Лев Гинзбург. Мы с ним подружились, позднее он несколько раз приезжал в Германию. Тогда же он стал переводить мои стихи. Поначалу все шло хорошо, кое-что было напечатано, например, в "Новом мире". Кто тогда был главным редактором "Нового мира"?

Н. В. Александр Твардовский?

Х. М. Э. Да, Твардовский. С ним я тоже встречался, в "Новом мире" я тоже был. Помню, спорили с ним о Синявском и Даниэле, о самых разных вещах, мне все было интересно. С книгой дела поначалу шли хорошо. В переводе Гинзбурга был подготовлен целый сборник стихов, он был уже набран и напечатан, тиражом, не знаю точно, пять или десять тысяч экземпляров. Но в тот самый момент меня как раз изъяли из ящика прогрессивных западных писателей и поместили в ящик писателей антисоветских.

Н. В. Почему?

Х. М. Э. Почему? Об этом мне стало известно лишь позднее. Я тогда издавал журнал, назывался он "Курсбух" ("Расписание движения"), и там, в этом журнале, была напечатана подготовленная мной подборка материалов о Кронштадте: 1921 год, восстание матросов, роль Троцкого, трагическая история... И это было воспринято как антисоветский выпад.

Н. В. Значит, виной тому были вовсе не стихи?

Х. М. Э. Да, не стихи, но весь тираж был пущен под нож, и книга так и не увидела свет. Сначала напечатали, потом уничтожили. Странно, конечно, потому что со стихами это никак не было связано, а продиктовано только стереотипным мышлением: раз попал в другой ящик — значит, не печатаем. Не такая уж, впрочем, это была трагедия, визу мне все-

таки выдавали, и я потом еще много раз бывал в России: "невъездным" не сделали, но печататься не разрешали.

Н. В. Каковы были ваши впечатления от всего увиденного? Вы были разочарованы?

Х. М. Э. В первый раз я был в России, если не ошибаюсь, в 1963 году. Люди тогда жили определенными надеждами, что ситуация изменится к лучшему... В ту поездку, когда нас принимал Хрущев, я был даже удостоен особой привилегии — получил разрешение совершить целое турне по Советскому Союзу. Мне предложили конкретный маршрут. В скольких разных городах я побывал: в Баку, в Ташкенте, в Иркутске, в Новосибирске. Никакой делегации больше не было, я ездил один, и сопровождал меня только переводчик. И этот переводчик был замечательный человек, превосходный знаток и ценитель литературы. Переводчиком он работал, чтобы зарабатывать на жизнь, — это все очень печальная история. Так вот, по вечерам мы сидели с ним вдвоем в каких-то провинциальных гостиницах и вместе составляли отчеты. Он должен был представлять куда следовало отчеты о поездке. Сначала мы не знали, как и что писать, потом начали сочинять, чтобы и они там остались довольны, но чтобы и не переборщить в то же время. Совсем уже невесело, однако, что Костю Богатырева — так его звали, он был сыном, если не ошибаюсь, довольно известного фольклориста, из очень образованной семьи, прошел через лагерь, — убили в подъезде собственного дома, просто избили до смерти. Во время этой поездки мне, разумеется, пришлось столкнуться с разными вещами, но у меня и раньше никаких особых иллюзий насчет советского коммунизма не было.

Н. В. Но вообще относительно этого строя иллюзии были?

Х. М. Э. Возможно, некоторые иллюзии были у меня относительно Кубы. Ситуацию в восточноевропейских странах я знал довольно хорошо. Я много ездил: был и в Польше, и в Венгрии, и на Балканах, в Югославии, мне хотелось самому во всем разобраться. И в какой-то момент я понял: нет, ничего из этого не выйдет, и в Праге тоже ничего не получится. Но, может быть, на Кубе? На Кубе ведь дело обстояло иначе, русских танков там не было, это был автономный процесс, и шел он не так, как в России в 1917 году, когда власть оказалась в руках меньшинства — большевиков же было совсем мало. А на Кубе за Фиделя Кастро поначалу было семьдесят пять процентов населения, люди поддерживали его. И я подумал, а что, если у них и в

самом деле получится, надо бы посмотреть, ситуация казалась благоприятной. Поехал на Кубу, но, к сожалению, вынужден был убедиться, что и там ничего не выходит. Тогда для меня окончательно стало ясно — ни к чему хорошему эта однопартийная система не приводит, и в экономическом плане оснований для больших надежд тоже не было. Мне думается, в случае сомнений разумнее все-таки держаться реальности... Но к России я безусловно испытывал особую душевную привязанность. И всякие личные обстоятельства имели тут место: был когда-то женат на русской, ну и так далее... и я был тесно связан с кругом интереснейших людей: ученые, писатели, Переделкино... У меня остались очень добрые чувства и воспоминания о том, как все тогда было. Деньги, к примеру, не играли никакой роли, гораздо важнее были знакомства. Это вообще было скорее меновое хозяйство. А еще — та задушевность в отношениях, прославленные разговоры на кухне, это же все было, я прекрасно помню... Не знаю, как с этим обстоит сегодня...

Н. В. Сегодня это почти утрачено...

Х. М. Э. У меня тоже такое впечатление. Подобным отношениям просто не уцелеть в других условиях. Жаль, конечно, но в общем и целом... Не берусь выдвигать насчет России никаких политических гипотез, для этого я не располагаю достаточной информацией. Мы, разумеется, все несколько подавлены теми новостями, которые до нас доходят: Сталин вроде как опять величайший русский. Это, разумеется, очень грустно слышать, в самом деле грустно. Но все же нет ощущения летаргического оцепенения, чувствуется энергия, воля к жизни, а политические системы — это другая тема... И вот что еще интересно: раньше сфера частной жизни сводилась именно к кухонным нишам, назову это так, а сегодня люди не скрывают своей частной жизни и до политических систем им дела мало. И это уже само по себе большое достижение, поскольку раньше иметь частную жизнь было особой привилегией.

Н. В. А когда вы были в России в последний раз?

Х. М. Э. В девяностые годы. Это были совсем короткие поездки в Киев и в Москву, по линии Гёте-института. Я немного побаиваюсь вечно куда-то несущейся Москвы... Но та моя первая поездка по Советскому Союзу произвела на меня сильное впечатление. У меня до сих пор многое сохранилось в памяти. И наши приятельские доверительные отношения с моим "напарником" по поездке. И то, как он мне сразу сказал:

мне велено писать о тебе донесения, но мы все обсудим вместе. Здорово это было. Ведь и такие люди были.

Н. В. А случалось вам общаться с людьми просто на улице?

Х. М. Э. Да, в ту поездку все происходило гораздо проще. Разговорились однажды с молоденькими работницами с фабрики — о поэзии. Дело было в Новосибирске, в октябре, на улице холодно, мороз, и нигде никаких кафе. И вот прямо на улице завязался разговор, сначала как обычно: "Вы откуда?.. А, из Германии..." Люди понаивнее в этом случае всегда спрашивали: "А из какой Германии, из нашей или из настоящей?" "А по профессии вы кто?" И тут вдруг — "поэт". После этого престиж ваш в глазах собеседника мгновенно возрастал, и на вас смотрели уже с огромным уважением. И тогда в Новосибирске эти девчонки с фабрики — они даже не были инженеры, а обычные фабричные работницы, никогда этого не забуду, — они сначала спросили меня, кого я знаю из русских поэтов. Я стал перечислять классиков. "А из сегодняшних?" Я подумал: они наверняка знают Евтушенко, слышали, конечно же, его имя — он был тогда звездой. И я ответил, что я с ним, с Евтушенко, встречался. Но они только отмахнулись: "Евтушенко — нет, это не то, вот Ахмадулина — другое дело, или, к примеру, Вознесенский..." Они здорово разбирались в поэзии, на меня это произвело сильное впечатление. У нас такого не встретишь.

Н. В. Соглашаясь на интервью, вы сначала не хотели касаться сегодняшних русских проблем, но замечательно, что вы поделились столькими воспоминаниями...

Х. М. Э. Выносить приговоры — это другое, этого я не могу и не хочу, анализ ситуации не делается с ходу... У меня есть хороший друг, немецкий историк Карл Шлёгель, он очень часто бывает в России, он там как у себя дома, у него русская жена, и он мне всегда рассказывает о своих поездках и впечатлениях. Карл Шлёгель написал замечательную книгу "Террор и мечта. Москва. 1937 год"[1]. В самом деле очень интересная книга. Это взгляд на страну изнутри, не то что досужие рассуждения какого-то иностранца. В книге собраны факты и материалы о повседневой жизни; террор и одновременно — эйфория, эта непостижимая двойственность потрясает: с одной стороны — террор, с другой — триумфальные выборы;

1. Книга вышла в издательстве "Ханзер" в 2008 г., в 2009 г. удостоена премии Лейпцигской книжной ярмарки. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

террор и одновременно гуманнейшая в мире конституция. Или все эти празднования, увеселения, колоссальные парки, Выставка достижений народного хозяйства, это же все было создано в то время, и грандиозное метро — предмет всеобщей гордости. Чувство гордости и одновременно — страх. Жутко себе представить. На меня книга произвела очень сильное впечатление, но с тех пор много воды утекло...

Н. В. А удалось ли вам встретиться с кем-нибудь из русских классиков? С Ахматовой вы не встречались?

Х. М. Э. Встречался. Но не в России, а на Сицилии. Я был там тоже на какой-то писательской встрече. Держалась она царственно. Истинная Царица поэзии — так, наверно, можно было бы сказать. Необыкновенно величественная. Она не казалась высокомерной, а именно величественной. Говорить я с ней не говорил, только видел ее. Перед ней все преклонялись...

Н. В. А Бродского вы знали?

Х. М. Э. Да, его я знал довольно хорошо. Я познакомился с ним еще в Америке, потом мы встречались в Голландии. У нас с Бродским были дружеские отношения, мы обращались друг к другу просто по имени. Бродский... он был симпатичен мне. Очень толковый. Но, разумеется, и самомнение у него, хотя и несколько иного плана, чем у Ахматовой, было немалым — огромное самомнение. Я его однажды спросил: "Скажи, кого из современных поэтов ты особенно ценишь?" А он мне ответил: "Знаешь, для меня, вообще-то, как поэты существуют только Вергилий и Данте; Пушкин, Вергилий и Данте". Это были, так сказать, поэты его ранга. Но я его все равно очень любил, нельзя же на такое сердиться. Проблема заключалась скорее в другом: он ведь писал по-английски — по крайней мере отчасти перешел на английский, — и я нередко слышал от людей, которые действительно могут об этом судить, что русские его стихи были лучше. Хотя, конечно, их очень трудно переводить. Но знаете, подобное часто случается с двуязычными писателями. Вот, к примеру, англичане утверждают — я-то этого не замечаю, хотя неплохо знаю английский, но англичане говорят, что в языке Джозефа Конрада есть что-то странное, нельзя сказать, чтобы в его английском было что-то неправильное, но нечто чуждое, инородное в нем ощущается. Так же, вероятно, обстояло дело и с английскими стихами Бродского. Некоторая деструкция.

Н. В. Хотелось бы, чтобы вы представили русскому читателю ваши произведения. Отдельные стихи и эссе печатались по-русски, но произведения других жанров менее известны в России, к примеру — "Беглый раб", одно из ваших ранних произведений, созданное по кубинским впечатлениям и даже положенное на музыку известнейшим современным композитором Х. В. Хенце[1]. В Германии "Речитатив для четырех музыкантов" по мотивам биографии этого "беглого раба" до сих пор исполняют разные музыкальные ансамбли. Как создавалось это произведение и как возникла идея вашего сотрудничества с Хенце?

Х. М. Э. Мы с Хенце вместе были на Кубе, и с этим самым "беглым рабом" я там лично встречался. Он потом очень скоро умер, ему было тогда 104 года. Он произвел на меня огромное впечатление. История его жизни — это история жизни рабов на Кубе, начиная с рубежа веков, история их мятежей, бегства, бродяжничества. Записал рассказ "беглого раба" один кубинский писатель, Мигель Барнет, я же сделал из этого материала нечто вроде либретто. Мы с Хенце не раз работали вместе. А я и позднее писал разные либретто, мне нравится этим заниматься. Знаете, если я нахожу материал, который меня интересует, и нахожу композитора, то почему бы не написать и либретто? Я люблю экспериментировать, мне интересно попробовать себя в театре, или даже в кино, я и фильмы раньше снимал, кроме того переводами занимался. Есть такой тип писателей, я называю их кроты, — это люди, всецело поглощенные одним-единственным делом, на которое направлена вся их энергия. Кафка, к примеру, был крот. Кафка даже писал о кротах. Крот не отступится от своего дела, вам не сбить его с пути, не отвлечь на что-то другое. Но бывают еще и аисты. Аист, тот все время кочует, с места на место перелетает и везде находит себе добычу: то здесь лягушка попадется, то где-то совсем в другом месте. Аист — птица перелетная. Все дело в разнице темпераментов. Вот и я так устроен, что не переношу однообразия, мне было бы скучно заниматься все время одним и тем же.

Н. В. Поэтому вы выступаете в стольких разных жанрах?

Х. М. Э. Да. Иногда это поэзия, иногда проза, эссе, даже научное исследование — наука меня очень интересует, и я

1. Ханс Вернер Хенце (р. 1926) — немецкий композитор, дирижер, режиссер. С 1953 г. живет в Италии.

много ею занимался. Тут все зависит от темперамента. Или можно сказать так: есть бегуны на длинные дистанции, специалисты по марафону. "Война и мир", к примеру, — марафон, а стихотворение — это скорее стометровка.

Н. В. Влияет ли для вас выбор темы на жанр произведения?

Х. М. Э. Нет. Знаете, в поэзии тоже встречается узкая специализация: бывают мастера по части политической лирики, бывают — по части лирики любовной, пейзажной и так далее. Я же считаю, что поэзия открыта для всего: тут уместны и математика, и секс, и политика, и какое-нибудь крошечное растение тоже достойно ее внимания. Понимаете, для меня поэзия *всеядна*. Все, что может быть интересно человеку, находит здесь свое место. А так называемые специалисты думают по-другому, у каждого из них есть своя тема, свой раз и навсегда избранный предмет. Но я не хочу всегда оставаться одним и тем же, я ведь не стою на месте.

Н. В. А проза представляется вам не столь всеохватной, как поэзия?

Х. М. Э. Для меня столь же всеохватным жанром является эссе, и этим оно меня привлекает. Я не пишу академических эссе, в которых сначала, как правило, выдвигается тезис, а затем следуют доказательства. Когда что-то вызывает у меня интерес, я начинаю выяснять, что я по этому поводу думаю, — я же этого поначалу не знаю. Всякий раз это — проба, эксперимент, "опыт", как у Монтеня. Точно та же установка. С точки зрения формы у данного жанра много преимуществ. В эссе вы можете что-то рассказать, что-то процитировать, сослаться на собственные впечатления; здесь допустимы и приемы репортажа, и некоторая доля автобиографичности. Эссе — очень свободный жанр, не ограничивающий автора строгими правилами. Может быть, этот жанр удается мне лучше, чем другие. Я бы не сказал, что я действительно сильный прозаик-романист, хотя писал и повести...

Н. В. Вы не любите придумывать сюжеты?

Х. М. Э. Да, вероятно, но дело не только в этом — романисту еще необходима широта. Возьмите, к примеру, Набокова — какая колоссальная память на детали, сколько всяких подробностей. Какая эпическая широта, какое терпение. А мне не хватает терпения.

Н. В. Терпения собрать все детали в единое целое?

Х. М. Э. Не только. Ведь как писал Томас Манн? В девять после завтрака садился за стол и до часу дня не переставая писал, трудился как обыкновенный чиновник, и так изо дня в день. А я совсем не так работаю, у меня нет такого терпения. Или же Музиль — тридцать лет просидеть над одной вещью, над этим кирпичом. Я бы не смог, да и не хотел бы.

Н. В. Вы предпочитаете быстро закончить вещь и перейти к новой?

Х. М. Э. Не совсем так. Бывает, что, прежде чем начнешь писать какую-то вещь, сначала лет двадцать обдумываешь ее, развиваешь разные идеи, потом опять откладываешь в сторону, делаешь что-то другое. Но хорошие идеи не забываются и обязательно когда-то к тебе вернутся. Недавно у меня вышла книга — это своего рода биография, семейная хроника, история семьи Хаммерштайнов[1]. А идея этой книги зародилась знаете когда? Лет пятьдесят назад. Однако по разным причинам эта история не превратилась тогда в книгу. Отчасти потому, что доступа к архивам еще не было. Вы только представьте, разве мог я в 1955 году поехать в Москву и попросить: не будете ли вы так любезны выдать мне для работы акты НКВД. Меня бы сочли сумасшедшим. И в Германии тоже архивов не было, их тогда просто еще не существовало. Для многих, кто собирался писать мемуары, вся эта изыскательская работа была в то время просто невозможна. Поэтому я взял эту историю себе на заметку, чтобы, когда наступит подходящий момент, извлечь ее из памяти и начать по-настоящему над ней работать.

Н. В. Но для создания этой книги все-таки потребовалось немалое время?

Х. М. Э. Да, и прошло десять лет, прежде чем я начал писать. Много времени уходит на сбор материала и на всякие детективные расследования, без которых тоже не обойтись, потом нужно найти форму, придумать, как организовать материал. Я слышал, что эта книга выйдет в России, что она переводится, заключен договор... Разумеется, я был бы этому очень рад, ведь вообще-то в России я — ноль.

1. Книга "Хаммерштайн, или Своеволие" вышла в издательстве "Ханзер" в 2008 г. Ее главный герой — Курт фон Хаммерштайн (1878–1943) — один из руководителей рейхсвера, с 1934 г. генерал-полковник.

Н. В. Эта книга, безусловно, будет с интересом встречена в России, ведь она во многом и о нашей истории. И в России вы, конечно, известны.

Х. М. Э. Да нет, чем же? Впрочем, знаете, я не из тех, кто считает, что должен быть непременно известен во всем мире. Хорошо, конечно, если тебя знают в той или иной стране, но зачем же повсеместно?

Н. В. До вашей книги "Хаммерштайн, или Своеволие" вы в своих произведениях редко обращались к немецкой истории. Почему вам захотелось написать книгу именно об этом времени, о периоде национал-социализма, о котором так много уже написано?

Х. М. Э. На то есть особая причина. Русским это должно быть понятно. Знаете, очень часто все изображают лишь в черно-белом цвете: с одной стороны — отъявленные злодеи, все эти люди из служб концентрационных лагерей, эсэсовцы и так далее, а с другой — истинные герои, такие как Штауффенберг. Его сейчас у нас представляют именно таким героем, хотя и в истории Штауффенберга тоже не все просто. Но я еще застал и помню то время, и для меня гораздо интереснее оттенки серого цвета, разные ступени нравственной эволюции человека. Далеко не каждый мог тогда сразу сказать: "Это же преступники". Далеко не каждый! Подтверждения тому найдутся в любой семье. Вот мой отец, к примеру, вплоть, думаю, до 1934 года был сторонником Гитлера, а в 1934 году, после всех этих массовых убийств по так называемому делу Рёма[1], когда людей ликвидировали абсолютно беззаконно, без суда и следствия, после этого отец мой сказал: "Все, хватит". Один-единственный год — и такой резкий поворот в сознании. Очень интересно попытаться понять, как и почему это происходит. Или, например, разобраться в мотивах поведения людей, ведущих двойную жизнь: эсэсовец, который вдруг неожиданно кого-то спасает, хотя уже стольких убил. Или же генерал, который говорит — и не потому, что осознал ужас творящихся преступлений, а потому, что иначе война будет проиграна: "Я как генерал с полной ответственностью заявляю, что все это дикость и так нам войны не выиграть". И ты-

1. Эрнст Рём (1887–1934) — один из лидеров национал-социалистов, руководитель штурмовых отрядов СА. Расстрелян с санкции Гитлера по обвинению в заговоре. Вследствие расправы Гитлера над штурмовиками СА по Германии прокатилась волна террора, известная в истории как "Ночь длинных ножей" (30 июня 1934 г.).

сячи разных других примеров. Мне кажется, это очень хорошо можно понять на примере судьбы самого Хаммерштайна и его близких: как люди попадали в круговерть всех этих событий и как каждый на свой лад пытался найти какой-то выход. Можно ведь и себе самому задать такой вопрос, над этим мало кто сегодня задумывается: а как бы ты себя повел в 1932 году — ну, скажем, был бы ты тогда студентом? Думаю, что я, скорее всего, — надеюсь! — пошел бы к коммунистам, но и это было бы ужасно, просто ужасно. А что же еще оставалось людям делать, другого-то выбора у них не было.

Н. В. В вашей книге вы пишете: "Мы должны быть благодарны судьбе, что нам не довелось жить в то время". То же можно сказать и о русской истории того периода — как сумели люди прожить и пережить то время?

Х. М. Э. Да, об этом даже подумать страшно. И чтобы по-настоящему понять, почувствовать всю амбивалентность и противоречивость того времени, необходимо строго следовать за документом. Это означает, что мне было не обойтись без писем, дневников, фотографий, архивных материалов, без всего этого — не обойтись ради достоверности деталей. Я не ставил перед собой задачи свести счеты с немецкой историей: что за народ немцы, хорошие они или плохие. Это все слишком общие категории, не дело писателя ими оперировать. Я должен проникнуть глубже.

Н. В. Вы хотели перенести нас в то время?

Х. М. Э. Да. Моей дочери сейчас двадцать два, и она тоже задает себе подобные вопросы: как же это все могло случиться, как вы это допустили?

Н. В. Почему вы вели себя так, а не иначе? Ведь все очевидно — с сегодняшней точки зрения...

Х. М. Э. Да, но тогда-то все было не так уж очевидно. Существует особая разновидность прозорливости, я называю ее прозорливостью задним числом — это совсем неверный подход. Надо увидеть все глазами людей, живших в то время. Для того и необходим писателю документальный материал: я вынужден обращаться к родственникам моего героя, встречаться со всеми этими людьми, с внуками, а те в свою очередь вынуждены открывать ящики своих письменных столов, рассказывать о семье. Только тогда все это складывается в

книгу, в историю. Ну, разумеется, и сам он, Курт Хаммерштайн, вызывает у меня большую симпатию, мне очень нравится этот своевольный человек, и его дочери тоже. Я восхищаюсь этими женщинами — какие сильные натуры, какие интересные люди... "У меня нет никакого желания быть героем", — говорит, например, Курт Хаммерштайн, или: "От страха пользы не будет". Вот такие жизненные максимы. Есть чему поучиться. Я бы не стал писать книгу, к примеру, о Гиммлере, он мне не интересен, я же не специалист по патологии.

Н. В. В книге вы воссоздаете на основе документальных материалов подлинные исторические события. Как отнеслись к этой книге историки?

Х. М. Э. Многие из них высоко оценили книгу, но кому-то, разумеется, все-таки трудно было ее принять. Историк ведь не может позволить себе домысливать, а я нашел свой особый модус повествования — беседы с умершими. Я ведь писатель. Для историка такое непозволительно, но у литературы в этом отношении есть большое преимущество.

Н. В. В послесловии вы пишете, что книга эта "не претендует на научность" и в ваши намерения "не входило браконьерство на территории историков и архивариусов". По вашему мнению историческая наука не может адекватно воссоздать какую-то эпоху?

Х. М. Э. Научные исследования очень нужны, но, если вы обращаетесь к прошлому, если вы пытаетесь, например, понять, что представляла собой Франция девятнадцатого столетия, мне кажется, вам не обойтись без Бальзака, не обойтись без Флобера.

Н. В. Необходим личностный подход к истории?

Х. М. Э. Вы можете положить перчатку на стол и разглядывать ее со всех сторон, но вы еще не будете знать всего об этой перчатке, вы можете дать ее подробное описание, запечатлеть ее на фотографии, но понять, что это за перчатка, вы сумеете только тогда, когда наденете ее на руку, почувствуете ее изнутри, а не только снаружи. Важно знать что-то и с той и с другой стороны... Все конкретные факты — это внешняя сторона дела; они должны, разумеется, быть абсолютно точно выверены, я над этим очень скрупулезно работал. Факты, изложенные в книге, никто из историков не опровергал, тут,

думаю, я неплохо справился со своей задачей. Но, с другой стороны, мне необходимо было добиться именно этого ощущения изнутри, я хочу представить, как все происходило на самом деле, и в этом мне помогают воображаемые диалоги с моими умершими героями.

Н. В. Такой прием дает вам возможность вступить в диалог с тем временем?

Х. М. Э. Да, и даже в своего рода спор, дискуссию. Все теперь недоумевают: почему Гитлера так долго терпели и почему не устроили путча? А ведь можно об этом спросить самого Хаммерштайна. Но прежде нужно попытаться понять его характер, как бы он стал отвечать на эти вопросы. Журналистов он недолюбливает и поэтому, естественно, поначалу отвечает весьма сдержанно.

Н. В. Вы пишете также, что книга эта "не является романом". Чем вам не по душе роман?

Х. М. Э. Нет, я ничего не имею против романа, но это не совсем мой жанр. Человеку ведь следует знать, что у него получается хорошо, а что — не очень. Как я уже говорил, мне не хватает терпения, мне бы наскучило много лет подряд заниматься одной и той же историей. К тому же, возможно, нет у меня того особого дара. Знаете, есть в голосе врожденного рассказчика что-то особенное. Я сам однажды был тому свидетелем, в Марокко. Там часто на базарной площади кто-нибудь забирается на ящик и начинает рассказывать разные истории, и настоящий ли это рассказчик, выясняется очень скоро, потому что люди останавливаются, чтобы его слушать. Сам голос заставляет людей слушать. Ему это дано, у него есть дар, дар рассказчика, а у большинства людей этого дара нет, и они потчуют вас, так сказать, полуфабрикатами. Можно научиться подражать, подделываться под настоящего рассказчика, но все равно это будет не то. Вот я, к примеру, люблю экспериментировать в драматическом жанре, но не сказал бы, чтобы я был превосходным драматургом, я не Чехов, до Чехова мне далеко... Быть драматургом — это тоже совершенно особый дар. Я когда пишу, работаю со словами, а драматург, по сути дела, работает с ситуациями. И главное тут — не как сказать, а как показать. Это же совсем разные вещи. Бывает, что драматург одновременно оказывается и прекрасным писателем, превосходно владеет словом — ну, скажем, Шекспир. Такое тоже случается. Но в общем-то, главное для дра-

матурга — это сценическая конструкция, сцепление сценических эпизодов. Мольер, на мой взгляд, ничего не представляет собой как поэт, текст как таковой довольно средний, но все это взаимодействие характеров — потрясающий, колоссальный механизм. Тут ему равных нет. И разве этого мало? Нельзя же уметь все. Никто не в состоянии уметь все. Хорошо уже, если у тебя, помимо чего-то одного, еще довольно сносно получается и что-то другое. Этого вполне достаточно.

Н. В. Экспериментируя в разных жанрах, вы опробовали для себя разные художественные рецепты?

Х. М. Э. В какой-то степени — да. И всякий раз — это новая перспектива. Вот, скажем, так называемый роман для юношества "Где ты был, Роберт?" — это совсем особый взгляд на вещи. Мне интересно было посмотреть на все не своими глазами, а глазами этого самого Роберта, двенадцатилетнего подростка: в какие ситуации он попадает, как реагирует. Или повесть "Йозефина и я" — здесь уже иная перспектива, иная тема, которая занимает каждого, кто имеет какое-то отношение к искусству. У людей искусства нередко наблюдается то, что французы называют déformation professionelle, *профессиональной деформацией*, то есть склонность к нарциссизму, болезненное самолюбие, мания величия. У каждого художника свои заскоки. Меня особенно интересовал такой момент: великий поэт, композитор, художник — и одновременно отвратительный человек. Ведь это неправда, что люди искусства — выше и лучше других по своим человеческим качествам. Вовсе нет, они далеко не лучше других — по крайней мере с моральной точки зрения. Были же и Гамсуны, и всевозможные "попутчики", были и продажные, примеров сколько угодно. Но в то же время, если Гамсун и был за Гитлера, это еще не значит, что он плохой писатель.

Н. В. Жизнь и творчество — разные сферы?

Х. М. Э. Да, все не так просто. У нас тоже не все так уж симпатичны... Я, например, упорно уклонялся от личного знакомства с Бертольтом Брехтом. Я не хотел встречаться с ним лично, хотя такая возможность у меня была. Я предпочитал восхищаться им издали, поскольку знал, что он бесцеремонный эксплуататор, к тому же приспособленец, с близкими ему людьми ведет себя далеко не безупречно. Об этих неблаговидных чертах его характера я знал. Зачем же идти к нему лично, лучше его стихами восхищаться.

Н. В. О Гёте современники тоже отзывались нелестно...

Х. М. Э. Безусловно. Поэтому оба они в некотором смысле подразумеваются в моей повести "Йозефина и я". Это комедия или скорее трагикомедия, поскольку кончается-то все плохо. Вот видите, и повесть сумел написать.

Н. В. Можно сказать, что Йозефина — в какой-то степени и автопортрет, ведь в монологах главной героини узнаются реплики из других ваших текстов?

Х. М. Э. Автопортрет сатирический, ироничный, если хотите, — попытка взглянуть на какие-то вещи со стороны. Знаете, самопознание имеет свои границы. Человеку трудно самому сказать, какой он, это скорее дело других. Но почему бы все-таки не попытаться создать для себя некий образ, может быть, даже довести отдельные черты до карикатуры, и тогда гораздо яснее становится, чего тебе следовало бы избегать. Нет, мания величия мне определенно не грозит... "Йозефина" — далеко не самая важная из моих вещей, но мне было весело ее писать. Знаете, я вообще люблю позабавиться... Кстати, я хочу вам кое-что показать... Это новый каталог выставки моих "игральных словесных объектов".

Н. В. Эти экспонаты я знаю, они ведь уже демонстрировались на выставках. Хотелось бы, чтобы и русский читатель о них узнал. Там были удивительные вещи: например, старый, послевоенных времен радиоприемник, где на шкале частот обозначены разные города. И если настроиться на частоту какого-нибудь города, то услышишь стихотворение поэта этой страны — с помехами, треском, но в оригинальном авторском исполнении. На частоте Лондона, к примеру, читает свое стихотворение Уистен Хью Оден, на частоте Вены — Эрнст Яндль, на частоте Парижа — Гийом Аполлинер, а на частоте Ленинграда — Осип Мандельштам. Или другой экспонат: вроде бы обычный домофон с двенадцатью кнопками, а когда нажимаешь одну из кнопок, слышишь голос, возвещающий: "Прогресс", и всякий раз по-разному — то восторженно, то угрожающе, то хрипло, то утешающе, а один раз даже по-японски. А еще там была "Пила Бакунина". Почему — пила и почему — Бакунина? Расскажите, как родилась эта идея.

Х. М. Э. Я вам сейчас покажу оригинал. Видите, прямо по зубцам пилы — цитата из Бакунина: "Страсть разрушения есть

вместе с тем и творящая страсть", а на полотнище — другая: "Доверимся же вечному духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть непостижимый и неиссякаемый источник всякой жизни"[1], а рядом крупными буквами: РАХ, МИР... Бакунин меня всегда интересовал. Между прочим, я сам это изготовил.

Н. В. Чем вас привлекала фигура Бакунина? Ведь Бакунин даже считается вашим "персональным святым".

Х. М. Э. Для каждого человека в определенном возрасте есть в подобных идеях нечто невероятно привлекательное — *к черту ваши авторитеты, к черту всякую власть, мы хотим быть свободными людьми.* Любой здоровый пятнадцатилетний подросток должен через это пройти, это нормально. Есть тут, разумеется, доля инфантилизма. Но надо сказать, что о марксизме Бакунин писал весьма проницательно, он очень рано увидел, куда заводит централизация. Он очень многое понял, он был совсем не глупым человеком, но только так и остался навечно ребенком. Я даже посвятил ему одно стихотворение...

Н. В. Вы имеете в виду балладу из сборника "Мавзолей", в которой чередуются два рефрена: "Вернись, Бакунин " и "Оставайся, Бакунин, там, где ты есть"?

Х. М. Э. Да-да, именно ее. Трудно объяснить, но для меня это в каком-то смысле истинно русский характер... Очень люблю их, русских интеллигентов девятнадцатого столетия... Герцена, например. Замечательная личность. Я написал пьесу по его книге, переводил и издавал его произведения. Герцен, Бакунин, Огарев — их идеи я хорошо знаю, много этим занимался, потому что меня это очень интересовало, как своего рода противоядие против большевизма, как противовес доктринерскому подходу к марксизму.

Н. В. Но ведь и идеи Бакунина не могут служить почвой для новых утопий?

Х. М. Э. Конечно нет, они тоже оказались непригодны, точно так же абсолютно непригодны. Их ведь однажды пыта-

1. Цитаты из статьи Бакунина "Реакция в Германии", написанной на немецком языке и опубликованной в немецком журнале "Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst" в 1842 г.

лись претворить в жизнь, вспомните испанские события 1936 года. Но кончилось-то все очень плохо, опять ничего путного из этого не вышло.

Н. В. Гражданской войне в Испании 1936 года вы тоже посвятили целую книгу — "Короткое лето анархии. Жизнь и смерть Буэнавентуры Дуррути". В ней вы используете и русские источники: материалы из книги Эренбурга "Люди, годы, жизнь", репортажи Михаила Кольцова. Обсуждали ли вы эту тему, когда были в России, родилась ли идея этой книги именно там?

Х. М. Э. Тут не столько личные контакты сыграли роль. Я многое знал о людях, которые участвовали в испанских событиях, — о Кольцове, например. Историей гражданской войны в Испании я занимался очень долго, прочел о ней целую библиотеку.

Н. В. Вас интересовала роль анархистских идей в этих событиях?

Х. М. Э. Анархизм — только один аспект. Интерес к Испании возник у меня еще в пятидесятые годы. Я бывал в этой стране еще во времена Франко. Меня интересовало скорее "сравнительное диктатуроведение". Ведь все эти диктатуры не были на одно лицо. Я и в Португалии бывал, еще при Салазаре. А в гражданской войне в Испании и немцы принимали участие, это тоже мне было интересно.

Н. В. Занимаясь историей других стран — Испании, Кубы, — вы ставили перед собой цель разобраться в проблемах Германии?

Х. М. Э. Как раз наоборот — я рвался прочь из Германии. Думаю, лет восемь я вообще жил вне Германии. Я вовсе не отказываюсь быть немцем, но не хочу делать это своей профессией. Это не годится как профессия, мир ведь несколько шире и не сводится к одной Германии. Я хочу знать и видеть все.

Н. В. Вы так много занимались переводом — из желания вобрать в себя весь мир?

Х. М. Э. Вбирать все чужое и одновременно раздавать свое — так ведь гораздо интереснее. Кроме того, я сторонник

экзогамии: не обязательно брать невесту только из своей деревни. Из другой деревни гораздо интереснее, разве не так? Хотя русская тоска по родине — это, конечно, чувство совершенно особого свойства. Русские в изгнании, они ведь как собаки — вечно изнывают от тоски по родине. Это же правда. Так у вас заведено. Это какой-то миф, что ли, не знаю как назвать, — такое особое чувство. Русским за границей все время чего-то недостает, особенно тем, кто, как это было раньше, не мог вернуться, а когда возвращались, то и с жизнью прощались...

Н. В. Но занимаясь историей других стран, вы все-таки думали о современном немецком читателе? В вашей ранней пьесе "Допрос в Гаване", посвященной событиям американского вторжения на Кубу 1961 года, вы пишете, что, реконструируя удаленные во времени и пространстве исторические события, вы хотели соотнести их с реальным миром зрителя.

Х. М. Э. Я не пишу́ для какой-то определенной группы людей, не занимаюсь предварительно изучением рынка, но, работая над вещью, мою виртуальную читательскую аудиторию все-таки себе представляю. Ее сложно описать, определить, и это не обязательно должны быть немцы. Тут все дело в особой восприимчивости отдельных читательских групп. Есть страны, в которых взаимопонимание устанавливается мгновенно. Итальянцы, к примеру, тут же переводят почти все, что я пишу. Можно сказать, что итальянцы меня усыновили. Они выпустили двадцать или тридцать различных изданий моих книг. И у испанцев вышло примерно столько же. А в других странах резонанс меньше. В России, к примеру, резонансная дека почти равна нулю. У американцев тоже. И это характерно для империй. У империй нет потребности во внешнем мире, они живут иллюзией самодостаточности: они же мировые державы. Такое мировосприятие очень свойственно американцам, поэтому они так мало переводят. О русских, конечно, этого не скажешь, в России очень хорошие переводчики. Но заняты и русские, и американцы — это совершенно очевидно — в первую очередь собой, у тех и других уйма своих, внутренних дел и проблем. В университетах, разумеется, есть прекрасные специалисты по иностранным языкам и культурам. Пожалуйста, и финский преподают — все, что только захотите. Это все есть и в Америке. Но чтобы человек с улицы знал ваше имя или чтобы в книжной лавке за углом продавалась ваша книга — нет, такого вы там не встретите, и ничего

в этом странного нет. Разве можно требовать, чтобы все вдруг стали тобой интересоваться, с какой стати?

Н. В. А что характеризует вашего читателя?

Х. М. Э. Нельзя сказать, что такой читатель уже существует. Это в определенном смысле читатель виртуальный, который возникает и формируется на основе конкретного предложения. Ведь считается — это общепринятое среди издателей мнение, — что стихи продаются плохо, что на стихах много не заработаешь. Возможно, что так, но если в поэзии вдруг случается событие, если вдруг появляется интересный поэт... Вот, у нас, к примеру, есть молодой автор, ну не совсем молодой, но из тех, кто помоложе, Дурс Грюнбайн, — очень высокое качество стиха, по-настоящему талантливый поэт. Не успела выйти в свет его первая книга, как тут же следом за ней появилось ее второе, а затем и третье издание. Из чего следует, что изначально невозможно было сказать, существует ли такой особый читатель — любитель Грюнбайна, но на основе конкретного предложения сложился определенный читательский круг. И это просто замечательно, что все решает не успешная рекламная кампания, а исключительно "устная пропаганда", от одного читателя к другому... Доля везения тут тоже, наверно, присутствует — момент должен быть благоприятным, много разных факторов должно совпасть. Однако сколько раз приходилось убеждаться, что хотя и случаются в лирике засушливые периоды, когда ничего особенного в ней не происходит и люди разбредаются кто куда, но стоит появиться на горизонте яркой, одаренной фигуре — как было, например, с Ингеборг Бахман, я это очень хорошо помню, — как тут же образуется определенный круг почитателей.

Н. В. Но вы все-таки чувствуете необходимость вступаться за лирику? Я имею в виду вашу книгу, провокационно озаглавленную "Лирика действует на нервы! (Оказание первой помощи пострадавшим читателям)". Вы полагаете, что поэзия сегодня перестала быть интересной широкому читателю?

Х. М. Э. Эта книга обращена к школьникам. Их в школе мучают, терзают всякими разборами текстов. Во-первых, не дают читать то, что их интересует, а только то, что нужно по программе. А во-вторых, еще и сочинения заставляют писать о том, чего они совершенно не понимают. Но если текст не трогает ученика, не вызывает у него никаких эмоций и мыс-

лей, что ему тогда писать? Ведь сначала надо ученика увлечь. Надо уметь увлекать людей. И с математикой точно такая же проблема.

Н. В. Вашей книгой о математике "Бес цифр" даже пользуются на уроках в школе...

Х. М. Э. Это мой единственный бестселлер. Продан уже миллион экземпляров, или около того. Тоже результат исключительно устной пропаганды. Никакой особой рекламы не было. Книга переведена на тридцать языков, если не ошибаюсь...

Н. В. А почему книгу о лирике вы выпустили под псевдонимом?

Х. М. Э. Как вам сказать, я же не учитель. А кроме того — так веселее, можно спрятаться под маской, полицедействовать.

Н. В. Вам нравится скрываться под маской?

Х. М. Э. Мне нравится играть.

Н. В. А перевод это тоже игра и маскировка? Чтобы уйти от исполнения роли немца?

Х. М. Э. Да, безусловно, чтобы выйти из этой роли и потом опять в нее войти.

Н. В. А те исторические фигуры, к которым вы обращаетесь в ваших произведениях: Дидро, Гёте, Брентано — тоже роли?

Х. М. Э. Это как раз тот самый случай с перчаткой. Если вы читаете обычные литературоведческие работы, у вас еще не возникает представления о том, как все было на самом деле. Но когда вы держите перед глазами подлинные письма, когда у вас в руках оказывается рукописный оригинал, листок, который, может быть, лет сто уже никто не читал, и вы строчку за строчкой разбираете текст и под конец письма вдруг замечаете, как все торопливее и небрежнее становится почерк... Отчего? А оттого, что пишет человек вечером — "почта уходит в девять", сказано в письме. Значит, ему надо быстро дописать письмо, они же тогда не общались друг с другом по телефону,

как сегодня; сегодня он бы просто позвонил своей возлюбленной. И в этот момент вы вдруг начинаете ощущать ту обстановку, то, как он сидит при свете свечи и пишет. И почтовые сборы тоже были в то время весьма высокие, но писание писем было для людей страстью. Писали они второпях, времени всегда не хватало, но писали непрерывно, огромное количество писем, невыразимо прекрасные письма писали. И вот, разбирая все эти каракули, все эти помарки и вычеркивания, вы вдруг начинаете представлять себе этого человека, как он сидит в трактире, почтовая карета вот-вот должна отойти, на столе коптилка, свет такой тусклый — и тогда вы действительно можете понять, как все было.

Н. В. Именно поэтому нужно извлекать из архивов документальный материал и возвращать его к жизни в новом тексте?

Х. М. Э. Думаю, да. Иначе вам не продвинуться дальше общих тезисов, не выйти за рамки статьи для энциклопедии. К тому же мне нравится комбинировать, монтировать документальный материал. Это как монтаж киноленты. Мы, вообще-то, должны радоваться, что и скучные книги тоже пишут и издают, многотомные собрания неопубликованного наследия со сносками, примечаниями, с огромным аппаратом. Это все, разумеется, очень трудно читать, но здорово, что это есть в нашем распоряжении, иначе мне всякий раз нужно было бы обращаться в отдел рукописей. В мире литературы не обойтись без педантов.

Н. В. Чтобы у другого была возможность играть с материалом?

Х. М. Э. Да, но я бы сказал, что в писательском сообществе должны быть и свои аферисты, свои мошенники, свои ветрогоны. В русской литературе мне сейчас никто в качестве примера в голову не приходит. А здесь у нас есть один весьма одаренный автор, его зовут Рауль Шротт[1]. Он, например, издал новое переложение "Илиады" Гомера. Кроме того, еще и "Эпос о Гильгамеше" перевел. Мы с ним знакомы: не думаю, чтобы он вообще знал месопотамские языки. Тогда возникает вопрос: как, с какого языка он переводил. Любой критик, любой ученый-академик, разумеется, скажет: "Да это же наду-

1. Рауль Шротт (р. 1964) — австрийский писатель и литературовед.

вательство чистой воды". Или еще пример — Рауль Шротт перевел стихи с валлийского. Валлийский — безумно трудный язык. Другому бы, наверно, лет пятнадцать потребовалось, только чтобы эти тексты понять, а он взял и перевел. И получились по большей части очень даже неплохие стихи. Как назвать подобный тип литератора — шарлатан, аферист? Все же я думаю, что в огромном аквариуме литературы должны плавать и разные причудливые рыбки. Рауль Шротт подготовил еще и сценическую версию "Гильгамеша". Это ведь прекрасная легенда, древнейший миф, очень важная вещь в истории литературы; но большинство людей никогда бы про нее не узнали, если бы Раулю Шротту не пришла в голову идея поставить "Гильгамеша" в театре. Дерзкая, разумеется, выходка, но он ведь не единственный в этом роде, всегда были такие люди. В восемнадцатом веке были чрезвычайно популярны "поэмы Оссиана", оказавшиеся литературной подделкой одного шотландского поэта[1], — тоже, если хотите, мошенник, аферист, шарлатан, но какое плодотворное влияние оказали его сочинения на литературу, как это занимало и волновало людей. Подумайте, какой успех до сих пор имеют ирландские, кельтские саги, тривиальным романам о кельтах просто несть числа. Откуда такой интерес к этой теме? Оттого, что кто-то однажды позволил себе мошенническую выходку? А пристрастие к сагам в фэнтэзи, все эти переложения легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, — это же все украденные сюжеты. Для людей сверхморальных литература — не самая подходящая сфера деятельности, Брехт тоже занимался плагиатом, он был гениальным плагиатором. Ведь как создавалась "Трехгрошовая опера", другие пьесы Брехта? Теперь-то об этом уже многое известно. Все эти женщины влюблялись в него, потом — постель, потом — должны были для него писать. Ну это еще куда ни шло, но самому получать немалые гонорары, а им — ни гроша... Нет, это уже слишком. Если мы, писатели, и приворовываем порой, то не карманные же мы воришки, в конце концов.

Н. В. А может ли вообще писатель обойтись без так называемого воровства?

Х. М. Э. За пару тысячелетий до нас что-то уже было сделано, нам остается только продолжать. Оригинальность в писательстве — вообще понятие относительное.

1. Джеймс Макферсон (1736–1796) издавал под именем Оссиана собственные сочинения, представлявшие собой вольную обработку кельтского эпоса.

Н. В. Какая эпоха в литературе вам ближе всего? Есть у вас, как у Бродского, свои единомышленники в других столетиях?

Х. М. Э. Есть эпохи, в которых я ориентируюсь лучше, есть такие, где хуже. Восемнадцатый век — мои пенаты, а один из моих личных богов-покровителей — Дидро. Он мне близок по темпераменту. Дидро был непревзойденным мастером диалога — диалога и в устной форме, и письменного. Воображаемые беседы с моими героями в книге о Хаммерштайне были бы без Дидро невозможны, сама тональность беседы — тоже от него.

Н. В. А кто еще такой же близкий вам по духу собеседник? Гёте?

Х. М. Э. Знаете, наставников и учителей у человека обычно бывает много. С Дидро у меня особые, личные отношения. Я его легко могу представить сидящим вот здесь, в моей комнате, и у меня такое чувство, что мы бы очень быстро нашли общий язык. Другие же — это скорее люди, которых ты уважаешь, как, к примеру, Брехта, которыми ты восхищаешься, но не хотел бы оказаться с ними за одним столом. Разные бывают с учителями отношения. Ну а кто еще, не знаю... Рильке, к примеру, Катулл, Овидий — если по линии нисходящей, в глубь веков. Все зависит от того, сколькому ты можешь у учителя научиться или сколько украсть... Очень вредно прислушиваться только к одному наставнику. Это абсолютно неправильно. Нужно иметь много учителей.

Н. В. А Брентано для вас тоже такой учитель, ведь вы о нем написали диссертацию и посвятили ему книгу?

Х. М. Э. Как мастер художественного слова — безусловно: он великолепно владел поэтической техникой, не так уж и просты его стихи, как может показаться на первый взгляд, в них столько загадочного, многозначного. Ну а кроме того, учишься, разумеется, у тех, кем особенно много занимаешься, кого переводишь. Для меня, к примеру, это испанцы... Лорка, Кальдерон...

Н. В. А с каких языков вы переводите?

Х. М. Э. Только с языков наших соседей, правда, даже польского не знаю как следует, а вообще: со скандинавских

языков — шведского, норвежского и датского; ну, конечно, с английского; потом — с французского, испанского, итальянского. Что еще?.. Латынь моя плоха, греческий — почти все уже забыл... Да, немного знаю португальский. Но все это — языки из ближайшего окружения, ни одного по-настоящему экзотического; венгерский — вот это, я бы сказал, по-настоящему чужой язык, а все остальные — близкие родственники.

Н. В. Какой вид творчества в большей степени соответствует вашему темпераменту? Вы считаете себя в первую очередь поэтом?

Х. М. Э. Быть поэтом — это не профессия в обычном смысле слова. Вы ведь не можете сказать себе: завтра утром ровно в девять я сяду за стол и буду сочинять стихи — ну, скажем, до пяти вечера. Это же все совсем не так происходит, если только занятие это не превратилось для вас в рутину. Есть такие специалисты: выбрали для себя то, что у них лучше всего получается, и вот тиражируют это, а в результате наступает перепроизводство, влекущее за собой пагубные последствия. Нет-нет, стихи не получаются просто так — по заказу. Эссе, думаю, я мог бы написать в любой момент. Но чтобы подготовить книгу стихов, мне требуется три-четыре года. Есть романисты, которые пишут по роману в год. Для меня это нереально. За такой срок даже материала на книгу не наберется. Всякий раз ведь должно быть что-то новое, а одно и то же по второму кругу — уж нет, увольте.

Н. В. Расскажите, пожалуйста, о вашей книге стихов "История облаков", она пока не известна в России. Название настраивает на идиллические пейзажи, а на обложке — загадочный черный диск, похожий на грампластинку с дорожками для звукозаписи. Сходный диск нанесен и на внешнюю, прозрачную обложку книги, и, если передвигать ее относительно твердой, от наложения кругов возникают различные узоры... Этот диск — некий символ, или же скорее — игра, провокация?

Х. М. Э. Это работа художника Людвига Вильдинга, называется она "Интерференция структуры круга". Речь в ней идет об особенностях зрительного восприятия, физиологии зрения, об оптических обманах — в сборнике есть стихотворения на эту тему. Во всяком случае, эти вопросы очень меня интересуют. Кроме того, я не люблю скучных обложек. Я всегда сам занимаюсь оформлением моих книг, решаю, каким бу-

дет шрифт, как должны выглядеть страница, форзац, обложка. Я все продумываю, как настоящий типограф, и это мне очень нравится. Иметь такое право — разумеется, особая привилегия, но в моем издательстве я всегда могу сказать: мне хотелось бы, чтобы книга выглядела так-то и так-то.

Н. В. А как "Интерференция структуры круга" связана с историей облаков?

Х. М. Э. Не напрямую. Дело в том, что наше зрительное восприятие очень многопланово. Объективного восприятия не бывает. Возьмите два предмета красного цвета, на расстоянии они покажутся вам почти одинаковыми по цвету, а если вы их поставите рядом, то сразу убедитесь, что это два совсем разных оттенка красного. Вот эти неожиданные открытия меня и занимали. Это такая забавная игра — не больше.

Н. В. И все же есть в этой обложке, наверно, и отсылка к точным наукам, к математике?

Х. М. Э. Да, разумеется, тут много различных аспектов. Не так уж важно, чтобы обнаруживался какой-то символический смысл, важно, чтобы угадывалась многозначность, точно так же как в словах: ведь они означают не что-то одно, а имеют много разных значений...

Н. В. И проявляют это в соседстве с другими словами?

Х. М. Э. Вот именно, это и есть интерференция. И естественные науки тут важны, и физиология, и семантика, если вам угодно. В том и состоит игра — дать читателю самому выбрать, что ему интересно, не надо все ему до конца разъяснять... Я хочу предоставить читателю необходимые компоненты целого, а думать он должен сам. В моей книге о Курте Хаммерштайне вы не найдете однозначной и окончательной оценки этой фигуры, но зато все главные элементы, которые позволят вам воссоздать для себя его образ, там есть. Остальное зависит от вас. Если вы, к примеру, нацист, то сделаете для себя иные выводы, чем если бы вы были либералом или коммунистом; мужчина или женщина тоже будут судить о нем по-разному. Эхо для каждого будет свое собственное.

Н. В. А через десять лет, возможно, совсем другое...

Х. М. Э. Совершенно верно.

Н. В. Связана ли для вас практика писания-чтения с идеей анархизма, которым вы столько занимались?

Х. М. Э. Чтение — в том смысле занятие анархическое, что никто не в состоянии проконтролировать, что произойдет в голове читателя, когда он откроет, например, вот эту книгу. Этого не может знать ни цензор, ни автор, ни критик, и никто не может это проконтролировать. Такое часто случается, особенно с детскими книгами. Вот, например, известная у нас детская классика "Штрувельпетер"[1]. Книга, казалось бы, написана для того, чтобы научить детей слушаться взрослых и вести себя хорошо. Но на самом деле в головах детей, читающих эту книгу, происходит нечто совсем противоположное. В "Истории о летающем Роберте" мама, например, говорит Роберту: "Не ходи на улицу, сегодня очень ветрено — ты улетишь!" Ну и что же делает этот самый Роберт? Он, разумеется, бежит на улицу, ведь ему-то как раз и хочется — улететь. Это великолепно уловлено. Или в другой истории, где "егоза Филипп", падая со стула, стягивает за край скатерти со стола все тарелки, кастрюлю с супом и все остальное. Так это же заветная мечта каждого ребенка! В книге постоянно ощущается колоссальная амбивалентность. Думаю, однако, что доктор Гофман, сочинивший эти истории, и сам понимал, что книга его очень по-разному может воздействовать на ребенка, поскольку и душевным порывам, тайным влечениям в ней тоже есть место. И это здорово. Потому она и замечательная книга, что в ней есть и та и другая сторона. Помните историю о малоежке, в которой здоровый, упитанный ребенок вдруг ни с того ни с сего отказывается есть суп: "Не буду я есть суп, и все!" Нет такого ребенка, от которого вы хоть раз в жизни не услышали бы этой фразы: "Не буду я есть суп, и все!" — "Тогда сладкого не получишь!" — "Ну и не надо!" Подобные диалоги знакомы всем, у кого есть дети. Вот где начинается анархизм чтения. Вы никогда не можете знать заранее, на какие поступки подвигнет людей ваша книга. Возможно, люди вычитают в ней для себя такое, что вам будет вовсе не по душе. Никто от этого не застрахован. Я сам с этим столкнулся, когда появилась моя книга о Буэнавентуре Дуррути. Хотя в ней и сказано, что "одну и ту же революцию нельзя сделать дважды..." и "таких людей, как те, что описаны в романе, нигде в мире больше не встретишь", но я уверен,

1. Книга для детей, написанная франкфуртским врачом Генрихом Гофманом. Впервые была опубликована по-немецки в 1845 г. В русском переводе вышла в 1901 г. под названием "Степка-растрепка".

что наверняка нашлись подростки, которые подумали: "Вот здорово, я тоже хочу быть таким, как Дуррути". Этого я не могу предотвратить, вот в чем дело. Или жуткий Достоевский, со всеми его страшными "подпольными" идеями...

Н. В. Или Гёте, который своим "Вертером" стольких толкнул на самоубийство?

Х. М. Э. Да, не входило же это в его намерения, и влиять на ситуацию он тоже не мог. С этим приходится мириться.

Н. В. Вы столько путешествовали, бывали в разных странах, восемь лет жили за пределами Германии, но все-таки опять вернулись...

Х. М. Э. Знаете, писатель в конечном счете не может обойтись без своего языка. Я могу, конечно, написать коротенькое эссе по-английски, но я не хочу писать по-английски, просто не хочу.

Н. В. Значит, дело в языке?

Х. М. Э. В языке, ну и, разумеется, в том, что Германия сегодня менее заражена и отравлена, чем это было тогда, после войны. Все отношения в обществе были тогда пропитаны ядом, что весьма неприятно сказывалось на общей обстановке. Представьте, всякий раз перед тем, как пойти к врачу, ты начинал думать: а чем этот врач занимался во время войны? Не очень-то, согласитесь, приятная ситуация.

Н. В. А сегодня приятнее?

Х. М. Э. Да, всё намного проще. Проблем у нас масса, но это ведь проблемы общие. Я с Германией вполне примирился. Я знаю, что и у других тоже не лучше. У всех свои ошибки, свои темные места в истории, свои скелеты в шкафу. И я думаю – трудно, конечно, утверждать это с абсолютной уверенностью, но мне кажется, что до немцев наконец что-то дошло. После Первой мировой войны этого о них нельзя было сказать, тогда они еще ничего не уразумели по-настоящему. Но во второй раз, после Второй мировой войны, они наконец осознали, что мечты о мировом господстве ни к чему хорошему не приводят. Вместо того чтобы въезжать куда-то на танках, гораздо лучше приехать на "мерседесе" или прилететь на "Люфтганзе". Это намного разумнее и не так по-хамски. Кое-что до них все-таки

дошло. Знаете, людские сообщества учатся с большим трудом и очень неохотно. Сколько на это времени уходит, сколько раз приходится повторять одно и тоже... Но ведь немецкого милитаризма нет больше и в помине. И бундесвер не рвется в Афганистан, никто туда не хочет идти. Ведь как было раньше — полковник, отправляясь на танцы, надевал мундир. А сегодня — появись он в форме, кому он будет нужен, с ним и танцевать никто не захочет. Прошли те времена.

Н. В. А не может ли все опять вернуться к старому? "Восьмидневная" война в Грузии показала, что рецидивы милитаризма все-таки не исключены. Во время этого конфликта телеведущий одного государственного канала всерьез расспрашивал отставного генерала, в силах ли Германия, Запад в случае необходимости выиграть войну против России?

Х. М. Э. Кто мог такое сказать? Просто кретин, полный кретин. Семьдесят процентов немцев против интервенции в Афганистан. Это же как раз тот самый урок, который немцы наконец усвоили — и не потому, что им это внушили, а потому, что не хотят его повторения. На второй раз до них наконец-то дошло, что нападать на других нехорошо, что так себя не ведут. Не знаю, осознают ли русские в достаточной мере всю нелепость такого, к примеру, хода мысли: я-то сам по себе ничто, но вот Россия — она великая, ах, великая наша держава. Какому русскому будет от этого сытнее и лучше? Что-то от этих великодержавных амбиций все-таки еще живо. Великая держава, мировая держава — к чему вся эта дребедень? Сильная централизованная власть, огромная империя — обычному-то человеку от этого никакой пользы, одни сложности и неприятности. Разумеется, мысль о потере Украины для русского сознания непереносима. Русь начиналась с Киева, это все — "наши". Ведь как раньше говорили в России: чехи — "наши", восточные немцы — "наши". Чувство гордости за свою великую страну — это же настоящая мифология. Она дает точку опоры, душевное равновесие, в этом ее привлекательность для простого человека. Другой выгоды ему нет. В своем воображении он видит себя частью чего-то великого и могущественного, и это его утешает. Иначе я этого не могу себе объяснить. И немцы, разумеется, тоже были захвачены этим чувством — когда, например, они входили в Париж. Какой-нибудь деревенский дурень, затюканный, абсолютно бесправный, которому только и позволено было, что стоять навытяжку перед начальством, но и его переполняла гордость: мы — самые сильные, мы — победители. Ди-

кость, конечно, ведь ему-то от этого пользы мало, его-то пустят в расход, пошлют в Россию, в окопах будет сидеть и подохнет потом в какой-нибудь канаве, где-нибудь под Сталинградом или в лагере для военнопленных... Ему-то от всего этого могущества какой прок?

Н. В. А почему Россию настойчиво стараются принизить в общественном сознании?

Х. М. Э. Ее не принижают, скорее опасаются — в той мере, в какой в ней дают о себе знать такого рода устремления к великодержавности.

Н. В. А Америка разве не стремится к тому же?

Х. М. Э. Да, это болезнь и американцев — та же самая, симметричная болезнь. Америке тоже обязательно надо быть самой могущественной. Ну и что от этого имеют американцы? Да ничего, кроме всего этого дерьма с Ираком. Ну, теперь они, по крайней мере, хоть переизбрали своего господина. Думаю, та ненависть к американцам, которая выплескивается в разных частях света, — это все плата за их агрессивность, наказание за их империализм. Кто-кто, а мы — настоящие эксперты в этих вопросах. Немцы ведь были хуже всех. Ну а потом пришла расплата: как все нас ругали, как ненавидели! И только теперь, лет сорок-пятьдесят спустя, несколько смилостивились над нами, разрешили — ну ладно, бог с ними, с этими немцами, полюбить-то мы их не полюбим, но пусть живут, если, конечно, хорошо себя вести будут... Обычному человеку в Германии сложно понять такое отношение, поскольку сам он ни в чем не виноват.

Н. В. Поэтому вы и не хотите быть "немцем по профессии"?

Х. М. Э. Да, поэтому я говорю, что хотя я и немец, — мне никогда не придет в голову это отрицать или утверждать, что я не имею к немцам никакого отношения, — но простите, разве *это* меня характеризует? Я, к примеру, вырос в католической семье, родом я из Южной Германии, потом я мужчина — тоже ведь дефиниция, ну и всякие другие вещи. Мне, например, столько-то лет. Вот что меня характеризует на самом деле.

Н. В. А какую из ваших книг вы хотели бы видеть переведенной на русский язык?

Х. М. Э. Из поэзии, возможно, самое важное — "Гибель 'Титаника'".

Н. В. Эта книга лучше всего вас характеризует?

Х. М. Э. Она, похоже, неплохо получилась, совсем неплохо. С тех пор прошло уже достаточно много времени, поэтому, думаю, я могу так о ней судить. Знаете, нельзя сказать, чтобы я был в восторге от всего, что когда-то написал. Какие-то вещи я ценю больше, какие-то — меньше, но эта вещь довольно успешно выдержала испытание временем. Но, может быть, для издателей в России это не так интересно.

Н. В. А последний сборник, "История облаков"? Там очень интересные стихи...

Х. М. Э. Из него можно выбрать отдельные стихотворения, не обязательно же сразу весь сборник переводить, но "Титаник" — это законченная книга. А скоро выходит новый сборник стихов "Ребус"[1].

Н. В. Задачки для разгадывания читателю?

Х. М. Э. Да, и задачки тоже.

1. "Ребус" вышел в издательстве "Зуркамп" в 2009 г.

Ханс Магнус Энценсбергер

Стихи из сборников "История облаков" и "Ребус"

Перевод с немецкого Н. Васильевой

Предварительные итоги

Сердечно благодарю вас за перерыв в трансляции,
за перерыв на обед, за неловкую паузу –
и попрошу не шуметь! – когда слово
вдруг комом застрянет в глотке творца.

Зыбкое затишье, покуда век наш
с неудержимым грохотом не ринулся дальше.
Неприметные секунды
Вечного!

После первого тайма,
между двумя войнами,
перед началом третьего акта,
сразу же за последним предупреждением –

благословенна будь
эта короткая передышка
между всем до сих пор бывшим
и будущим небытием.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2003, 2009
© Н. Васильева. Перевод, 2010

Есть на что жаловаться

О том, что все было гораздо хуже,
раньше, во всяком случае, здесь —
загнанные в собственную страну,
в собственный угольный подвал,
"Война как закалка характера"[1],
юность, урывками проживаемая по карточкам,
и мертвящее зловоние
изо рта какого-нибудь диктатора, —
об этом, похоже, никто больше и знать не хочет.

Гораздо проще плакаться,
что не дают к Рождеству прибавок к зарплате,
что нравы пришли в упадок и что из рук вон плохо
стали кормить
на чартерном рейсе в Момбасу.

Обреченный судьбою
жить хорошо,
всякий из нас опасается,
как бы не выболтать ненароком
эту гнуснейшую из всех тайн.

Воскресная проповедь астронома

Что же до всех наших тягот земных —
голод, убийства, насилье et cetera —
спорить не стану! Бардак да и только!
Однако позвольте
смиреннейше вам заметить,
что в общем и целом
вполне даже сносна для жизни планета,
на которую нас занесло.

Сущий розарий
в сравненье с Нептуном
(мороз минус двести двенадцать по Цельсию,
ветер до тысячи километров в час,

1. Эссе немецкого писателя Эрнста Юнгера (1895–1998), опубликованное в 1922 г. и возвеличивающее войну как необходимый опыт в становлении человеческого характера. (*Прим. перев.*)

и чертовски много метана
в слоях атмосферы).
Ну просто, чтобы вы знали, что где-то
куда как еще неуютней. Аминь.

Непоправимые упущения

Да, я отсутствовал без всякой на то причины.
В трудную минуту не примчался,
бросив все, на помощь.
А сколько ночей любви упущено,
и с таким позором в первом же матче вылететь,
плавать так и не научился как следует.

Да, я не счел своим долгом
до последнего патрона отстреливаться.
Пренебрег случаем
по-братски облобызать бездомного
и соседу предупредительно
цветочки его полить.

В голову не пришло исповедаться,
духу не хватило
переделывать мир.
Всегда не вовремя присоединялся и отмежевывался,
и таблетки три раза в день
вечно забывал принимать.

Да, я не воспользовался случаем
добить человека. Да,
я просто взял и не позвонил.
И пока что еще
не счел нужным умереть.
Если можете, простите меня.

А если нет — то как знаете.

Не перестаешь удивляться

Сорока крылья расправила на перилах балкона.
На улице на каждом углу что-то лопается, благоухает.
Разве можно войти в один и тот же лифт дважды?

А это рапсово поле,
плывущее за окном вагона-ресторана, —
ты словно никогда в жизни не видел
такого моря желтых цветов!
А это облачко вон там над Пантеоном
или дурманящий запах дегтя, черным
и жарким чадом взмывающий к небу, а снежинка,
задержавшаяся на руке женщины, —
это же что-то невиданное и небывалое.
И неужели все дело лишь
в умении забывать, которое заставляет тебя
верить в новизну твоих озарений,
твоих заблуждений, неисправимый новичок,
каким ты, пока в состоянии думать,
только и можешь быть?

М*не не хватает слов*

Честное слово, волшебное, пастырское —
Нейдут у меня с языка.
Скупыми словами твержу я вам,
право, не в них ведь дело.
Все мы, конечно, бьемся над нужным...
Но тс-с! Не надо крылатых, не надо громких,
и лучше — без лишних слов!
Кстати сказать, тишина эта мертвая
начинает меня беспокоить! Тщетно
рвусь уловить я прямое, доброе,
слово по сути или живой глагол.
Милые сестры и братья,
куда вы запропастились? По правде сказать,
меня из терпенья выводит это ваше безмолвие.
Милые братья и сестры, скажите,
то было ваше последнее слово?

П*ишущий автобиографию*

Он пишет о других,
когда пишет о себе.
Он пишет о себе,
когда пишет не о себе.
Когда он пишет, его здесь нет.
Когда он здесь, то он не пишет.

Он скрывается, чтобы писать.
Он пишет, чтобы скрыться.
И в том, что он пишет,
Он скрыт и полностью растворился.

В *жалобе отказать*

Но ты ведь и сам не хотел бы иначе,
Признайся же наконец! Все, от чего ты страдаешь,
нужно тебе как воздух: все эти забавы,
и злоба, и страх, и право замкнуться в себе,
деньги, жена и этот извечный стресс.
И разве мог бы ты поступиться
обособленностью своей,
в которую ускользаешь, зная
что никто тебя и не хватится.

Ну *сколько же можно?*

Она так ранима, бедняжка,
Один косой взгляд, резковатый отказ,
малейшая неприятность, меня
это не задевает нисколько, но она —
все принимает так близко к сердцу.

Чуть что, и опять разобиделась,
скисла, припадком мигрени пугает.
А то заупрямится вдруг,
задурит, глухою прикинется,
характер свой, видите ли, демонстрирует.

Честно сказать, все эти капризы
порядком мне надоели.
Но что же поделать,
раз суждено нам быть вместе —
покуда не разлучит нас смерть, —

мне и моей душе.

Проблемы

1. Проблемы бывают.
2. Проблемы бывают двух видов.
2.1. Проблемы бывают разрешимые
и неразрешимые.
2.1.1. Проблемы разрешимые бывают двух видов.
2.1.1.1. Проблемы бывают разрешимые,
разрешимость которых доказуема.
2.1.1.2. Проблемы бывают разрешимые,
разрешимость которых недоказуема.
2.1.2. Проблемы неразрешимые бывают двух видов.
2.1.2.1. Проблемы бывают неразрешимые,
неразрешимость которых недоказуема.
2.1.2.2. Проблемы бывают неразрешимые,
неразрешимость которых доказуема.
3. Именно эти проблемы и пытается испокон веков
разрешить человечество.

Всего лишь замена

Да разве же это он? — восклицают другие. —
Да никогда не поверим! Проделки всё это
чревовещателя, или же просто дублер,
выскочка наглый, подобие жалкое.

Да, верно подмечено. Нет среди нас
настоящих. Все мы по мере сил
лишь замещаем ушедших
или же тех, кто только придет после нас.

Да, мы стараемся, как бы хотелось
быть самими собою, но все ж
влезаем в чужие ботинки
и стаптываем в них ноги в кровь.

Вот и это стихотворение, разумеется, —
всего лишь замена того, настоящего,
которое все никак не напишется.

“Без Белинского все-таки не было бы Гоголя...”

Георги Борисов о литературном процессе и жизни в Болгарии. Беседовал Петр Ореховский.

Петр Ореховский. Одна из важнейших характеристик города или страны – литературный процесс. Поэтому первый мой вопрос к вам – что, на ваш взгляд, означает *литературный процесс*, что вы под этим понимаете?

Георги Борисов. Процесс – не литература в ее окончательном виде, а незавершенные произведения. Какая-то невидимая, неуловимая вещь...

П. О. Но что такое литературный процесс для вас – нечто высшее, *метафизическое*, или все же встроенное в структуру общества?

© Петр Ореховский. Запись беседы, 2010
Фотопортрет Г. Борисова предоставлен для публикации В. Поповым.

Г. Б. Я думаю, это нечто, встроенное в общество. Метафизика — это неожиданно явившийся гений. Скажем, таким гением был наш поэт Яворов. То, что трудно его переводить и болгарский — маленький язык, это отдельный вопрос, но поэт он гениальный. И вот Яворов засверкал совершенно неожиданно на небе болгарский поэзии почти сразу после нашего освобождения от турок. Или возникновение Христо Ботева — другого гениального поэта, погибшего в 27 лет... О каком литературном процессе до него могла идти речь в порабощенной Болгарии? Ни о каком. Была народная песня, *авторов* во время турецкого ига не было. До османского нашествия в Болгарии существовала богатая средневековая духовная литература, но потом — пустота. Только народная песня, фольклор; никаких таких литературных процессов. И вдруг возникает гений, откуда он берется? Может, это именно *метафизика*?

П. О. То есть литературный процесс — нечто, имеющее отношение к формированию души народа? В том смысле, в котором, в частности, определял это понятие О. Шпенглер?

Г. Б. Не всего народа, по-моему, а определенной его части.

П. О. Элиты?

Г. Б. Да, я думаю, что литературный процесс создается элитой, а не народом в целом.

П. О. Если говорить о душе народа — и Россия, и Болгария были литературоцентричными странами. Оба наших государства возникли вокруг каких-то мифов, идеалов, которые создавались в первую очередь литературой. Сейчас, как мне кажется, в России все это ушло, страна перестала быть литературоцентричной, и непонятно, что будет дальше. А как в Болгарии?

Г. Б. Мне кажется, в Болгарии сейчас литературного процесса нет. В социалистическое время он был, а сейчас — нет.

П. О. Тогда у вас была борьба, во главе Союза писателей стоял Богомил Райнов, который преследовал часть литераторов за несоответствие их творчества коммунистическим идеалам; во всяком случае, как он и болгарские коммунисты их понимали. Была линия размежевания, были свои предпо-

чтения. И процесс был не только литературным, эстетическим, но и политическим?

Г. Б. Именно. Поэтому я и считаю, что литературный процесс — социальный феномен, его нельзя назвать метафизическим явлением. Он отражает настроения в обществе в данный момент. Это все взаимосвязано, писатель пытается отразить то, что сейчас творится в его стране. Когда целая когорта писателей работает в одном направлении, значит, идет какой-то определенный литературный процесс. Но можно ли назвать *постмодернизм литературным процессом*?

П. О. Вы предупреждаете мой вопрос...

Г. Б. Что такое болгарский постмодернизм? Совершенно запоздалое явление, если вспомнить то, что произошло в начале прошлого века во Франции, скажем. Сейчас у нас преподносятся как последний писк моды произведения и эксперименты, которые родились век назад на Западе. Это считается очень оригинальным. А на самом деле это *недоизжитое детство.* Вся наша литература, да и, наверное, не только наша, но и балканская литература вообще, страдает комплексом неизжитого детства. Это такая детская болезнь... К сожалению, все наше развитие происходило ненормальным образом.

Постмодернизм, на мой взгляд, — это не литературный процесс. Он искусственно привнесен в Болгарию. Он неорганичен для нас по духу и поэтому распадается внутри себя; писателей-постмодернистов у нас мало, и их никто, кроме самих же постмодернистов и их переводчиков, не читает...

Я, например, полгода тому назад издал книгу Андрея Симеонова, врача-пульмонолога, описавшего одиссею одного своего пациента, который болел неизлечимым раком. Сам Андрей умер от болезни, которую лечил всю жизнь, — от рака легких, но перед смертью он отдал мне свою рукопись. Он не был профессиональным писателем, но первым за все эти последние двадцать лет вывел новый тип литературного героя. Нашел то, чего искали все болгарские литераторы, — нового героя. Все пытались писать по-новому, но думали по-старому. Описывали новую действительность, но описывали ее так, как и до падения Берлинской стены. Думали именно в русле старого литературного процесса.

П. О. А в Болгарии не было такого мощного андеграунда, как в России 70—80-х? Самиздата?

Г. Б. Нет, потому, наверное, что у нас было как-то посвободнее. Тодор Живков был очень хитрым человеком, слегка приоткрывал клапаны, выпускал пар, и, хотя нельзя было уехать на Запад и работать там легально, у некоторых из более крупных и благоустроенных наших писателей даже создавалось ощущение, что они свободны и могут высказываться против режима — правда, завуалированно, сугубо художественно, эзоповским языком — и могут перехитрить власть. Но чтобы, как в России, "писать в стол", это делали только Георгий Марков и Константин Павлов, два наших единственных литературных диссидента. Маркова, поскольку он позволял себе выступать по радио Би-би-си против коммунистического режима и едко критиковать Живкова и его клику, убили в Лондоне, уколов зонтиком, в котором была спрятана капсула с ядом рицина, изготовленным в лаборатории вашего КГБ. Таким образом он написал — с ботевской силой — свои "Заочные репортажи", которые стали одним из немногочисленных объективных документов той эпохи, потому что сейчас уже трудно восстановить те времена по официальной прессе и литературе. И другой — Константин Павлов, гениальный поэт, которого не только не печатали, но ему и не разрешали нигде работать. Когда он изредка переводил, чтобы заработать на водку и сигареты, то делал это под чужим именем. Кстати, у нас Павлов сделал лучшие и самые живые переводы с русского, например, "Гаврилиады" и "Маленьких трагедий" Пушкина.

П. О. Но постмодернизм — это общее течение, оно есть и в США, и в Германии, и во Франции... В России оно возникает в андеграунде, тот же Пригов начинает писать уже в 70-е годы прошлого века. Но у российских постмодернистов не было прямых идеологических конфликтов с советской властью, конфликты были в первую очередь эстетические. Это похоже на то, что случилось с Павловым?

Г. Б. Да. Павлов своим творчеством разрушил официальную эстетику.

П. О. В России в 90-е годы после краха коммунизма эстетика постмодернизма победила. Однако тут же обнаружилось, что, кроме этой новой эстетики, предложить-то и нечего, каких-то общих идей, которые бы имели значение для сколько-нибудь широких масс читателей, у этих писателей нет. А как у вас, в Болгарии?

Г. Б. Поскольку нам при социализме не разрешили развития, мы все так и остались недоразвитыми.

П. О. Что значит "не разрешили"?

Г. Б. Все делалось "сверху". Как в семье, скажем, тебе родители в детстве что-то запрещают. Например, есть сладкое. Потом родители умирают, ты остаешься один, и начинаешь делать во взрослой жизни то, что тебе запрещали в детстве. В этом смысле я и говорю, что сейчас у нас — свобода, и пришло недоизжитое детство. Это несерьезно и смешно.

П. О. Реализация собственных комплексов?

Г. Б. Да, именно. Для меня постмодернизм — это комплекс, и сейчас мы постепенно освобождаемся от него. К сожалению, этот комплекс виден во всей нашей литературе, во всем, что пишется — неинтересно и непонятно, даже антихудожественно и чисто декларативно, или же запутанно, сумбурно, без знаков препинания, скажем, без заглавных букв... Ну и что? От этого появился какой-то дополнительный смысл? Суть творчества — не в этом. Просто мы не знаем, как пользоваться свободой, поскольку снова получили ее даром. Свобода обнажила некую пустоту, и на глазах у всех нас раздевает и сковывает. Как написал мой друг по Литинституту Игорь Бехтерев — такой простор, что негде развернуться!..

П. О. Вы говорите о болгарских постмодернистах, а еще кто-нибудь у вас есть? Какие литературные группы выделяются?

Г. Б. Дело в том, что после падения Берлинской стены в Болгарии совершенно разрушилась литературная жизнь. Главное — у нас *нет серьезной критики*, нет такого аппарата, который бы анализировал и все-таки определял, нащупывал русло литературной жизни, определял, в каком направлении она движется. А ведь это — важнейший элемент литературного процесса. Нет критики — нет и процесса. Без Белинского все-таки не было бы Гоголя... Мы сейчас — в поисках нового художественного языка. Старый — мы разрушили, но пока наплодили только эпигонов, подражателей таких поэтов, как Константин Павлов. И они обломками этого языка пытаются создать постмодернистское нечто, думая, будто что-то творят. Но ничего они не творят. Только издают нечленораздельные звуки.

Поэтому я и рассказал о враче, который написал роман и создал нового героя. Пациенту вырезали опухоль, потом она снова появилась, он должен был умереть, но выжил. После чего эмигрировал, работал нелегально по всей Европе и всей Америке, а потом рассказал врачу свою немыслимую одиссею. Он накопил сказочное богатство, потерял его, наконец опять вернулся в Болгарию. В отчизне родная мафия, однако, заставила его от бизнеса отказаться — альтернативой было отдавать половину всего зарабатываемого. Современный болгарин — он очень живучий и изобретательный, и именно этого болгарина описал врач Симеонов. Рассказал, что творится вокруг нас сегодня, и книга его прошла с огромным успехом.

Сегодня в Болгарии один из лучших и самых успешных писателей — поэт и прозаик Георгий Господинов. Его "Естественный роман" переведен уже на немалое количество языков, сейчас вышел и на русском в "Иностранке"[1], но совершенно безыскусный рассказ доктора Симеонова ближе читателям и порой ценится выше того, что пишет один из лучших наших современных литераторов.

П. О. Это, наверное, тот самый новый реализм, о котором говорят?

Г. Б. Не знаю. Но пока мы говорим, я сам пытаюсь уяснить себе, что ценнее — ведь без специальной литературной подготовки, без знания чужих языков, без знания того, что творится в других национальных литературах, создавать *высокие* произведения, писать на высоком художественном уровне невозможно. Вдруг появляется этот врач, конечно, очень интеллигентный, читающий и так далее, однако без особых профессиональных литературных навыков и знаний, не Чехов все-таки... Но в силу того, что он ввел новый жизненный материал, он успел и художественно постичь новую действительность, создать очень незаурядное литературное произведение, причем без всяких претензий.

Может быть, потихонечку наши современные постмодернисты уже сходят на нет. Я не могу абстрактно говорить, мне всегда нужно называть конкретных авторов. Одна из лучших болгарских современных писательниц вообще молодая Елена Алексиева, талант и характер которой много обещают в будущем. Кроме нескольких романов написала два велико-

1. "ИЛ", 2010, № 1. (*Здесь и далее – прим. ред.*)

лепных сборника рассказов – "Читательская группа 34" и "Кто". Во втором сборнике она перелагает библейские мифы, применяя их к нашей нынешней действительности. Болгария – страна мифов, на ее землях жили и фракийцы, и древние греки, она кишит всякими чудесами и историями, в том числе и языческими. До сих пор в нашем христианстве сохранилось много языческих ритуалов, так же как и у вас, в России. Благодаря этому у нас есть почва для создания большой литературы.

П. О. У вас в Болгарии была такая секта *богомилов*, про которую много писали историки. Что сейчас от них осталось?

Г. Б. Не осталось ничего, кроме, может быть, неверия в Бога и нетерпимости к власти.

П. О. Были же катары...

Г. Б. Катары – это болгарские богомилы, которые пошли по миру, их называли еще альбигойцами. Богомильство – разрушительное движение, это самая страшная для всей истории Болгарии ересь (если бы она была только сектой...), печать ее лежит на нас по сей день. По сравнению с другими народами очень мало болгар по-настоящему верят в Бога. Болгарин вообще не верит в положительный ход вещей, или как говорят сейчас – не настроен позитивно, он просто несозидательный человек, и, хотя строит прекрасные дома, может разрушить все, что построено в его душе Богом. Болгарин сам по себе очень успешно существует за границей. Но когда собирается много болгар, как у нас на родине, то проявляется наше национальное чувство – зависть. Все завидуют друг другу, что и мешает развиваться. Если кто-то выше их, они просто уничтожат его, есть разные способы удушить человека, не убивая его до конца. Это в нашей литературе и проявляется. Тоталитаризм – тоже наследие манихейства, из которого произросло богомильство...

П. О. Но это же во всех странах так. Веблен[1] писал, что завистливое сравнение – это то, на чем держится общество вообще.

1. Торстейн Бунде Веблен (1857–1929) – американский социолог, экономист, футуролог, теоретик менеджмента.

Г. Б. Мы — люди, которые все делают наоборот. Болгарский знак согласия это так (*мотает головой из стороны в сторону*), а не как у всех остальных (*кивает вниз-вверх*). Может, это тоже пошло от богомильства.

П. О. Габрово — это же ваш город?

Г. Б. Наш (*смеется*)... Но после освобождения от турецкого ига мы сильно европеизировались. Все умные парни учились за границей — в Швейцарии, Франции, Германии... Старая София — вполне европейский город.

П. О. Извините, что перебиваю, про образование — чуть позже. Возвращаясь к литературному процессу — у вас есть какие-то обособленные литературные группы вообще?

Г. Б. Сейчас? В данный момент?

П. О. Да. При социализме понятно — был официоз, были люди, которые так или иначе противостояли ему.

Г. Б. При социализме был Союз писателей и очень небольшое количество талантливых писателей, существовавших вне Союза. Все-таки если человек тогда был талантливым и издавал книгу, его всегда замечали и за редким исключением принимали в Союз, а дальше как будет — это уже от него зависело. А сейчас все больше какие-то мелкие, обособленные, хвастливые литературные секты...

П. О. Но как они заявляют о себе? Например, как они позиционированы по отношению к левым и правым, по отношению к православным, католикам, мусульманам, по отношению к славянам или европейцам, скажем, с ориентацией на Германию или на Францию?

Г. Б. В целом писатели сейчас делятся на две группы по политическому признаку. Остались два объединения писателей — бывший, коммунистический, Союз и возникшее сразу после падения Стены Сдружение либеральных и демократических писателей. Сдружение — против бывшего Союза писателей, где две третьих были членами коммунистической партии, против нынешней БСП (Болгарской социалистической партии), а Союз, напротив, — за бывших коммунистов, которых представляет сейчас БСП. В общественном плане Союз намного активнее Сдружения, издает цветную газетку, но

произведения его членов безнадежно старомодные, а сами они сочиняют, как сочиняли до падения всяких стен вообще; и там бóльшая часть — бездари. Они пишут, как писали раньше очерки в газете "Правда", выступают регулярно перед своими лирически настроенными единомышленниками в провинции, хлопают друг друга по плечу и утирают слезы, скорбя о прошлом и трагически погибшем человеческом в человеке.

П. О. Видимо, когда вы говорите, что в Болгарии нет критиков, вы имеете в виду, что нет идеологии. Но не значит ли это, что большинство болгарских писателей ориентируются больше на отзывы зарубежной, европейской прессы, нежели на свою аудиторию, на своих коллег?

Г. Б. Конечно. Более того, у нас в стремлении дойти быстрее и легче до иностранного читателя, до модернисткого мышления почти перестали писать классическим стихом — на Западе же переводят поэзию подстрочником или интеллигентным пересказом. Перевод с рифмами и с ритмом — это славянская школа перевода, я сам так перевожу. Вот, например, однажды сижу я и второпях перевожу песни Юза Алешковского, которого пригласил в Софию на премьеру его книги, и он вот-вот приезжает. И в это время одна наша поэтесса захотела взять у меня интервью для какого-то журнала. И звонит, настаивает на встрече. "Если ты переведешь несколько песен Юза — ради Бога!" — отвечаю я. А она: "Да я вообще не могу писать в рифму, а тем более переводить..." Это ее признание меня потрясло. Не уметь писать классическим стихом для поэта то же самое, как не уметь нарисовать человеческое лицо, лошадь для живописца... Это совершенно обязательное требование, чтобы дальше развиваться и открывать новые средства выражения. Возьмем Кандинского, да он все умел рисовать, каким только живописцем он был, перед тем как шагнуть, да и то очень условно, к абстракционизму; а мы хотим перепрыгнуть весь этот обязательный для любого творца период и сразу огородиться стеной абстракционизма и модернизма. Наш постмодернизм — это такое же перепрыгивание... Теперь мы знаем, *что* за коммунизм построило перепрыгнувшее капитализм феодальное общество на Востоке...

П. О. То есть, в сущности, вы переживаете распад философии, не пережив ее расцвета?

Г. Б. Да, хорошо сказано... Но — какой мог быть расцвет философии в условиях коммунизма?

П. О. Как ни странно, в России в Москве и Ленинграде у столичной интеллигенции был доступ к современной философской мысли. И даже собственная школа была с очень яркими представителями — Московский методологический кружок.

Г. Б. А наши просто ушли за границу. Цветан Тодоров — крупнейшее имя на Западе, чья философская рефлексия о самоопределении имеет большое значение для антропологии и социологии. Еще — Юлия Кристева... Вот они — философы, но стали такими на Западе, когда начали думать и писать на французском. Болгария — страна не для философов. У нас очень сильная поэзия. А проза и литература в целом — на провинциальном уровне. Неинтересна она миру, неинтересна Европе, потому что этнографически описывает жизнь и, скажем, болгарскую деревню, а не человека с его вечными проблемами и страстями, которые везде одни и те же. И все оттого, что Болгария взирает только на себя и не может соотнести себя с миром.

П. О. Но у вас сейчас больше 70 % городского населения. Какая же это деревня?!

Г. Б. Современная болгарская провинция по быту и духу — на уровне деревни. Нет, ничего против деревни я не имею, есть прекрасные и богатые болгарские села, которые не сравнить по своей зажиточности с вашими...

П. О. Почему я спросил про богомилов — ведь это же религиозный, духовный, философский раскол. Была напряженнейшая духовная жизнь, через Византию это доходило и до России, причем мы не различали откуда — от греков, болгар...

Г. Б. Если бы не турецкое иго... У нас действительно были средневековые философы, возможно, мы были бы сейчас страной орфической и христианской метафизики, а не только богомильства, но при османской Турции это стало невозможно.

П. О. Болгария теперь — член Евросоюза; внешне это выглядит так, что она вместо одной из "столиц" СЭВ стала ок-

раиной, периферией Европы. Но что вы получили от Евросоюза взамен?

Г. Б. Контроль. Потому что мы и до сих пор тесно связаны с республиками бывшего Союза — в Болгарии мафия и государство сиамские близнецы. У нас самый высокий уровень коррупции в Европейском союзе. И я даже боюсь, что он может изменить свой устав и удалить, исключить ранее принятую страну. Европа давала нам миллиарды, но как только убедилась, что деньги, отпущенные на разные программы, идут не по назначению, а просто разворовываются, сразу заблокировала их. Так что мы сейчас не получаем из Европы ничего, зато находимся под пристальным вниманием: сможем ли мы посадить хоть одного преступника и мафиози и доказать, что мы действительно намерены бороться с организованной преступностью и бандитами, засевшими в управлении страны. Сиамских близнецов нельзя разделить и оторвать друг от друга, их можно только разрубить.

В этом плане — мафии и коррупции — влияние России сейчас очень сильное. Пример большого брата всегда заразителен.

П. О. На мой взгляд, это неправильно определять как коррупцию; скорее, как "рентоориентированное" поведение. Причем оно характерно не только для чиновников, но для всех — врачей, журналистов, учителей... Приглашают ли соотечественников, живущих и работающих за рубежом, работать в Болгарию? Тех же Тодорова и Кристеву?

Г. Б. Кристева во многом сделала себе имя на Бахтине, популяризируя на Западе его "открытие диалогизма"; Тодоров же утвердился как ученый своими переводами русских формалистов; у нас всегда была очень популярна русская общественная мысль, русская литература. Год тому назад во Франции, благодаря Тодорову, издали "Жизнь и судьбу" Гроссмана с предисловием Тодорова; роман Гроссмана издал на болгарском только что — наконец-то! — и я. Представьте себе, огромный том, кирпич, стоящий у нас четверть минимальной пенсии, который идет нарасхват. Так что никакой *смерти читателей* нет, наоборот, ясно, что настоящую литературу ждут и воздают ей должное. Хотя более миллиона самых интеллигентных, грамотных болгар уехали из страны... Остались полмиллиона турок, половина из которых не знает болгарского языка, миллион цыган, безработных и нечитающих, чьи дети вообще не ходят в школу, два миллиона пенсионе-

ров, у которых нет денег на книги, — они только телевизор смотрят, миллион детей... Итого? Три миллиона, из которых нужно вычесть богатых — они книг не покупают. У бедных нет денег, но именно они изредка покупают книги. Так что издатели и писатели у нас не могут рассчитывать на книжный рынок. Никто из наших писателей не может прожить литературным трудом, поэтому в Болгарии не существует такого понятия, как "профессиональный писатель".

П. О. В вашей стране сорок вузов. По каким программам сейчас готовят новых специалистов? Что у вас с образованием?

Г. Б. К сожалению, у нас полностью уничтожена средняя школа. Раньше было прекрасное классическое образование. Вплоть до становления "народной демократии" образование у нас было гимназическое, на сегодняшнем университетском уровне. И его традиции сохранялись и при "социализме". Когда я поступил в московский Литературный институт, мне показалось, будто я уже окончил университет — школа дала достаточную подготовку, чтобы все давалось легко. Я закончил "французскую" школу (с углубленным изучением французского языка), я уже знал то, что нам преподавали в институте. Но в результате ежегодных реформ у нас просто выросло невежественное поколение, даже тексты переводов, которые я редактирую для журнала, меня ужасают своей безграмотностью.

П. О. Реформы проводятся и в среднем, и в высшем образовании?

Г. Б. И в среднем, и в высшем. То ли будут экзамены на аттестат зрелости, то ли нет, то ли не экзамены, а тесты. Учебники все время пишутся заново, старые, социалистические, учебники, отвергли начисто... Даже я, матерый литератор, не понимаю, о чем в учебниках по литературе идет речь. А что говорить о детях, которые каждый год обучаются по новой системе?! Выросло совершенно безграмотное *переходное* (от социализма к капитализму) поколение. Опасное поколение. Секс, музыка и наркотики, Интернет — и всё...

Я уже не могу найти корректоров для журнала. Нет больше такой профессии. 90 % изданий в Болгарии публикуется без корректоров — и журналы, и книги выходят в таком виде, в каком их сдает в печать автор. Они полны ошибок. Я теперь уже сам как корректор читаю и уже на экране монитора, редактируя журнал, правлю ошибки. Потом отдаю одной пожи-

лой женщине, которая в свою очередь исправляет ошибки, пропущенные мной.

П. О. Что будет дальше? И куда, по-вашему, пойдут такие страны, как Югославия, Болгария, Греция?

Г. Б. Я вообще думаю, что мир катится в пропасть. С эпохи Просвещения, несмотря на великие открытия в науке и на технический прогресс, мир скорее деградирует, мельчает, а не развивается. Дальше будут варвары. Новые варвары — это террористы, которые режут людей, как ягнят. Уже снова начались религиозные войны. Для Болгарии проблема то, что рядом — Турция и что ваххабиты уже на нашей границе. У нас в деревнях живут болгары, насильственно принявшие ислам еще во времена турецкого ига. У них женщины уже ходят в паранджа. С юга идет сильное культурное влияние и деньги Турции и Саудовской Аравии.

П. О. Но ведь речь не о турках, а скорее об исламских фундаменталистах...

Г. Б. Именно.

П. О. У фундаменталистов есть вера. А вы во что верите? Они считают, что мир устроен хотя и законно, но *несправедливо.* И хотят его изменить. А вы — что вы считаете справедливым и что готовы отстаивать?

Г. Б. Я уверен, что ислам победит христианство в будущем столетии. Это произойдет из-за нашего неверия, как раз из-за того, что мусульмане верят, соблюдают религиозные законы, а мы — нет. Политкорректность может нас погубить. Все-таки мы должны блюсти основные устои, которые законом Божьим нам предписаны, нравственные ценности. Мы их не блюдем. К сожалению. Я не могу политкорректно относиться к фундаменталисту, поскольку он ко мне не собирается относиться так же, а просто меня убьет. Политкорректность на Западе — новая идеология, тех же самых утопистов, которые довели нас до лагерей. Христианство — великое учение, великое открытие, оно цивилизовало мир, сделало его лучше, но мы от него отказались. Абсолютно. Почти никто не верит. Кроме наших партийных лидеров, которые ходят по церквям и демонстрируют всем свою веру, чтобы за них голосовали на выборах... И у нас, и в Западной Европе церкви стоят пустыми.

Как институция наша церковь сейчас — это крайне консервативная, ретроградная организация, отталкивающая косностью молодежь. Недавно у нас была Мадонна. Болгарская церковь запретила своим чадам ходить на ее концерт, потому что он пришелся на День Иоанна Крестителя, и все же на концерте на стадионе было больше шестидесяти тысяч человек. Абсолютный анахронизм.

Поэтому мы погибнем, проиграем исламу.

П. О. Болгария находится на границе между православием, исламом и католичеством?

Г. Б. Католичеством — нет. Только православием и исламом.

П. О. Но политически вы все же ориентированы на католические и протестантские страны?

Г. Б. Политическая ориентация в этом вопросе не имеет значения.

П. О. То есть формирование образа друга и врага не зависит от вероисповедания? Но для мусульман и этот образ, и их религия имеют очень большое значение... Россия, чтобы остаться Россией и не разорваться на части, должна быть именно многоконфессиональной страной.

Г. Б. Сама по себе множественность религий не несет в себе ничего плохого. У нас много деревень, где живут и болгары-христиане, и турки-мусульмане, наши ходят на Рамазан, турки — на Пасху. Дружат между собой — никаких проблем. Проблемы создают политики.

Просто ислам сейчас намного более агрессивен. Когда-то и католицизм был агрессивен, была эпоха крестовых походов, но все это — в далеком прошлом. Когда сейчас римский папа что-то говорит, возможно, его слушают в Африке или Латинской Америке, но кто его слушает в Европе? Там сейчас другой Бог — деньги.

П. О. Но ведь так не бывает. Эстетические ценности, идеология, религия, этика — все это складывается в то, что мы называем душой народа...

Г. Б. В России люди верят в Бога, потому что очень бедно живут. А на Западе не верят, потому что очень хорошо живут. Это банальность.

П. О. Но способна ли литература что-то изменить?

Г. Б. Очень даже способна... Я в это верю. Но в теперешнем своем виде ничего она не сделает, эта литература. Я както читал свои стихи рабочим, которые ремонтируют дома. Вечером садились вместе ужинать, выпивали, я читал им стихи. И они вдруг начали смотреть на меня по-другому, стали расспрашивать про жизнь и прочее. Лишь бы стихи дошли до них — им это помогает. А как сделать, чтобы литература до них дошла, — не знаю.

Московская книжная ярмарка, сентябрь 2009 г.

Среди книг

с Верой Калмыковой

“И *в Книге Судеб чистый лист заполнить...*”

Джон Донн *Стихотворения и поэмы* / Отв. ред. А. Н. Горбунов. — М.: Наука, 2009. — 567 с. — (Литературные памятники)

В 1998 году в статье “Уравнение с двумя неизвестными (Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский)” Игорь Шайтанов писал: “Русскому Донну едва исполнилось двадцать лет. Он лишь подходит к своему совершеннолетию. Его имя только начинает звучать узнаваемо, и не так уж много известно о нем, помимо имени....Эхом отдается память о том, что Донна в России впервые узнали как автора эпиграфа к знаменитому роману Хемингуэя ‘По ком звонит колокол’”.

Теперь “русскому Донну” тридцать два — возраст, который никто не назовет незрелым: пора, что говорить, показаться во всей красе. И выход в серии “Литературные памятники” объемистого тома поэтических произведений выдающегося английского поэта и проповедника, основателя школы метафизической поэзии, наконец-то представляет читателю Донна-лирика, Донна-остроумца, Донна-метафизика, Донна-богослова (но опять-таки не проповедника, а поэта). Переводы выполнены М. Я. Бородицкой, В. Е. Васильевым, А. Л. Величанским, М. Л. Гаспаровым, П. М. Грушко, Е. С. Дунаевской, Ю. Б. Корнеевым, Г. М. Кружковым, А. В. Курт, Н. Г. Лебедевой, О. Б. Румером, А. Г. Сендык, А. Я. Сергеевым, Г. Г. Стариковским, Б. Б. Томашевским, А. В. Шараповой, Д. В. Щедровицким. Составление А. Н. Горбунова (он же автор статьи “‘Другая оптика’ — поэзия Джона Донна”) и Г. М. Кружкова, автора, кстати сказать, большинства переводов. Издание включает поэму “Метемпсихоз, или Путь души”, а также “Жизнеописание доктора Джона Донна, покойного настоятеля собора Святого Павла в Лондоне”. Все произведения Донна группируются по жанрам (Песни и стихи о любви, Элегии, Эпиталамы, Эпиграммы, Сатиры и другие).

Обращение поэта к читателю всегда своевременно. Изощренный интеллектуал с раздвоенной душой, исключительно тонким чувством слова и, как сказали бы в эпоху Серебряного века, *порываниями* к

Всевышнему нужен нам сегодня, пожалуй, не меньше давно ставшего "россиянином" Шекспира.

...Скачу, на запад обратив
свой взгляд,
Но чувства очи –
на восток глядят:
Спаситель,
на кресте терпя позор,
Ты смотришь прямо
на меня в упор!
Я ныне обращен
к Тебе спиной –
Пока не смилуешься
надо мной.

Перевод Д. Щедровицкого

Лир Эдвард *Большая книга чепухи* / Пер. с англ.; Сост., предисл. и коммент. Г. М. Кружкова. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – 288 с.

...Действительно большая: в ней собраны четыре "книги нонсенса", стихи из посмертно изданных книг, раздел "Великий 5 х 6-венник" (отрывки из писем Лира и его путевых заметок). Классические переводы С. Я. Маршака, а также М. Я. Бородицкой, И. Б. Комаровой, Г. М. Кружкова, Д. В. Крупской, Д. Н. Смирнова. Составителем Г. М. Кружковым также написано предисловие "Под парусом бессмыслицы: Одиссея Эдварда Лира" и послесловие "Рассказ по картинке: О лимериках Лира и точном переводе".

Причем здесь картинки, спросите вы? "Большая книга чепухи" уникальна не только подбором текстов. Все они снабжены рисунками Лира, которые в буквальном смысле "открывают тему". На авантитуле мы видим автошарж писателя (судя по бороде и очкам). На предпоследней странице – опять-таки автошарж в виде, гм, курицы-фламинго. На последней – двух мышей, приноравливающихся погрызть реквизиты торгового дома "Гуманитарная академия" в Санкт-Петербурге. А посередине совершеннейший разгул фантазии. Словом, сборник стихов плюс графический альбом.

Сын Викторианской Англии и одно из ее лучших, наряду с прерафаэлитами и Киплингом, порождений, Эдвард Лир был при жизни восторженно принят и понят современниками. В России его имя свято для всех, кто хоть раз в жизни сочинил лимерик. Что же касается связи читательских поколений, то, например, стихотворение "В страну Джамблей", многим уже немолодым людям знакомое с детства, окажется близко и современному "компьютерному" поколению:

Далеко-далеко,
И доплыть нелегко
До земли,
где на горном хребте
Синерукие Джамбли
над морем живут,
С головами зелеными
Джамбли живут.
И неслись они вдаль
в решете...

Г. М. Кружков, рассказывая, как работал над Лиром, замечает, что порой в его исполнении переводы выглядят скорее "иллюстрациями" к картинкам, чем полными соответствиями

английских текстов. Что ж, возможно, русское издание даже больше соответствует викторианскому духу: нонсенс потому и нонсенс, что провоцирует на нестандартные решения.

Ж.-М. Г. Леклезио *Блуждающая звезда*: Роман / Пер. с франц. Н. Хотинской, Е. Клоковой. — М.: Текст, 2010. — 317 с.

Творчество Леклезио — уникальное явление, во всяком случае в современном российском контексте. Этого автора принимают все сегодняшние литературные инстанции — от классической критики до брутальных изготовителей "Митиного журнала". Последнее особенно удивительно, поскольку произведения Нобелевского лауреата — действительно хорошая литература, а роман "Блуждающая звезда" — особенно.

...Жили-были две девушки, Эстер и Неджма. Одна во французской деревеньке, другая в арабском лагере для переселенцев. Первая была еврейкой, вторая арабкой. Дело происходило в 1940-е годы. Эстер вместе с другими евреями бежала от нацистов, Неджма вместе с другими арабами ждала, пока их переселят куда-нибудь, где хотя бы будет больше одного источника питьевой воды. Вместе с группой еврейских беженцев Эстер совершила трудный переход в горы, чудом осталась живой и свободной, после долгих мытарств оказалась, наконец, в Земле обетованной. Именно там произошла мимолетная встреча с Неджмой — девушки лишь обменялись взглядами, чтобы расстаться навсегда, никогда более не увидеться и всю жизнь вспоминать друг друга.

Мотив "невстречи" как нельзя более удачно подходит для того, чтобы непротокольным языком заговорить о необходимости примирения арабского и еврейского народов. Трудно более тактично и более *художественно*, чем это сделал Леклезио, заговорить сегодня о "дружбе народов". Во все времена "замеченные" книги часто оказывались таковыми благодаря поднятой в них *теме*, а не *художественным достоинствам* — а ведь именно последние (поскольку литература — искусство, а не "школа жизни") и обеспечивают, в конечном итоге, долгое бытие культуры. В случае Леклезио все оправдано.

"...Эстер снова слушала непонятные слова на певучем, отрывистом языке и не могла оторвать глаз от лица старика в свете свечей. И опять она ощутила тот же трепет, словно этот незнакомый голос звучал для нее одной, в ней, в глубине ее существа. Тихий, шелестящий голос читал книгу, и куда-то исчезали усталость, страхи, гнев. Эстер не думала больше о черном склоне, откуда должен был прийти отец, и путь его теперь представлялся ей не пропастью, ужасной и смертельной, но длинной, дальней дорогой, в конце которой — тайна. Все преобразилось здесь, в горах грохотал гром, дорога ныряла в ущелья, все это стало похоже на легенду, стихии взвихрились, чтобы перестроиться в новый порядок".

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Эрик-Эммануэль Шмитт *Улисс из Багдада* / Пер. с франц. А. Беляк. — СПб.: издательская группа "Азбука-Классика", 2010. — 256 с. — 12000 экз.

Эрик-Эммануэль Шмитт *Борец сумо, который никак не мог потолстеть* / Пер. с франц. Г. Соловьевой. — СПб.: издательская группа "Азбука-Классика", 2010. — 160 с. — 10000 экз.

Самый, возможно, остроумный из современных французских писателей продолжает выпускать небольшие изящные произведения, словно прямо наследующие "Философским повестям" Вольтера. В первой из рассматриваемых здесь книг речь идет о юноше, потерявшем во время бомбежек Багдада всю свою семью и пытающемся пробраться в Европу, преодолевая, подобно джойсовскому Леопольду Блуму, классические "одисеевские" препятствия, принявшие современное обличье. В данном случае — обличье криминального мира нелегальной иммиграции. Вторая повесть — притча о поисках настоящего внутреннего "я". На сей раз — облаченная в японские дзенбуддистские одежды: повествование ведется от лица тощего долговязого паренька, в котором никто, кроме его единственного учителя, не может разглядеть будущего великого сумоиста. Повесть настолько невелика, что половину тоненькой книжки занимает эссе переводчицы Галины Соловьевой о Шмитте.

Кадзуо Исигуро *Ноктюрны. Пять историй о музыке и сумерках* / Пер. с англ. Л. Бриловой, С. Сухарева. — М.: Эксмо, СПб.: Домино, 2010. — 272 с. — 5000 экз.

Живущий в Германии русский музыкальный критик Андрей Горохов в своей книге "Музпросвет" определяет музыку как метафору ушедшего времени. Английский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро едва ли об этом слышал, но его новейший (2009 года) сборник новелл — прекрасное подтверждение этого эффектного, но неочевидного утверждения. Исигуро не случайно впервые за тридцать лет блестящей писательской карьеры обращается к зыбкому, подразумевающему глубокий подтекст жанру новеллы. Повествование в них полно полутонов, недоговоренностей, изощренного психологизма. И, конечно, музыки — которая напоминает героям о невозвратимом прошлом. Или о неосуществимом будущем — что, в сущности, одно и то же.

Джумпа Лахири *Тезка* / Пер. с англ. А. Галь. — М.: Иностранка, 2010. — 352 с. — 4000 экз.

Живущая в Великобритании сорокатрехлетняя американка бенгальского происхождения блестяще дебютировала в 1999 году сборником рассказов, принесшим ей Пулитцеровскую премию. Данный роман, выйдя в 2003 году, несколько недель держался в списке бестселлеров "Нью-Йорк таймс". Что, видимо, можно объяснить не только литературными достоинствами, но и неиссякаемой востребованностью для Нью-Йорка рассказа о молодом человеке, разрывающемся между своей экзотической (в данном случае — дальневосточной) "культурной идентичностью" и повседневной жизнью обычного американского яппи. Новизна темы вызывает сомнения, равно как и ее близость русскому читателю. Но, во-первых, это просто хорошая литература — с динамичным сюжетом, легкой грустью и тонким, сдержанным юмором. А во-вторых, тезка, который "отравляет жизнь" чувствительному главному герою — не кто иной, как... Гоголь. Именно таким именем наделил его отец.

Ричард Бротиган *Собрание Эдны Уэбстер* / Пер. с англ. М. Немцова. — СПб.: издательская группа "Азбука-Классика", 2010. — 208 с. — 5000 экз.

Заветная мечта любого издателя — находящийся в идеальном порядке корпус совершенно неизвестных текстов безусловного классика. С прозрачной ситуацией вокруг авторских прав при этом. Эта книга — воплощение такой мечты. Покидая в середине 50-х гостеприимный дом своего друга Уэбстера, в котором он прожил около года, двадцатиоднолетний Ричард оставил его матери свои стихи, рассказы, наброски, а также расписку в том, что он передает ей это богатство в полное владение, и устное заверение, что это "ее социальная страховка в старости". Трудно сказать, насколько добрая женщина поверила словам юного нон-конформиста, но архив сохранила. И не прогадала: действительно, продав его в 1992 году, через восемь лет после смерти Бротигана, она сильно улучшила материальное положение на последние восемь лет своей жизни. Что касается содержания, то это типичные *juvenilia*: "почеркушки", поиски уникального стиля и своих тем, эскизы, в которых уже угадываются будущие шедевры, и несколько запрятанных среди них шедевров уже вполне оформившихся. Русские читатели могут по достоинству оценить все это благодаря переводу Максима Немцова — вполне адекватному оригиналу.

Альберто Анджела *Один день в Древнем Риме* / Пер. с итал. М. Челинцевой и О. Уваровой. — М.: КоЛибри, 2010. — 480 с. — 5000 экз.

Автор — популярный итальянский телеведущий и автор на-

учно-популярных книг — выбирает для своего рассказа о Древнем Риме непривычный угол зрения. Нам предлагают "накрыться шапкой невидимкой" и провести в Вечном городе от заката до рассвета целый день. Для этого выбран один конкретный день лета 115 года н. э. Это эпоха императора Траяна, когда Римская империя переживала период наибольшей территориальной экспансии и наивысшего могущества. Автор всячески добивается эффекта присутствия: вот мы обходим городской особняк и оказываемся свидетелями утреннего туалета римской матроны, вот отскакиваем от "кортежа" патриция на людной улице и заворачиваем в латрину (общественную уборную), а вот уже возлежим с этим патрицием и его почетными гостями на торжественном ужине. Не обойдены вниманием, разумеется, и Колизей, и термы, и даже любовное ложе, которым день вполне естественным образом заканчивается.

Николай Александров *Тет-а-тет. Беседы с европейскими писателями.* — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2010. — 216 с. — 3000 экз.

На первый взгляд, эта книга русского автора выбивается из темы данного обзора. Но только на первый — потому что на самом деле известный теле- и радиожурналист, книжный обозреватель Николай Александров выступает здесь в привычном амплуа журналиста, направляющего беседу своими осмысленными и порой парадоксальными вопросами. А собеседники его — 27 европейских писателей из разных стран и разной степени известности. Расставлены они исключительно по алфавиту (от Питера Акройда и Фредерика Бегбедера до Анны-Леены Хяркёнен и Пера Улова Энквиста), но Александров в своих вводках вполне прозрачно намекает, что потенциал и шансы остаться в истории литературы у них весьма различны.

Информация к размышлению

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Документальные книги из жизни рядовых граждан не особенно популярны в России: наша аудитория любит читать про известных личностей, "селебритиз": актеров, спортсменов, политиков — то есть тех, кто часто мелькает в СМИ (порой и сам по себе факт "мелькания" — как в случае телеведущих — делает из ничем прочим не примечательной персоны интересную для публики "селебрити"). На российском книжном рынке практически отсутствуют дневники или мемуары так называемых простых людей. Но тем не менее для одной темы — "Россиянин за границей" — небольшой сектор издательского нонфикшна оказывается открыт.

Книга **Исаака Шапиро** *Эдокко* (пер. с англ. **А. Капанадзе**. — М.: КоЛибри, 2010. — 400 с.) имеет подзаголовок *История иностранца, выросшего в военной Японии.* Книге предпослан эпиграф из Карла Густава Юнга: *Тот, кто смотрит вовне, спит. Тот, кто смотрит внутрь, пробуждается.* Другой цитатой из Юнга начинается первая глава: *...мы рождаемся в определенный момент, в определенном месте и, подобно выдержанному вину, несем в себе качества того года и сезона, когда мы появились на свет.* Две эти цитаты задают тональность всему повествованию: мемуары Исаака Шапиро, несмотря не внешнюю экзотику, обращены прежде всего "внутрь", на свой собственный путь, личную биографию.

Родители Исаака эмигрировали из России сразу после революции, родился он в 1931 году в Токио, первые пять лет жизни провел — без отца — в китайском Харбине, а затем семья вновь воссоединилась уже в Йокогаме, где Исаак прожил еще восемь лет — то есть почти до конца Второй мировой войны, когда (в 1944-м) семья была эвакуирована подальше от теат-

ра военных действий и тринадцатилетний мальчик вновь оказался в Токио. В последние полтора военных года Исааку довелось пережить массированные налеты американской авиации, а после высадки американских войск его — благодаря прекрасному знанию японского — взяли работать переводчиком на флот. В 1948-м Исаак перебрался в Америку, где учился в Колумбийском колледже (повоевав два года в Корее), окончил его, затем Юридическую школу Колумбийского университета, а впоследствии сделал юридическую карьеру, причем помимо практики занимался также и преподаванием, читая, в частности, курс лекций по советскому праву. В 1958 году он впервые приехал в Москву, а после распада СССР его фирма открыла в Москве свое отделение.

В случае Исаака Шапиро перед нами ситуация, когда география определяет судьбу лишь во внешних деталях, а главными остаются личные установки (и установки ближайшего окружения) на то, каким должно быть естественное существование в условиях фундаментально иной культуры. Совсем другое дело, когда человек из России адаптируется к жизни в европейском обществе; если при этом он способен к аналитической рефлексии, то продукт ее может получиться весьма интересным и познавательным — как в случае с **Еленой Давыдовой-Харвуд**, вышедшей замуж за англичанина и попытавшейся описать повседневную культуру "изнутри" в книге *Английская свадьба* (М.: КоЛибри, 2010. — 400 с.). В одном из прошлогодних выпусков этой рубрики (2009, № 1)

Елена Давыдова-Харвуд

Английская свадьба

уже обозревалась близкая по тематике книга Кейт Фокс "Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения"; однако книга Давыдовой-Харвуд значительно полнее соответствует ситуации "включенного наблюдения", поскольку в роли "английской жены" автор способен видеть и анализировать такие детали, которые обычному внешнему наблюдателю недоступны. И оказывается, что фундаментальные принципы свободы и либерализма, на которых построено английское общество, фактически реализуются лишь на общесоциальном уровне (политика, экономика и т. д.), а в том, что касается повседневного быта, это, по сути, общество победившего тоталитаризма, где именно бытовое, ежедневное поведение регламентировано до мелочей.

Елена искренне удивляется, почему, например, нельзя подать на завтрак сыр: резонный

вопрос *А когда же еще его есть?* у ее мужа Джеймса вызывает полнейшее недоумение: *Все нормальные англичане едят его на обед.* Показательно здесь употребление прилагательного "нормальные": ведь внутри культуры традиция и привычка считаются (в отсутствие какой бы то ни было рациональной логики) достаточным основанием для признания чего бы то ни было "нормой". И хотя пишет Елена о таких ситуациях с понятной иронией, тем не менее, она склонна принимать подобные "нормы" как данность: для нее характерна позиция "провинциалки", которая удивляется причудам "столичных", но при этом склонна считать, что это она, принадлежа к культуре, по ее мнению, не столь развитой, некоторым образом до них "недотягивает" (однако должна к этому стремиться). Несмотря даже на то, что ситуации, возникающие в ее близком социальном окружении, порой заставляют вспомнить бессмертного "управдома" (который — "друг человека") Нонны Мордюковой.

И еще одна книга о судьбе нашей соотечественницы за границей: называется она *Продана* (пер. с швед. **Б. Н. Григорьева**. — М.: РИПОЛ классик, 2010. — 272 с. — Серия "Документ"), а вот что касается ее авторства (и даже языка оригинала), то при знакомстве с выходными данными возникают вопросы. На обложке значится **Вера Эфрон**, в информации об авторских правах — **Natasja T. and Vera Efron**, а на титуле оригинала под этими именами написано: *Pa dansk* (то есть по-датски) *ved Paul Schiot;* при этом название оригинала — "Solgt" — тоже датское.

Ситуацию с этой книгой в целом, на мой взгляд, можно реконструировать следующим образом. Известно, что существует такое криминальное явление, как "траффикинг" (торговля людьми). Молодых, наивных и доверчивых девушек из России (и вообще из Восточной Европы) соблазняют предложением высокооплачиваемой работы за границей, а после прибытия в пункт назначения отбирают у них паспорта и превращают в рабынь, эксплуатируемых в подпольных борделях. И книга *Продана* представляет собой изложение (от первого лица и во всех шокирующих подробностях) судьбы одной из таких девушек. Проблема, однако, в том, что ориентирована эта книга исключительно на западного читателя (почему и вышла изначально по-датски) и представляет собой не столько реальный документ, сколько его препарированный и выстроен-

ный в соответствии со стандартными читательскими стереотипами вариант. Вера Эфрон, скорее всего, действительно использовала как исходный материал серию бесед (по-русски) с реальной Наташей Т., однако затем не просто отредактировала их (чего, наверное, было бы достаточно), а превратила в псевдохудожественный рассказ-страшилку, который вышел по-датски, затем был переведен на шведский и уже с шведского — на русский. В итоге получилось нечто в стилистике Болливуда — когда подлинные кровь, пот, слезы и другие, менее пристойные, человеческие выделения оборачиваются томатным соком и развесистой стилистической клюквой, но при этом наверняка вызывают у благополучных европейцев брезгливость по отношению к тем географическим регионам, где возможны такие ужасы и где, наверное, даже сыр варварски заглатывают по утрам.

По материалам зарубежной прессы

DAVE BOLING *Guernica.* — New York: Bloomsbury USA, 2008, 367 p.

В книге "Герника" представлены несколько поколений одного семейства, проживающего на севере Испании. Сага начинается с истории трех мальчишек, вынужденных после смерти родителей работать на семейной ферме. Старшему из них приходится взять на себя ответственность за братьев и распорядиться их судьбой. Один из них становится священником, другой — рыбаком, а сам он женится на местной красавице. В их дочь, столь же прекрасную и талантливую танцовщицу, как и мать, с первого взгляда влюбляется Мигель Наварро, молодой человек, вынужденный бежать в Гернику из-за проблем с властями. Так начинается история любви в Гернике, история на первый взгляд малоправдоподобная: женщины ослепительно прекрасны, мужчины бесстрашны, семейные узы нерушимы. Тем не менее, по мере развития сюжета становится очевидно, что он не столь прост, как могло показаться вначале. В описаниях горя и страданий, выпавших на долю жителей города, нет попыток разжалобить читателя. И чем жестче и реалистичней делается повествование, тем сильней — читательское сопереживание героям.

Часть выживших после трагедии детей перевозят в Англию, куда и переносится действие, включающее в себя все больше и больше жизней, судеб, историй, в том числе историю создания "Герники" Пикассо. Детали складываются постепенно в сложную, многоплановую картину, однако, по мнению газеты "Индепендент", автор выбрал довольно непростую тему для дебютного романа, кульминацией которого после идиллической первой половины книги становится описание разрушения города. И, как отмечает газета, во второй половине повествования герои так и не избавляются до конца от некоторой сентиментальности первых глав, что, тем не менее, не портит общего положительного впечатления в целом.

TAHMIMA ANAM *Golden Age.* – London: Harper, 2008, 276 p.

Писательница родилась в Бангладеше спустя четыре года после провозглашения его независимости, однако выросла за границей, и ее книга основана не столько на личных воспоминаниях, сколько на воспоминаниях ее родных и близких. "Золотой век" — книга о женщине, чьи сын и дочь принимают участие в движении сопротивления. Это история в первую очередь о самой обычной матери, для которой нет ничего важнее благополучия собственных де-

тей, и в то же время это история об удивительно сильной женщине, нашедшей в себе смелость принять участие в событиях, изменивших судьбы тысяч людей.

Как отмечает газета "Вашингтон пост", автора можно было бы упрекнуть в том, что главная героиня с излишней легкостью превращается из робкой любящей матери в отважную и сильную женщину, если бы не некоторые убедительные детали, делающие повествование живым и правдоподобным. К примеру, пишет газета, в финальной сцене, когда в День провозглашения независимости люди на улицах поют и плачут от счастья, главная героиня, как и многие другие, не заметные в ликующей толпе, скорбит, понимая, что ей никогда не забыть тех, подчас ужасных вещей, которые ей приходилось делать во время этой войны.

Подготовила
Ника Бажанова

Peter Esterhazy *Voyage au bout des seize metres.* — P.: Christian Bourgois, 2008, 192 p.

"Путь в шестнадцать метров" Петер Эстерхази, один из самых известных современных венгерских писателей, написал по заказу газеты "Зюддойче цайтунг" перед чемпионатом мира по футболу 2006 года. В результате получился роман, который газета "Монд" назвала "одной из самых сбивающих с толку книг о футболе". Эстерхази создает замысловатую мозаику из воспоминаний детства, портретов тренеров, спортсменов, судей, событий чемпионата 1954 года и картин жизни в коммунистической Венгрии. Писатель "обращается к политике, истории и социальной картине в Восточной Европе, — пишет "Экспресс", — искрящаяся юмором книга меняет настроение и становится жестче, когда действие добирается до финала чемпионата мира 1954 года, в котором Венгрия потерпела поражение". Роман не только изображает мир футбола, полный переживаний и радостей, единства болельщиков и спортсменов в восторженном рвении к победе, но и стремится разобраться в общественной и политической жизни Восточной Европы, окутанной социалистической дымкой. Книга изобилует шутками, анекдотическими ситуациями, сатирическими замечаниями на тему политики, а за всем этим разворачивается история Венгрии и история футбола, проникнутые авторским сочувствием.

Rafael Yglesias *A Happy Marriage.* — Southern Pines, NC: Scribner, 2009, 384 p.

"Счастливый брак" — это история любви молодого писателя Энрике и подающего надежды дизайнера Маргарет, начавшейся в 70-е годы после вечера, проведенного за дешевым вином и дружеской болтовней. Между первой и второй главами уместились тридцать лет совместной жизни. Маргарет, которая давно уже жена Энрике, угасает от рака и просит мужа помочь ей умереть достойно. На Энрике — тяжелый груз за-

бот о больной и в конце концов погребальные приготовления, и именно теперь он понимает, каким чудом был их союз. Это трогательная и печальная история о сложностях первых лет совместной жизни, о бедах и радостях, об ответственности, чистоте чувства, мужестве, важности искусства для человека, о бытовой и философской основе супружеской жизни. "'Счастливый брак' – совершенно автобиографическое произведение, – пишет "Нью-Йорк таймс", – обилие параллелей с жизнью автора вызывает искушение читать книгу как мемуары, написанные от третьего лица. Однако форма романа позволяет Иглесиасу держаться на расстоянии от персонажей и смотреть на них объективно, стремиться к правде, даже если она нелестна". Роман представляет собой размышление о природе любви, брака и смерти. По словам "Франкфуртер альгемайне цайтунг", книга "рассказывает самую трогательную историю любви за последние годы".

SHUSAKU ENDO *The Final Martyrs.* – New-York: New Directions, 2009, 224 p.

Центральная тема творчества японского писателя Сюсаку Эндо – христианство в Японии, его особенности, сложности, а также сама возможность его существования в этой стране. Конфликты, на которые обречен католик в некатолической стране и вообще духовный человек в мире духовного упадка, проходят через все произведения писателя, в том числе и через его рассказы. Книга "Последние мученики" состоит из одиннадцати переведенных на английский язык рассказов. Некоторые из них носят автобиографический характер, в них рассказчик – писатель, как и Эндо, – погружается в осмысление своего жизненного опыта, готовится к встрече старости и смерти. Другие рассказы посвящены темам христианского прощения и спасения. В них нет дидактики, речь идет об обычных людях, захваченных врасплох царящей в мире моральной неопределенностью. Эндо постоянно исследует противоречия, возникающие из-за неустойчивого пребывания между двумя культурами. "Эти рассказы, написанные между 1959–1985 годами, содержат темы, которые Эндо разрабатывал в своих романах – римские католики в Японии, страх старости, одиночество детства – и представляют, таким образом, срез его творчества", – отмечает "Нью-Йорк таймс". Эндо утверждал, что рассказы он использовал в качестве черновиков для будущих романов, и критики тоже отмечают, что зерна его будущих романов порой зарождаются именно в рассказах. В произведениях Сюсаку Эндо, пишет газета "Индепендент", всегда присутствует своеобразный "задумчивый, едва уловимый автобиографический дух, который делает каждый рассказ и каждый роман тонкой тканью, связывающий работы писателя в единое творческое целое".

Подготовила
ЕВГЕНИЯ ЛАКЕЕВА

Райнхард Йиргль
Reinhard Jirgl
[р. 1953]. Прозаик, член Немецкой академии языка и литературы в Дармштадте [с 2009]. Лауреат премий имени Анны Зегерс [1991], Альфреда Дёблина [1993], премии *Дедал* [2004], Литературной премии города Бремена [2006], премий имени Лиона Фейхтвангера, Гриммельсгаузена [2009], Георга Бюхнера [2010] и др.

Автор романов *Мама-Папа-Роман* [*Mutter Vater Roman*, 1990], *Прощание с врагами* [*Abschied von den Feinden*, 1995], *Собачьи ночи* [*Hundsnächte*, 1997; рус. перев. 2007], *Атлантическая стена* [*Die atlantische Mauer*, 2000], *Генеалогия убийства. Трилогия* [*Genealogie des Tötens. Trilogie*, 2002], *Незавершенные* [*Die Unvollendeten*, 2003], *Отщепенец. Роман из нервозного времени* [*Abtrünnig. Roman aus der nervösen Zeit*, 2005], *Тишина* [*Die Stille*, 2009] и др., сборника очерков *Земля и добыча* [*Land und Beute*, 2008].
Текст публикуется по изданию *Im offenen Meer. Schichtungsroman* [Hamburg: Luchterhand, 1991].

Джудит Пэчт
Judith Pacht
Американский поэт. Финалист премии Филипа Левина [2008].

Автор многих стихов, печатавшихся в разных антологиях, газетах и журналах.
Публикуемые стихи взяты из ее первого сборника *Сокол* [*Falcon*. Conflu: X Press, 2004].

Роб Гиффорд
Rob Gifford
[р. 1966]. Английский радиожурналист.

Двадцать лет изучает Китай и пишет о нем. С 1999 по 2005 гг., будучи пекинским корреспондентом Американского национального государственного радио, объездил всю страну.
Текст публикуется по изданию *China Road: One Man's Journey into the Heart of Modern China* [Bloomsbury Publishing Plc, 2008].

Исабель Гарсиа Лорка
Isabel García Lorca
[1912–2002]. Сестра испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки.

Текст публикуется по изданию *Recuerdos míos* [Barcelona: Tusquets Editores, S.A, 2002].

Борис Михайлович Парамонов
[р. 1937]. Кандидат философских наук, работал в ЛГУ на кафедре истории философии [1967–1974], с 1979 г. живет в Нью-Йорке.

Автор книг *Конец стиля* [1997], *След* [2001] и др., многих десятков статей, печатавшихся практически во всех эмигрантских изданиях, а с 1991 г. и в России. В *ИЛ* опубликована его статья *Наедине с великаншей. Сартр в русском контексте* [2009, № 1].

Лауреат литературной премии *Северная Пальмира* [1994], Пушкинской премии фонда Тойффеля [2005] и премии *Либерти* [2006].

Александр Мелихов
[р. 1947]. Прозаик, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук. Лауреат *Набоковской премии* СП Санкт-Петербурга [1993], а также премий петербургского ПЕН-клуба [1995], имени Гоголя [2003], правительства Санкт-Петербурга [2006].

Автор романов *Исповедь еврея* [1993], *Горбатые атланты* [1995], *Любовь к отеческим гробам* [2001], *Чума* [2003], *В долине блаженных* [2006] и др., многих сборников рассказов и нескольких сот журнально-газетных публикаций.

Ханс Магнус Энценсбергер
Hans Magnus Enzensberger
[р. 1929]. Немецкий поэт, эссеист, прозаик, переводчик, издатель. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе премии имени Бюхнера [1963].

Автор сборников стихов *Защита волков* [*verteidigung der wölfe*, 1957], *Язык страны* [*landessprache*, 1960], *Шрифт слепых* [*blindenschrift*, 1964], *Мавзолей. 37 баллад из истории прогресса* [*Mausoleum. Siebenunddreißig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts*, 1975], *Музыка будущего* [*Zukunftsmusik*, 1992], *История облаков. 99 медитаций* [*Die Geschichte der Wolken. 99 Meditationen*, 2003] и др., а также книг эссе, пьесы *Допрос в Гаване* [*Das Verhör von Habana*, 1970], романа *Короткое лето анархии* [*Der kurze Sommer der Anarchie*, 1972], поэмы *Гибель "Титаника". Комедия* [*Der Untergang der Titanic. Eine Komödie*, 1978], книги *Хаммерштейн, или Своеволие. Немецкая история* [*Hammerstein oder der Eigensinn. Eine deutsche Geschichte*, 2008] и др. В *ИЛ* напечатаны стихи Х. М. Энценсбергера [1960, № 10; 2003, № 9; 2004, № 11], эссе *Великое переселение. Тридцать три фрагмента с одним примечанием о некоторых особенностях охоты на людей* [1994, № 9], *Взгляд на гражданскую войну* [1995, № 6], *Роскошь – прежде и теперь, или кое-что об излишествах* [1997, № 9], пьесы *Племянник Вольтера* [1998, № 7] и *Долой Гёте! Объяснение в любви* [2009, № 8].

Георги Борисов
Георги Борисов
[р. 1950]. Болгарский поэт, переводчик с русского, французского и английского языков. Член болгарского ПЕН-центра. Лауреат премий имени Владимира

Автор поэтических книг *В полдень, где-то в начале* [*По пладне някъде в началото*, 1977], *Ворота* [*Врати*, 1986], *Пришелец* [*Пришълец*, 1992], *Живой бог* [*Живият бог*, 1997], *Карфаген* [*Картаген*, 2000] и др.
На русском языке его стихи публиковались в антологии болгарской поэзии *Из века в век* [2007], в периодической печати, в *ИЛ* [2008, № 8]. В *ИЛ* публиковался текст, написанный совместно с

Башева [1977], *Золотой брелок* газеты *Труд* [1999], национальной премии имени Ивана Николова [2001], премии имени Славейкова [2007] и др.

Анатолием Королевым, *Хиатус. Путешествие из Софии в Софию.* [2009, № 8].

Вера Владимировна Калмыкова
Поэт, филолог, кандидат филологических наук. Главный редактор издательства *Русский импульс.*

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV–XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый город, 2008], принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы. Постоянно печатается в журналах *Нева, Октябрь, Юный художник,* в одесском альманахе *Дерибасовская–Ришельевская* и др.

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города online* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко.
В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа П. В. Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 10].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению.*

Евгения Андреевна Лакеева
Студентка Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.

Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы.*

Ника Юрьевна Бажанова
Студентка Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.

Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы.*

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков. Лауреат премии Андрея Белого [2008].

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, произведения К. Крахта, А. Шмидта, А. Дёблина, Т. Бернхарда, Г. Йонке и др. Составитель [вместе с М. Белорусцем] и переводчик книги *Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма* [2008]. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Ольга Владимировна Сульчинская
Поэт, прозаик.

Автор поэтических книг *Amor brevis* [2005] и *Апрельский ангел* [2010]. Стихи и рассказы публиковались в журналах *Новый мир, Знамя, Октябрь, Арион* и др.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премий *Странник*, присуждаемой издательством TERRA FANTASTICA [Санкт-Петербург, 1996], имени А. М. Зверева [2007] и *Инолиттл* [2008].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Делилло *Мао II* [2003, № 11—12] и *Падающий* [2010, № 4], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7] и Д. Эггерса [2007, № 12], эссе Т. Пинчона [1996, № 3], путевых очерков П. Теру [2007, № 12] и Л. Даррелла [2007, № 12], автобиографических заметок М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4], *Писем из путешествий* Р. Киплинга [2008, № 11] и др.

Наталья Родионовна Малиновская
Филолог-испанист, доцент кафедры зарубежной литературы МГУ. Лауреат премии *Иллюминатор* [1996] и премии журнала *Дружба народов* [1999].

Автор цикла статей о творчестве Ф. Гарсиа Лорки, испанском фольклоре, испанском сюрреализме и испанском барокко. С 1971 г. печатается как автор предисловий, переводчик, составитель и комментатор сборников испанской и латиноамериканской прозы [Ф. Гарсиа Лорка, А. Мачадо, Р. Гомес де ла Серна, Асорин, Х. Ортега-и-Гассет, А. М. Матуте, С. Дали, А. М. Дали, Р. Дарио, Х. Марти, С. Вальехо, испанские народные сказки, испанская народная поэзия]. Переводила также испанскую драматургию [Ф. Гарсиа Лорка, Асорин, Бенавенте]. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Наталия Геннадиевна Васильева
Переводчик с венгерского и немецкого языков. Лауреат премии *Инолиттл* [2009].

В ее переводе с венгерского публиковались новеллы М. Бабича, Й. Е. Тершанского, с немецкого — новеллы Э. Кестнера, А. Мушга, *Сказка о Рейне и мельнике Бегколёсе* К. Брентано и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. Леттау, Х. Блуменберга, К. И. Тиса [1994, № 9], Г. Фрайтага [2002, № 7], эссе Г. Гессе [2004, № 10] и обзорные статьи, представляющие мюнхенский литературный журнал *Акценты* и австрийский журнал *Манускрипты*, а также пьеса Х. М. Энценсбергера *Долой Гёте! Объяснение в любви* [2009, № 8].

Британский совет,
журнал "Иностранная литература",
гильдия "Мастера литературного перевода",
газета "Книжное обозрение"
объявляют очередной конкурс
на переводческую премию
"Единорог и Лев".

Премия за 2010 год вручается за перевод
современной британской литературы
в трех номинациях:
художественная проза,
детская литература,
нон-фикшн.

На конкурс принимаются переводы произведений,
вышедших на языке оригинала не ранее 2000 года и
опубликованных на русском языке
с 2005 по 2010 год
включительно.

Премия "Единорог и Лев" за 2010 год
вручается в четвертый раз;
вручение премии состоится на ярмарке
"Non-fiction-2010".

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи — подписной индекс 70394 (на полгода).

Льготная подписка — в редакции по адресу: Москва, Пятницкая улица, 41.

Электронная подписка: через ОАО Агентство "Роспечать" — www.presscafe.ru через компанию "Интер-почта" — www.interpochta.ru Тел. (495) 5000060 или 7880060.

Электронный дайджест журнала: http://magazines.russ.ru/inostran Наш блог: http://obzor-inolit.livejoirnal.com

Ф. СП-1

Министерство связи РФ
ГПС «Моспочтамт»
АБОНЕМЕНТ на журнал **«Иностранная литература»**

70394 (индекс издания)

(наименование издания) | Количество комплектов

на 2011 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						—	—	—	—	—	—

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

доставочная карточка

70394

ПВ | место | литер | на журнал (индекс издания)

«Иностранная литература»

Стоимость: по каталогу _____ руб. ____ коп.; доставку за _____ руб. ____ коп. | Кол. комплектов

на 2011 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						—	—	—	—	—	—

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины *Без названия* [1995] китайского художника Фан Лицзюня [р. 1963].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.08.2010
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1331.
Тираж 8000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.